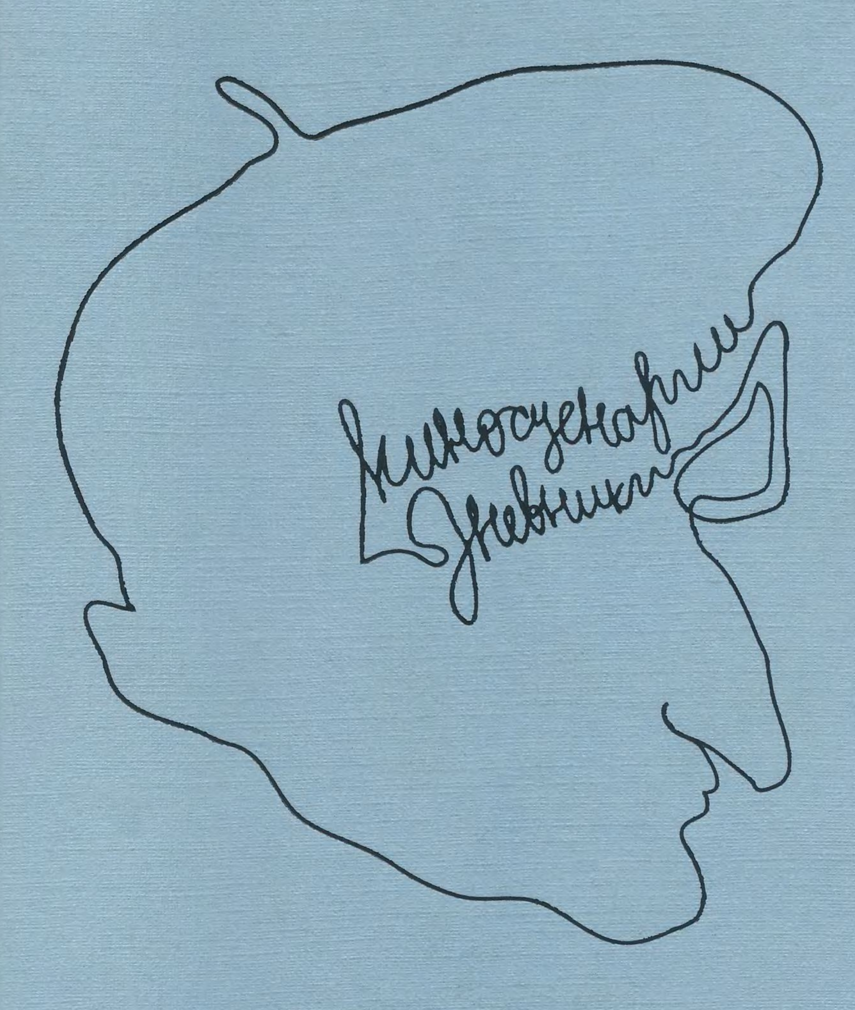
V

киносценарии, дневники

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ



ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

Евгений Шварц

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

Собрание сочинений в пяти томах

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

Собрание сочинений

том пятый

Киносценарии

Дневники

Москва 2010
КНИГОВЕК™
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ш33

Составитель *Е. Сапунцова*

Оформление художника *О. Семенихина*

Шварц Е. Л.
Ш33 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5: Киносценарии; Дневники / Примеч. Е. Сапунцовой. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 432 с.

ISBN 978-5-904656-58-4 (т. 5)
ISBN 978-5-904656-53-9

В Собрании сочинений представлено во всем своем многообразии творчество широко известного драматурга и сценариста, одного из лучших отечественных сказочников, Евгения Львовича Шварца (1896—1958). В пятый том вошли киносценарии, а также часть воспоминаний Шварца под названием «Из телефонной книжки», изложенные своеобразно, но чрезвычайно увлекательно.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-904656-58-4 (т. 5)
ISBN 978-5-904656-53-9

киносценарии

ПОВЕСТЬ О МОЛОДЫХ СУПРУГАХ

Весеннее утро. По мостовой возле самой панели движется тележка, на которую оглядываются все прохожие.

И даже самые озабоченные улыбаются, самые торопливые замедляют шаги.

Первый в этом году урожай сирени, белой и лиловой, свежей, только-только срезанной, везут в стеклянных банках, эмалированных кувшинах и алюминиевых бидонах в цветочный магазин.

Тележка рессорная. Сирень мягко покачивается на ходу. Толкает тележку задумчивый бородатый человек в белом фартуке.

Лужица возле панели.

Бородатый человек поскользнулся.

Сделал резкое движение.

Колесо тележки въехало на панель.

Тележка накренилась.

Звякнули алюминиевые бидоны, стеклянные банки, эмалированный высокий кувшин упал на бок, опрокинул соседей.

Вот-вот рухнет на мостовую весь пышный цветочный ворох.

Но тут прохожие ринулись на помощь.

Первый — молодой человек в сером пиджаке. Он прыгнул на мостовую, подхватил падающую влажную массу сирени, принял ее в свои объятия. Пожилой господин, зажав портфель между коленями, схватил обод колеса, скатил его с панели, выровнял тележку. Майор авиации поставил на место упавший эмалированный кувшин, собрал рассыпавшиеся гроздья.

Опасность миновала.

Прохожие отряхиваются — их забрызгало водой. Улыбаются.

Пожилой гражданин вытирает руки платком. Ворчит:

— Что же это, батенька! Такой груз едва не загубил... Первая сирень! Каждый год как увижу — удивляюсь и радуюсь, будто ее только что изобрели.

— Еще минута, и был бы весь твой букет под машиной, папаша! — смеется майор авиации. — Как раз пятитонке под колеса хотел его отгрузить.

Молодой человек ничего не говорит. Только улыбается.

— Одурманило меня, граждане дорогие, — признается человек в белом фартуке. — Ветер прямо на меня дует. Шагаю и дышу, шагаю и дышу. Сирень, сирень... Молодость, что ли, вспомнил, извините. Замечтался о своем.

— Осторожнее, батенька, надо, осторожнее! — ворчит пожилой гражданин. — В сирени часто счастье попадается.

Молодой человек срывает звездочку сирени с пятью лепестками. Показывает, улыбаясь, пожилому гражданину.

— Оно самое! — кивает тот. — Счастье, радость, они этого... ухода требуют и того самого... осторожности.

Лицо пожилого гражданина принимает рассеянное и озабоченное выражение. Платок — в карман, портфель — под мышку, и нет его. Исчез и майор авиации.

— Спасибо за помощь! — благодарит молодого человека возчик.

Молодой человек загляделся на цветы. Вздрагивает, как бы просыпаясь.

— Как вы говорите? — спрашивает он ласково.

— Говорю — спасибо за помощь. Не откажите... Он протягивает молодому человеку ветку сирени.

— Премию вам.

— Нет, зачем же, — отказывается молодой человек.

— На счастье, — говорит возчик. — Берите. У меня рука легкая. Барышне вашей подарите. Пожалуйста!

Молодой человек, улыбаясь, берет ветку сирени.

Большой письменный стол.

На столе стакан, забрызганный акварельными красками.

В стакане — ветка сирени. У чертежной доски знакомый нам молодой человек, только он уже не в сером пиджаке, а в синей прозодежде.

На круглых стенных часах половина шестого.

Молодой человек чертит сосредоточенно.

У окна бритый длиннолицый человек с густыми, вьющимися, седыми как снег волосами и с очень простым, очень наивным, даже как бы удивленным лицом. Он смотрит на молодого человека с таким же пристальным вниманием, как тот на чертеж.

Молодой человек работает и от времени до времени улыбается так же широко, как на улице, во время утреннего происшествия с цветами.

И каждый раз лицо наблюдающего за ним человека делается еще более удивленным.

— Сережа, а Сережа! — не выдерживает он наконец.

— Да, Степан Николаевич?

— Что вы улыбаетесь своему чертежу, как хорошенькой девушке!

— Разве? — удивляется Сережа. — Неужели я улыбаюсь!

Улыбаясь, разглядывает он чертеж.

И вдруг говорит, не оборачиваясь:

— Я женился, Степан Николаевич.

— Ну да?!

— Честное слово, не шучу!

— Давно?

— В субботу, Степан Николаевич. Сегодня четвертый день, как женат.

— Поздравляю.

— Спасибо, Степан Николаевич.

Степан Николаевич смотрит в окно. Видит улицу, освещенную солнцем. Люди, толпящиеся у трамвайных и троллейбусных остановок, маленькие, как муравьи. И то чуть насмешливое удивление, с которым смотрел он на Сережу, меняется. Теперь Степан Николаевич глядит вниз с удивлением задумчивым, слегка грустным. Но вот он трясет головой, сердито отгоняет, как муху, какую-то неприятную мысль. Подходит не спеша к Сереже.

— Ну, докладывайте: на ком женились?

Сережа смеется.

— Да ведь я вам только что все подробно рассказал.

— Не слышал! — отвечает Степан Николаевич. — Думал о своем. Ну? Чему вы радуетесь? Вы знаете, в каком вы положении? А? Женился. Это все равно что взялись бы вы корабль вести вокруг света, понятия не имея о том, как это делается. Жить вместе — это целая наука. Впрочем, ну вас к черту.

Сережа смеется.

— Вы счастливы, что ли?

— Честное слово, очень! — отвечает Сережа. — Я сам удивляюсь, как будто другой человек стал. Ну, счастлив, Степан Николаевич, и все тут. И не то что стесняюсь, а хочется всем рассказывать. Что такое, а? Хожу — улыбаюсь... Ну что скажешь, а?

Степан Николаевич вдруг тоже широко улыбается.

— Да уж тут, пожалуй, ничего не скажешь. Только берегите его!

— Кого?

— Счастье.

— Что-то я об этом уже второй раз слышу сегодня, — удивляется Сережа.

— Мало. Сто раз надо вам повторить.

— Везли, понимаете ли, по улице цветы…

— Ладно! Потом о цветах. Рассказывайте сначала о жене. Какая она?

Обеденный стол.

Посреди стола — знакомая нам ветка сирени в высоком бокале.

За столом молодая женщина — лет двадцати двух. В лице ее больше всего поражает выражение детской доверчивости. И ростом она мала, и свои маленькие руки сложила она перед собою на столе, как маленькая девочка. И смотрит она не мигая, с пристальным, глубоким, детским интересом на своего мужа. На Сережу.

— Какая она? — рассказывает Сережа. — Я, конечно, тут немного растерялся. Вижу тебя перед глазами как живую. А что ему объяснить? Смотрю на него и смеюсь. И он смотрит и смеется. Где познакомились? На фронте. Давно? В сорок третьем году. Ну, это, говорит, хорошо. Давно. Успели, значит, хорошо друг друга узнать. Я молчу… Как зовут? Маруся. Имя хорошее. Где работает? Учится, химик. Курс? Третий. Ну, говорит…

Сережа внезапно замолкает.

Маруся ждет терпеливо, спокойно, доверчиво глядит прямо в глаза мужу. Пауза.

— Смотри-ка! — говорит Сережа удивленно. — Подумай-ка! Сколько времени гляжу тебе прямо в глаза — и не стесняюсь. Всегда как-то неловко долго смотреть в глаза. Ну… девушкам. А тебе смотрю в глаза и не стесняюсь. Маруся! Ты плачешь, что ли! Да? Почему?

— Люблю тебя очень, — отвечает Маруся.

Начало белых ночей. Около десяти часов вечера, но в комнате так светло, что лампочка не включена. Сережа работает у чертежной доски.

Вдруг он поднимает голову и прислушивается. Маруся поет за стеной. Поет, как часто поют люди, задумавшись — неведомо что, неведомо как, каждый на свой лад.

Сережа подкрадывается к двери, заглядывает в соседнюю комнату. Маруся сидит на подоконнике. Окно открыто. Маруся смотрит задумчиво на улицу.

Напротив, на глухой стене дома, огромный освещенный солнцем плакат с кипарисами, белой террасой, необыкновенно синим морем. Надпись на плакате призывает откладывать в сберкассе деньги на летний отпуск. Под глухой стеной недавно разбитый сквер с молодыми деревьями, газоном, клумбами в красных тюльпанах. В сквере кричат дети. Настойчиво гудит у ворот машина, просит, чтобы ее пустили домой.

Звонит трамвай.

И над всем этим гулом, ничего не слыша, задумавшись о своем, Маруся поет, едва слышно, на свой любимый лад:

— Будем учиться! Будем учиться! Будем стараться! Будем стараться!

Раскрытая книга, по всем признакам учебник, лежит у нее на коленях. Ветер шевелит листами книги.

Сережа смеется.

Маруся поворачивается к нему спокойно. Она нисколько не удивлена появлением мужа. Кивает ему ласково. Хлопает ладонью по подоконнику — зовет присесть рядом.

— Будем учиться? — спрашивает Сережа.

Маруся кивает головой.

— Будем стараться?

Маруся кивает головой.

— А в учебник и не глядим?

Маруся улыбается.

— Все помалкиваем? — спрашивает Сережа, усевшись на подоконник.

Маруся кивает головой.

— Ну, расскажи быстренько — о чем помалкиваешь?

Маруся кивает головой, послушно.

— Сейчас!

Она собирается с мыслями, глядит на Сережу со свойственным ей выражением детской доверчивости и начинает:

— Значит, так. Просмотрела я одно место в органике. Послезавтра идти на практику, надо все вспомнить. Верно? Потом стала я смотреть на улицу. Так? Потом увидела этот плакат. Захотелось мне путешествовать. Посмотрела на эту девушку…

— Что ты смеешься? — спрашивает Сережа.

— Потом скажу! — отвечает Маруся. — Посмотрела я на эту девушку на плакате и удивилась: что она могла найти вон в том, с усами, который нарисован с ней рядом? И стала думать о том, как люди встречаются, как выбирают друг друга, как ссорятся, как расходятся. Вспомнила, что сказал тебе Степан Николаевич: жить вместе — целая наука. И стала петь песенку: будем учиться, будем стараться…

Маруся хохочет неудержимо, закрыв лицо руками.

— Ну что? — спрашивает Сережа. — Ну чего ты? Скажешь?

Маруся кивает головой.

— Ну?..

— Ты, — объясняет Маруся, — ты меня передразниваешь. Честное слово. Нечаянно. Что у меня на лице, то и у тебя. Я открою глаза, и ты тоже. Я говорю, а ты губами шевелишь. Обидно!

— Что обидно? — удивляется Сережа.

— Что я засмеялась. Мне это так нравилось!

Сережа улыбается.

— Со мной это всегда, когда я внимательно слушаю.

— Ты знаешь, что это значит? Это значит, что ты очень впечатлительный. Ну, а теперь иди.

— Иду! — отвечает Сережа, не двигаясь с места.

— Сережа!

— Иду!

— Не порти завтрашний вечер. Завтра месяц! Пойми! Целый месяц, как мы вместе. И не было еще у нас ни одного свободного вечера. По городу погуляем! Иди, кончай чертеж.

— Иду! — отвечает Сережа, не двигаясь с места.

И вот завтрашний день наступил.

Сережа бежит вверх по лестнице, прыгает через три ступеньки.

Открывает своим ключом дверь.

— Маруся! — кричит он во весь голос. — Я пришел! Вечер наш!

Тишина поражает его.

Он пробегает бегом по квартире.

Вот комната, где стоят книжные полки, чертежная доска у окна. Обеденный стол, письменный стол с Марусиными учебниками. Вот спальня. Вот кухня, такая чистая, что Сережа называет ее лабораторией.

Хозяин все больше и больше хмурится — пусто дома. Нет хозяйки.

И вдруг он замечает на своей чертежной доске записку: «Сережа, я была на заводе. К сожалению, практика моя начинается сегодня со второй смены. Ухожу туда. Вернусь к часу ночи. Маруся».

Сережа хмуро глядит в окно, постукивая каблуком.

И вдруг лицо его искажается.

Он комкает записку, швыряет ее на пол. Топчет ее ногами.

— Ко всем чертям! — вопит он яростно. — Дура! К дьяволу. Будь я трижды проклят!

Скрипнула дверь шкафа в спальне.

Маруся тихо выходит оттуда, сгорбившись, опустив голову. Глядит, как девочка, которую вдруг ни за что ни про что ударили.

Сережа оглядывается. Маруся стоит на пороге. Смотрит на мужа так, будто увидела его первый раз в жизни.

Сережа бормочет растерянно:

— Нет, это безобразие... Я, понимаешь, прибегаю... Чертеж очень хороший оказался. Вечер свободный. Маруся! Да Маруся же! Что ты так на меня смотришь?

И Маруся бросается к мужу.

Обнимает его. Прячет голову у него на груди. Жалуется ему на него же.

— Ты кричишь? — жалуется она. — Ты ругаешься! Сережа, ты кричишь!

Он молчит. Гладит ее по голове.

— Я хотела, чтобы ты обрадовался... Меня тоже отпустили до понедельника. Я в шкафу спряталась. Дура! Ты крикнул: дура! Я нарочно написала записку, чтобы ты обрадовался, когда я вдруг выйду.

— Вот, действительно, — бормочет Сережа.

— Я испугалась!

— Я тоже испугался! — бормочет Сережа. — Пусто показалось дома без тебя. Ну, ну, ну, Маруся, ну, не надо. Ну, я дурак, ну, прости.

Маруся взглядывает на мужа.

— Я испугалась, я испугалась, что я тебя не знаю. Что...

Она садится у окна и разглядывает Сережу, разглядывает пристально, как будто видит его первый раз в жизни. Сережа стоит, опустив голову.

— Нет, ты, конечно, будешь на меня кричать! — говорит Маруся убежденно. — Будешь... Подожди, не говори. Сядь. Будешь. Я знаю. Вот слушай, что я думаю. Или нет, сначала ты будешь есть.

— Я не хочу.

— Нет, хочешь, честное слово, хочешь, потому что я тоже голодная.

Она берет мужа за руку.

Ведет к столу.

Внезапно он обнимает ее изо всех сил и целует, целует много раз голову, лоб, губы, руки. Просит прощения, молча.

Маруся и Сережа идут по городу. Сразу чувствуется, что они помирились, что сейчас они еще дружней, чем были, что на душе у них спокойно и мирно.

Темно. На небе ни облачка.

Солнце все не хочет заходить.

Это субботний вечер, самое начало праздника. Еще все впереди. И похоже, что все встречные тоже гуляют, радуются хорошему дню.

Сережа и Маруся идут по Марсову полю, по той аллее, что тянется вдоль Михайловского сада.

На скамеечке сидит молодая женщина. Лицо ее расплылось в улыбке. На коленях у нее прыгает девочка месяцев десяти. Женщина осторожно поддерживает дочку и поет ей прямо в лицо, необыкновенно нежно:

Москва моя,
Страна моя —
Ты самая любимая!

Маруся замирает на месте:

— Сережа, Сережа, слушай!

А мать поет еще нежнее:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Дважды ритмично целует дочку в музыкальной паузе.

Чтобы с боем взять Приморье,
Белой армии оплот.

Дважды целует дочку.

Маруся и Сережа смотрят, смотрят на молодую мать. И та замечает, что ею любуются. Бормочет, целуя девочку:

— Смотрят на нашу дочку — отнять хотят нашу дочку. А мы дочку не отдадим, не отдадим, не отдадим! Ишь, какие хитрые! Свою дочку купите, купите, купите!

Маруся и Сережа проходят, улыбаясь.

Они останавливаются у чугунной решетки Михайловского замка. Глядят на курсантов, которые в майках и сапогах играют во дворе в волейбол.

И Маруся предлагает вдруг:

— Давай гадать!

— Как гадать?

— Если выиграют правые, то все у нас будет просто замечательно. Чего ты смеешься? Я тоже не верю, но все-таки приятно будет, если правые выиграют.

— Мяч направо! — кричит судья. — Счет: девять—восемь.

— Ага! — радуется Маруся.

Игроки, несмотря на свои тяжелые сапоги, бегают легко, взлетают на воздух, валятся самоотверженно на землю, играют первоклассно. Мяч подолгу не касается площадки.

— Сережа! А ты детей любишь? — спрашивает Маруся.

— Да! — отвечает он. — То есть, как тебе сказать... Грудных — боюсь. Вот этот черненький подает хорошо.

— Отлично подает. А почему ты грудных боишься? Они беспомощные какие-то... святые... Держи! Упустил... Как их можно бояться?

— Ох, я в прошлом году натерпелся страху, — отвечает Сережа, — на вокзале одна гражданка дала мне подержать своего младенца.

— Сколько месяцев ему было?

— А кто его разберет? Может, три, а может быть, десять. Ох! Мяч на аут шел, а он принял. Чудак, мягко выражаясь. Ну вот, дала она мне своего младенца, а сама ушла билет компостировать. Мальчишка сначала ничего. Лежит, дышит. А потом я кашлянул, и что с ним сделалось! Вздрогнул он и давай реветь...

— Бедненький! — смеется Маруся.

— До сих пор вспомнить жутко, — продолжает Сережа. — Мать у кассы задерживается. Я ему: тише, тише, а он глянет на меня, зажмурится и еще пуще завизжит.

— Бедненький, — повторяет Маруся — и вдруг добавляет, серьезно: — Трудно.

— Что трудно?

— Все. Потом скажу.

— Скажи сейчас.

— Нет, потом. Сетбол! Решающая! — и, закрыв глаза, Маруся решает скороговоркой: — Хочу, чтобы правые выиграли! Хочу, чтобы правые выиграли! Хочу, чтобы правые выиграли!

Команды занимают места, но тут из-за угла Михайловского замка выбегает дежурный. Отдает какое-то приказание. Игроки поспешно одеваются, одергивают гимнастерки, поправляют фуражки, бегут. Площадка опустела.

— Вот видишь? Не получилось гадание. Все выходит по-моему! — говорит Маруся задумчиво. — Все нам придется своими руками делать. Судьба не поможет, но подскажет.

Маруся и Сережа входят в Летний сад.

Играет духовой оркестр.

Здесь гуляющие текут уже сплошной рекой.

— А все-таки давай еще погадаем! — просит Маруся. — Послушаем, что встречные говорят. Это будут вещие слова.

И они ловят обрывки разговоров.

Идут мальчишки с учебниками. Видимо, десятиклассники. Один из них негодует:

— Сегодня он археолог, завтра — геолог, послезавтра — физиолог. Пора, брат, определить, кем будешь.

Идут девушки, лица праздничные, платья праздничные. Одна рассказывает весело:

— А я ему: мы сюда из Тюмени ехали квалификацию повышать, а не замуж выходить.

Шагают, привычно держа строй, курсанты училища имени Фрунзе. Спорят:

— Не в теореме дело, а в том, что действовать надо математически.

Увидели лейтенанта. Отчетливо, разом, как по команде, повернув головы, отдают ему честь.

Девочка лет пяти с глубоким интересом вслушивается в разговор родителей. Отец говорит сурово:

— Лечить ребенка — врача зовут, а воспитывать — всякий берется.

— Вот они — вещие слова! — шепчет Маруся. — Погоди, не мешай, потом объясню, давай дальше слушать.

Старик в очках с металлической оправой поучает молодого своего спутника:

— Найди каждому место по душе — и вся бригада у тебя заиграет.

Мальчик с очень толстой книжкой в руке рассказывает другому:

— Я уже года два назад бросил курить. В летчики собираясь, здоровье берегу.

Седой человек с молодым лицом показывает:

— Вот за тем деревом моя зенитка стояла. А по аллеям — только ветер гулял. А теперь…

И музыка заглушает разговоры встречных.

Маруся и Сережа подходят к круглой большой беседке возле главной аллеи парка. В беседке играет оркестр военных моряков. Вокруг — толпа, застывшие в блаженном созерцании дети. Старик — очевидно, бывший музыкант. Он то утвердительно кивает головой в такт старинному вальсу, то вдруг трясет головой отрицательно и строго взглядывает на провинившегося оркестранта. Военные позади беседки уговаривают девушек потанцевать.

Сережа взглядывает на кларнетиста — и рот открывает от удивления.

Кларнетист изо всех сил старается обратить на себя Сережино внимание. Мигает ему. Шепчет что-то беззвучно и выразительно. Делает жест, как будто толкает кого-то большим пальцем в бок. И вдруг, деликатно сложив губы, принимается дуть в свой кларнет, когда приходит время играть. Но и тут он смотрит не в ноты, а на Сережу. Нетерпеливо, даже сердито.

Сережа подталкивает задумавшуюся Марусю. Указывает ей на странного музыканта. К его величайшему удивлению, Маруся радостно вскрикивает. У кларнетиста как раз большая пауза, и, как глухонемые, и он, и Маруся обмениваются знаками, выражающими искреннюю радость по поводу неожиданной встречи.

Музыкант так широко улыбается, что едва успевает собрать губы, когда ему надо вступать.

Вальс окончен.

Музыканты меняют ноты.

Кларнетист, воспользовавшись свободной минутой, разражается целой речью на языке глухонемых.

— Не уходи! Поговорим! — уговаривает кларнетист.

Маруся выражает полное согласие.

Но то, что он пробует передать дальше, совершенно загадочно. Он закрывает глаза, тычет пальцем через плечо и делает вид, что пишет.

Маруся разводит руками и пожимает плечами: не понимаю, мол.

Кларнетист манит ее пальцем.

Маруся подходит к перилам беседки. Кларнетист свистящим шепотом объясняет загадку:

— Заочно кончаю вуз...

Но тут усатый капельмейстер замечает непорядок. Смотрит на кларнетиста беспощадным взглядом. Стучит палочкой по пюпитру.

Музыкант немедленно делает строго деловое лицо. Преувеличенно внимательно, как близорукий, изучает ноты.

— Это кто? — спрашивает Сережа.

— Ой! Это мой друг, — отвечает Маруся. — Я в санбате его узнала. Он был...

Но тут дирижер взмахивает палочкой, гремит марш, заглушая все разговоры, и мы пока так и не узнаем, кем был кларнетист, Марусин друг.

Музыканты выстроены в ряды. Капельмейстер уводит их из Летнего сада.

Кларнетист печально сообщает Марусе знаками:

— Ничего не поделаешь! Служба! Маруся машет ему рукой.

Маруся и Сережа у автобусной остановки на Марсовом поле. В Лебяжьей канавке купаются мальчики, кричат восторженно:

— Вот холодно! Ой, мама, пропаду!

— Ребята, глядите! Плыву креном!

— Кто в мою сандалию кирпич положил!

— Ой, хорошо! Ой, симпатично! Ой, толково!

— Вон, автобус идет! — говорит Сережа.

— Какой номер?

— Неважно. Поедем. Куда привезет — туда привезет.

Маруся и Сережа сидят в ресторане на балконе, над водой. Цветы на столе отставлены в сторону, чтобы собеседники могли видеть друг друга. Столик в стороне. Ресторанный шум сюда едва доносится. Приглушенно звучит и оркестр, играющий на нижней террасе.

— Ну, а теперь перейдем к делу, — просит Сережа. — Я жду объяснений. Довольно помалкивать. Признавайся! Почему я на тебя всегда буду кричать? С чего ты это взяла?

Маруся кивает головой:

— Сейчас.

Она собирается с мыслями. Пристально глядя на Сережу.

— Значит, так, — начинает она. — Я девочкой верила, что все у меня будет не так, как у других людей. Все беды меня обойдут. Когда шла я с окопных работ и сказали мне, что фугаска попала в наш квартал, — я верила, верила, что не в наш дом. Как увидела, что в наш, — верила, все верила, что мама и папа живы. А когда все узнала, что… тут и кончилось мое детство. И добилась я, что жить мне, как всем людям. Довольно подарков ждать, да и стыдно. И наше счастье, Сережа, само нам в руки не упадет.

Знакомый нам кларнетист появляется между столиками. Замечает Марусю, крадется к ней, улыбаясь.

— Я не боюсь, — продолжает Маруся. — Чему нас жизнь научила? Тому, что все в наших руках. Но… я услышала сегодня вещие слова: «Заболел ребенок — доктора зовут, а воспитывать всякий берется». Понимаешь? Разве просто воспитывать, когда любишь? А нам придется воспитывать друг друга. И все самим, самим, тут учебников нет… Понимаешь?

Сережа хочет ответить, но кларнетист вдруг вырастает за спинкой Марусиного стула. Закрывает Марусе глаза руками. Подмигивает Сереже, как старому другу: молчи, мол, не выдавай…

— Васька! — вскрикивает Маруся.

— Узнала! — ликует Вася.

Они целуются.

— Как ты нас нашел?

— Старый разведчик не найдет? — спрашивает Вася. — Смешно. Я через решетку разглядел, что села ты в автобус. Куда? На острова. Ну, я, как отпустили — следом. Уже поужинали? Ну, я тоже восемь бутербродов съел, у лотошницы брал, пока искал тебя. Рассказывай, главное — не путаясь в мелочах. Учишься?

— Учусь.

— Молодец. Я тоже. Еще что?

— Замуж вышла.

— Вышла? Ты? Ну, я рад. Если бы ты не замужем была — это для меня был бы такой удар... смертельный?!

— Почему? — хохочет Маруся.

— Зачем ты спрашиваешь? — говорит вдруг кларнетист сурово. — Ты же знаешь, что я в тебя был влюблен, можно сказать.

— Никогда этого не было, — говорит Маруся Сереже.

— Было, — настаивает кларнетист. — Понимаешь теперь, как тяжело мне пришлось бы, если б ты не замужем была.

— Почему? — удивляется Маруся.

— Потому что я сам женился, между прочим...

Маруся хохочет.

— Ей все смешно! — доверчиво жалуется кларнетист Сереже. — А я на самом деле переживал. Намекну ей, бывало, а она посмеивается. Это вы ее муж?

— Я, — улыбается Сережа.

— Эх, познакомимся. Как зовут? Сережа? А я — Вася. Был разведчиком, а теперь музыкант. Вольнонаемный. Нога худо слушается.

— Коленный сустав! — качает головой Маруся.

— Отстань с медицинскими словами! — кричит Вася. — Ну, поздравляю!

Жмет руку Марусе и Сереже.

— И вам ее не жалко? — спрашивает он вдруг Сережу с глубокой серьезностью. — Такая она нежная, такая маленькая, и вы вдруг ей муж... Эх! Грубый мы народ! Ты не обижай ее, Сергей! Не обижай, прошу тебя. Не обижай! Эх, Маруся.

По конвейерной ленте медленно ползут резиновые подобия бот, превращаясь постепенно в настоящие боты. Маруся проходит позади работниц с записной книжкой и секундомером в руках.

Пожилая работница окликает ее:

— Практикантка, а практикантка!

— Я тут, Ольга Васильевна.

— Подойди, дочка, когда кончишь задание.

Маруся останавливается за спиной Ольги Васильевны.

— Я уже кончила. Только проверяла.

— Нас?

— Нет, клей. Он лабораторию беспокоит. Застывает медленно.

— Ну, если клей, это другое дело. А то я уже хотела с тобой сцепиться, поругать тебя.

— За что?

— А ни за что. Перед гудком я только и делаю, что ищу, к чему бы привязаться. Ты на дочку мою похожа. Вот я и подумала: ох, всыплю ей сейчас…

Соседка Ольги Васильевны, молодая кокетливая работница, хохочет, не разжимая губ. Так смеются люди, желающие скрыть недохватку передних зубов.

— Ох, Ольга Васильевна, комик вы, и в глаза, и за глаза скажу.

Ольга Васильевна и не взглядывает на нее:

— Ты, практикантка, замужем?

— Да, Ольга Васильевна.

— Давно?

— Скоро два месяца.

— Так. Смотришь в конвейер, а думаешь о муже?
Молодая работница хохочет, не разжимая губ.

— Ну, чего молчишь?

— Сейчас. Сейчас…

Маруся с обычной своей серьезностью обдумывает вопрос. И отвечает:

— Значит, так… Я не то что о нем думаю, а все время о нем вспоминаю. Например, поспорила я сегодня с мастером. Думаю, надо это будет Сереже рассказывать. И все время так…

Ольга Васильевна оглядывается на Марусю.

Задумчиво кивает головой.

Молодая работница перестает хохотать.

— Сережей зовут... — говорит она ласково и задумчиво.

Дом, покрытый лесами. Сережа и Степан Николаевич спускаются по лесам вниз. Сережа весел. Степан Николаевич внимательно и удивленно поглядывает на него.

— Ну, что же, — говорит Степан Николаевич, — придется мне вас хвалить. Ладно, ладно! Не за то, за что вы думаете.

Он взглядывает на часы:

— До совещания у нас есть еще полчаса. Посидим в саду. А то я и лета не вижу. Такая профессия окаянная.

Они входят не спеша в сквер возле Академии художеств. У обелиска посреди сквера играют дети. Маленький мальчик подбегает к Степану Николаевичу:

— Дядя, скажите, пожалуйста, сколько времени?

— Ровно час, — отвечает Степан Николаевич.

Идет, улыбаясь.

— Какой умный мальчик! — восхищается он.

— Почему? — спрашивает Сережа.

— Потому что сказал «дядя», а не «дедушка». Глупые мальчики из-за моих седых волос иногда называют меня дедушкой. Портят мне настроение. Вычеркивают из жизни. Я дядя, дядя. Запомните это!

Сережа смеется.

Они садятся на скамейке в углу, в глубине сквера.

— Так вот, в качестве дяди, — продолжает Степан Николаевич, — я глаз не спускаю с некоторых моих «племянников». Сейчас я вас буду хвалить. Когда я женился, то остался на второй год на четвертом курсе. А вы вдруг стали еще лучше работать. Почему?

Сережа смеется.

— Чудеса! — продолжает Степан Николаевич. — Умиляюсь... Впрочем...

Мимо галопом проносятся двое ребят.

— Сдавайся, а то зарежу! — кричит один из них.

— Впрочем, представьте себе, — продолжает Степан Николаевич, — что мимо нас промчались бы не мальчики, а бородатые пожилые люди с этим же самым воплем: сдавайся, а то зарежу! Мы бы с вами не улыбались снисходительно. Это я к чему говорю. К тому, что любовь тоже имеет свои возрасты. У вас дома сейчас, так сказать, царствует любовь-ребенок. Что бы она ни делала, как бы ни шалила — зрители умиляются. Но она, увы, не остается неизменной. Не успеешь оглянуться, и вот уже в доме любовь-подросток, со всеми неприятными свойствами переходного возраста. Ну и так далее, и так далее... И, кроме того, любовь — болеет. Уверяю вас. Особенно в нежном возрасте. И не всегда, ох, не всегда доживает до прекрасных зрелых лет.

За столом в заводской столовой — Маруся, Ольга Васильевна и Шурочка, та самая работница, что смеется, не разжимая губ.

— Нет, я рада, что уже в возрасте, — говорит Ольга Васильевна решительно. — Кончились все глупости, неудовольствия. Довольно я с ума сходила. Однажды чуть не разошлась с ним.

— Изменил? — с жадным любопытством спрашивает Шурочка.

— Молчал все время, — объясняет Ольга Васильевна. — Ей-богу. Теперь-то я понимаю, что он уж такой на свет уродился. А тогда я, дура, так понимала: если муж молчит, значит, это он жене в обиду.

— Плохо жили? — спрашивает Шурочка отрывисто, с той же жадностью.

— Не плохо, а глупо, — отвечает Ольга Васильевна. — Сколько сил убито, сколько времени потеряно. Ни одному врагу злейшему такого не наговорю, бывало, сколько ему, бедняге.

Шурочка хохочет, не разжимая губ.

— А теперь вот... — продолжает Ольга Васильевна, — сын в Москве, дочка с мужем на Камчатке. А он за мной ходит. Я в кухне вожусь — он возле сидит, курит. Я шить сяду поближе к свету — он возле газету читает. Ну, что тебе? — строго спрашивает она у молодого парня, который подошел к столу и скромно ждет, пока Ольга Васильевна замолчит. — Видишь, обедаю!

— Пока Люба компот принесет, мы все вопросы решим! — улыбается парень.

— Ничего, ничего! — сердится Ольга Васильевна. — Порядок есть порядок.

— Два слова! По важному вопросу.

— Мы тоже по важному вопросу говорим! — сердится Ольга Васильевна.

— Полминуты!

— Вот упрямый! — улыбается Ольга Васильевна. — Что значит мальчик... Ну, ладно.

Она встает и отходит с парнем в сторону, причем их едва не обливает супом подавальщица, которая мчится по проходу с подносом, до того тесно уставленным тарелками, что кажется просто сверхъестественным, как не развалится эта пирамида.

Подавальщицу преследуют вопли:

— Любочка, мой талон захвати!

— А где гуляш, гражданочка?

— Тот стол позже пришел, а ты его обслужила!

Шурочка наклоняется поближе к Марусе, шепчет:

— Ох, Ольга Васильевна — это особенная баба. И муж у нее не простой человек. Был когда-то рабочий, как мы с тобой, а теперь смотрите-ка — директор номерного завода. Могла бы, кажется, дома сидеть, отдыхать, — нет, не соглашается. И на конвейере она, и в завкоме, и парткоме, и в райсовете. Такая умная женщина, до всего доходит, а в семейной жизни ничего не понимает. Ты меня послушай!

Но тут Ольга Васильевна возвращается на место. Остро взглядывает на Шурочку.

— Чего?

— Я ничего, — отвечает та, посмеиваясь.

— Что ей нашептывала, а?

Шурочка кивает головой решительно: сейчас, мол, скажу, но тут подавальщица ставит на стол поднос, на котором в два этажа друг на друге стоят стаканы с компотом.

— Берите сами, граждане! — просит она. — Сверху берите. Осторожно берите. Вот спасибо. Значит, с вашим столом я в расчете.

Она убегает к соседнему столу, а Ольга Васильевна вздыхает:

— Ну, вот и обед к концу пришел, а поговорить и не поговорили. А я так считаю. Семья — дело первой важности. Что тыл во время войны, так и семья в наши дни. Беда только, что мы говорим о ней на ходу, между делом. Ну, словом, — закругляюсь: люби мужа, и все будет ладно.

Шурочка взмахивает отчаянно головой и как в воду бросается.

— Не слушай ты ее, а слушай меня, — говорит она страстно. — Нет никакой любви на свете, будь прокляты они, эти мужики! Как родила я дочку, да отдала ей свою красоту, да потеряла после родов зубы — все кончилось. Слова от него человеческого не слышу, от подлеца, от мужа. Еще, спасибо, не бросил — дочку, что ли, жалеет? Нет любви на свете, так и помни, а то пропадешь.

— Видали? — сердится Ольга Васильевна. — А ты что в прошлую субботу мне доказывала? А? Хвастала, что нет на свете человека лучше, чем твой Николай. И тихий, и заботливый, и непьющий, и работящий, билеты в театр тебе достал, и сам вымыл окна, и девочку выкупал, чтобы тебе дать отдых. Было это?

— Мало ли что! Ох...

— Хороший он парень! — перебивает ее Ольга Васильевна.

— Со стороны — конечно, а вы на него дома поглядите.

— И дома хороший. Избаловал тебя. Сама ты не знаешь, за что человека мучаешь.

Шурочка хочет ответить, но мощный рев гудка потрясает стены столовой, заглушает ее слова.

Обеденный перерыв окончен.

Маруся и Ольга Васильевна идут по длинному коридору, мимо досок с объявлениями за проволочной сеткой, мимо пожарных кранов, мимо железных дверей, запертых железными болтами.

И вдруг Ольга Васильевна останавливается возле широкого решетчатого окна.

Улыбается неожиданной для нее застенчивой улыбкой.

— Хочешь, покажу его? Мужа? Гляди.

И, порывшись в сумочке, достает маленькую фотографию. Маруся видит пожилого человека с упрямым ртом.

Седые волосы коротко острижены, стоят ежиком. Глаза глядят сурово и строго.

Ольга Васильевна смотрит на портрет через Марусино плечо. И говорит вдруг ему, портрету:

— Ну, чего, чего смотришь так свирепо?! Сниматься пришел! К фотографу… хоть тут улыбнись. Идол!

Маруся смеется. Ольга Васильевна прячет портрет в сумку.

— Да, — вздыхает она, — есть о чем поговорить. Только времени нет. Да и не умеем еще.

Вася ходит мимо завода, от угла до угла, но при этом всем своим видом показывает, что он никого не ждет, не гуляет, а спешит куда-то по важному делу.

Гудит гудок.

Из проходной конторы валом валит народ. Дважды пересекает эту толпу Вася, озабоченно, ни на кого не глядя.

Вдруг радостный голос окликает его:

— Вася!

Он оглядывается. Маруся подбегает к нему.

— Смотри-ка! — удивляется Вася. — Ты что тут делаешь?

— Работаю, — сообщает Маруся. — Я же тебе рассказывала, что я на этом заводе на практике.

— Ага, припоминаю! — говорит Вася, глядя на Марусю так пристально, с таким жадным вниманием, что она даже спрашивает испуганно:

— Что? Лицо у меня запачкано? А, Вася?

— Нет, почему. Лицо все то же, знакомое, — отвечает Вася. — Тебе в какую сторону? Я тут ездил за нотами, да не застал, понимаешь, этого человека. Так ругался, понимаешь! Назначает время, а сам уходит. Гражданские привычки... К трамваю идешь?

— Нет, мне хотелось пешком.

— Да? Ну, я тебя провожу. У меня время есть.

Они идут не спеша по ленинградским улицам.

— А муж? — спрашивает Вася.

— Что муж?

— Не обидится, что ты домой не спешишь?

— Ой, он сегодня поздно вернется. Сегодня судьба его решается. Я так волнуюсь! Сегодня их проект рассматривать будет комиссия. Там, понимаешь, целый заводской комбинат они спроектировали. Два цеха и дома для рабочих — Сережины.

И метод он предложил постройки свой, скоростной. Ох, страшно. Здесь будут рассматривать. Потом в Москве. Метод новый. В области его сейчас пробуют. В одном совхозе. Ох, страшно. Верно?

— Дружно живете? — спрашивает Вася.

— Ага.

— Не ссоритесь?

— Почти что.

— Не обижает?

— Он-то не обижает. Только я, бывает, обижаюсь. Вот скажи ты мне, Вася, по-дружески. Ты меня хорошо знаешь. Я обидчивая?

— Была нормально, как все.

— А стала ненормально. Над одним его словом могу целый вечер думать. Да что ты, над словом... Не тем тоном скажет что-нибудь... Давай мороженого поедим.

— Это можно! — соглашается Вася.

— Чур, я плачу!

— Это нельзя!

Вася врезается в толпу, окружившую продавщицу сливочных брикетов, и Маруся слышит веселый его голос.

— Одну минуточку, граждане! — кричит он весело, — позвольте нахалу вне очереди. Ну, что делать, гражданочка, когда мне сладкого хочется. Я понимаю, что всем хочется, только мне еще больше. Ну, можно ли сердиться возле такого веселого продукта, как мороженое. Не пшено ведь. Ну, вот и все.

Вася, слегка прихрамывая, выбегает из толпы с двумя брикетами в руках.

Подмигивает Марусе:

— Техника!

— Погоди, не ешь! — просит Маруся. — Зайдем в сверик... Там я тебе что-то интересное покажу.

Они заходят в скверик, усаживаются на скамеечке.

— Ну, теперь можно. Садись и ешь! Вот на тот дом смотри. Маруся указывает на четырехэтажный дом против сквера.

— Хорош?

— Ничего себе...

— Наша работа! По Сережиному проекту его восстанавливали, когда мы еще и знакомы не были, и вот что оцени: скоростным методом восстанавливали, а в доме не сыро. Жильцы удивляются! Ох, на платье капнула!

Вася бережно обтирает носовым платком Марусино платье.

— Я, как домой иду, всегда сверну посмотреть. Понимаешь, как это приятно. Верно? Вася, ты обиделся?

— Кто, я?

— Обиделся, обиделся, что я все о себе говорю. Теперь ты говори. Почему жену к нам до сих пор не привел? Где пропадаешь? Раз только забежал — и нет его... Я тебя вспоминала.

— Разве?

— Сколько раз. И Сереже ты понравился. Ну, говори, какая у тебя жена?

— Ой, хорошая.

— Любишь ее?

— Ого!

— Ну, молодец. А не врешь? Как-то ты странно говоришь о ней.

— Стесняюсь...

Маруся смеется.

— Не верит! — удивляется Вася. — Ну, слушай тогда. Знаешь, как я ее люблю? Всегда ее лицо передо мной. Вот именно. И когда я вижу ее, то удивляюсь, что она не такая, а еще лучше. И все я боюсь, как бы ее кто не обидел. Кажется мне, дураку, что очень она, ну, как бы тебе это выразить... Не такая, как все... Что ее ушибить легко. Когда долго ее не вижу, все мне кажется — не заболела ли... Понимаешь, бывает, что я ее долго не вижу, она в командировках часто... Ну, словом, короче говоря, вот тебе и все.

Говорит он это, очень серьезно, даже мрачно, глядя прямо перед собой. Маруся не сводит с него глаз. Некоторое время оба молчат.

— Вот ты какой, оказывается, — говорит Маруся.

— Вот именно! — отвечает Вася.

— И не ссоритесь вы?

— Зачем? — отвечает Вася. — Я как на войне решил — буду жить по-человечески, так и живу.

Он внимательно взглядывает на Марусю. Улыбается мягко и признается:

— Ссоримся, конечно.

Маруся смеется.

— Вот странно! — говорит она. — Ни одной подруге я ничего не рассказываю... а тебе могу. Почему-то я тебе очень доверяю.

— И правильно делаешь! — говорит Вася твердо.

Маруся и Вася стоят на трамвайной остановке.

— Будешь к нам приходить почаще? — спрашивает Маруся.

— Стесняюсь я! — отвечает Вася.

— Кого?

— Да у вас народ, верно, в гостях бывает.

— Кто? Степан Николаевич заходит. Это главный инженер, начальник проектного бюро. Очень хороший человек. И еще Леня Лагунов, Сережин друг. Ну, этот...

— Не нравится тебе?

— Да не знаю. Его Сережа очень любит. Но он... Не знаю. В общем, приходи. Увидишь.

— Надо будет прийти, — отвечает Вася.

— С женой.

— Непременно.

Маруся задумывается о чем-то глубоко. Вася глядит, глядит на нее. Даже голову склонил набок. Улыбается грустно.

— Вася, — спрашивает Маруся. — Ты в высшей математике разбираешься?

— Плаваю... А что?

— Да ничего, ничего. Так... Я тоже плаваю. Ну, вот и мой.

Маруся взбирается на площадку трамвая. Вася подсаживает ее осторожно, заслоняет от толчков, широко расставив локти.

— До свидания!

— Будь здорова, Маруся!

Звонки. Вагон трогается. Вася долго стоит на остановке, смотрит вслед трамваю, пока тот не исчезает за углом.

На воротах Летнего сада плакат: «Закрыт на осеннюю уборку».

Рабочие разносят по аллеям высокие деревянные будки, в которых спрячутся статуи от зимних холодов.

Темнеет.

Сережа стоит у окна. Угрюмо глядит на свое лицо, тускло отражающееся в оконных стеклах. Знакомый плакат на противоположной стене с девушкой, кипарисами и синим морем — весь в сырых пятнах и подтеках.

Маруся сидит, согнувшись над книгами.

— Да пойми же ты, наконец! — начинает Сережа сквозь зубы. — Что интеграл...

— Не надо! — отвечает Маруся упрямо.

— Что не надо?

— Не надо объяснять.

— Почему?

— Потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Разве первый раз ты мне объясняешь? Нет, Сережа, не в первый. Я завтра перед лекцией у подруг спрошу. Они объяснят.

— Значит, по-твоему, эти идиотки знают математику лучше меня?

— Во-первых, они не идиотки, — отвечает Маруся подчеркнуто спокойно, — Саша Волобуева — сталинский стипендиат, например. А во-вторых, они не будут говорить со мной раздраженным тоном...

— Я спокойно говорю.

— Нет, Сережа, ты говоришь с ненавистью.

— Здравствуйте, с ненавистью... Если хочешь — с ужасом, да.

— Все равно...

— Ты меня просто ужасаешь. Как можно до такой степени не разбираться в элементарнейших вещах! Ты меня нарочно дразнишь.

Маруся еще ниже склоняется над книжкой.

— Дай карандаш. Начнем сначала.

Маруся трясет головой отрицательно.

— Не упрямься! Смотри сюда.

Маруся не поднимает головы.

— Маруся!

Маруся молчит.

Сережа всхлипывает.

— Дикое упрямство! Тут ангел — и тот, к черту, голову потеряет! Слушай меня! Немедленно!

И Сережа исступленно, что есть мочи, вопит длинную математическую формулу. Звонок прерывает его.

— Кого тут еще черт принес... — бормочет Сережа яростно. Свирепо шагает в переднюю.

Маруся слышит щелканье замка и Сережин голос.

— Леня, да какой же ты мокрый!

— Сразу успокоился! — бормочет Маруся.

Она уходит и закрывает за собой дверь.

Появляется Леня Лагунов, Сережин товарищ, инженер, его ровесник, молодой человек лет двадцати девяти. Он ладно скроен, красив, хорошо одет, держится уверенно. Лицо живое. Нервен. Это последнее свойство сказывается в его привычке вертеть в руках что придется: карандаш, спички, стакан. За неимением лучшего — отрывает от газеты длинную полосу бумаги, сворачивает в трубочку и вертит, вертит в своих длинных пальцах.

Войдя в столовую, он снимает очки, отчего уверенное выражение его немедленно исчезает. Беспомощно щурится он, протирая стекла углом белоснежного платка, вглядывается в Сережино лицо.

— Я, понимаешь, пришел, — начинает он, — явился, понимаешь, к вам... Притащился, так сказать...

Он надевает очки и продолжает уже уверенно и спокойно.

— Пришел к вам не позвонив, потому что не знал, куда иду. Ничего?

— Садись.

Леня садится за стол, берет газету, аккуратно и старательно отрывает полоску бумаги.

— Сегодняшняя! — предупреждает Сережа.

— Поля отрываю, не беспокойся. Не могу дома сидеть! Все боюсь, что позвонят насчет проекта, а звонят девушки, а я по доброте характера им отвечаю. Сегодня обещал Ане пойти с ней в кино, Вере — в театр, а Маргарита Львовне — в гости к ее дяде — юрисконсульту.

— Ну и что теперь будешь делать?

— Что, что... Скрываться буду. Маруся дома?

— Дома.

— Ой, — пугается Леня. — А я ору во весь голос.

— Она не спит.

— Понимаю. Но все-таки мужские разговоры не к чему ей слушать.

Мы видим, как Маруся отрывается от книжки и сурово показывает язык закрытой двери.

— Она не слушает, — говорит Сережа.

Леня усмехается.

— Итак... — спрашивает Леня. — Москва молчит?

— Как видишь...

— Что-то мне на этот раз даже мое любимое лекарство не помогает...

— Какое?

— Новый проект. Уж я и так пытался увлечься сегодня, и этак. Нет! Все беспокоюсь о предыдущем. Нездоровое чувство.

— Ничего.

— Ты что сегодня так односложен? Я помешал? Могу и уйти...

— Не говори глупостей, — отвечает Сережа, глядя в окно.

— Ты с женой поссорился, что ли?

Сережа не отвечает.

Леня подходит к нему.

В квартирах напротив уже зажгли свет. Тени мелькают на занавесках. Вот чья-то голова вытянулась во все окно и исчезла. Гигантская рука пошевелила пальцами.

— Что случилось? — спрашивает Леня. — Признавайся, чего там.

— Гляди, — отвечает Сережа, указывая на освещенные окна. — Что?

— Почти все окна занавешены. Люди не хотят, чтобы к ним заглядывали в дом. Здоровое желание? А? Как ты полагаешь?

— Беру свои слова обратно! — отвечает Леня быстро. — Я сегодня, понимаешь, растерянный какой-то, что ли... Впрочем, — добавляет он после паузы, снимая очки, — впрочем, я думал, что окна занавешивают от чужих. Ладно. Не отвечай. Что ты ни ответишь, все равно будет неприятно. Уж такой сегодня вечер. Сядем, покурим.

Оба садятся на диван. Сережа приносит пепельницу. Улыбается.

— Вот я тебя сейчас разоблачу, — говорит он. — Я понял, почему ты снимаешь очки, когда начинается неприятный разговор.

— Ну?

— Боишься, что драка будет. Это у тебя еще школьная привычка. Верно?

— Похоже! — соглашается Леня.

— Очень похоже! — добавляет он подумав и хохочет.

— Ну, а теперь рассказывай что-нибудь постороннее. Только потише. Не мешай Марусе заниматься!

Маруся забралась в кресло с ногами. Локти на столе. Ладонями зажимает она уши. Раскрытый учебник лежит перед ней. Со стороны можно подумать, что она занимается, с головой ушла в работу. На самом же деле — она мечтает.

И мы видим ее мечты.

Маруся стоит на кафедре.

Огромный зал, очень смутный, очень неясный, как бы исчезающий в некоем тумане, — аплодирует ей.

— Я решила настоящую научную проблему, — мечтает Маруся. — Нашла синтетический белок, понял, понял, что я не дура!

И лицо Сережи резко выступает в смутно видимой толпе. Он глядит на Марусю с уважением и раскаянием.

А она уже мчится по шоссе в открытом автомобиле. Теперь Маруся видит все вокруг гораздо отчетливее, чем там, в аплодирующем зале. И шоссе, и море, и кипарисы совсем такие, как на плакате, который мокнет сейчас в осенней тьме за окном.

— Еду на завод синтетического белка, — мечтает Маруся. — Там не ладится что-то. Ждут меня. Нет, нет, я не боюсь. Я приеду и не буду спешить, как тогда на фронте, когда разбирали один раз жалобы раненых. Ни слова не скажу, пока все не станет ясно. Люблю, когда вдруг почувствуешь, что все понятно и никому тебя не переубедить... Но... Что такое?.. Что мешает мне радоваться?.. Ах, да... где Сережа? Пусть будет так: он в отпуску и тоже едет со мной на завод.

И тотчас же, как по волшебству, Сережа возникает в машине рядом с Марусей.

— Или вот что... — мечтает Маруся. — В мае не пустили меня на его стройку, потому что она засекречена. Пусть и мой завод тоже засекречен. Нельзя туда посторонним.

Сережа исчезает послушно.

— Но он ведь не увидит тогда, как я там распоряжаюсь, как меня там уважают. Пусть едет со мной.

Сережа появляется.

— Или нет!

Сережа исчезает.

— Пусть будет так: он работает у себя на строительстве. А я у себя. И у него все идет отлично, и у меня замечательно, только от него так давно нет писем, что я уже начинаю беспокоиться. И вдруг...

Встречная машина летит по шоссе. Сережа сидит за рулем. Узнает Марусю. Тормозит резко. Прыгает на дорогу.

Маруся шагает ему навстречу. Он обнимает ее, целует.

И Маруся, сидящая над учебником, медленно закрывает глаза.

Встряхивается, как бы проснувшись. Встает.

Идет к комоду. Открывает верхний ящик, ищет там что-то, напевая задумчиво, на свой любимый лад.

— Ну и Маруся! Что за Маруся. Как поглупела, обезумела.

Видит себя в зеркале.

Нежно улыбается.

Поет едва слышно, почти шепча:

— Ну и Маруся, что за Маруся. Вот так Маруся. Ай да Маруся.

И вдруг слышит взрыв смеха. Знакомые голоса.

Она выглядывает в дверь и видит: пока она сидела и мечтала — собрались гости. Степан Николаевич объясняет что-то Васе, рисует на листе бумаги какой-то чертеж.

Ольга Васильевна смеется над тем, что рассказывает ей Леня.

— Гостей сколько! — радуется Маруся.

Все оборачиваются к ней. Ласково улыбаясь, идет к ней Вася навстречу. Степан Николаевич кивает ей. Ольга Васильевна целует ее и говорит сурово:

— А ты радуйся, что гостей много! Хорошая семья — как магнит. Попробуйте только у меня худо жить! Убью! Вы всем нужны!

Дверь закрылась за последним гостем. Маруся поправляет волосы у зеркала в передней. Сережа направляется к двери в столовую и вдруг останавливается нерешительно.

Маруся видит это в зеркале.

Улыбается.

Сережа оборачивается.

Смеется.

Делает шаг к Марусе. Протягивает к ней руки.

Но она говорит умоляюще:

— Подожди! Пожалуйста, подожди, Сережа!..

— Ты все сердишься?

— Нет, только подожди. Если ты обнимешь меня, все мои мысли перемешаются, и я буду опять думать, что все хорошо. Я посуду помою и что-то тебе скажу.

Сережа сидит на табуретке у кухонного стола. Глядит на Марусю, которая вытирает озабоченно суконной тряпкой чайник, и без того сияющий. Говорит добродушно:

— Да ладно уж, довольно наводить порядок в твоей лаборатории. Ругай меня поскорей.

Маруся ставит чайник. Садится напротив мужа. Глядит ему в глаза.

— Никого я не буду ругать, — начинает она тихо. — Сережа, Сережа! — продолжает она с отчаянием. — Что со мной делается? И спросить некого, посоветоваться не с кем. Спросила бы маму, а где она? Поговорила бы с Ольгой Васильевной — стыдно. Только с тобой и можно разговаривать, а ты, бедный, тоже ничего не понимаешь.

— Маруся!

— Да вовсе не плачу я. Ты слушай. Нет, не трогай меня, милый, маленький мой. Ты послушай. Что со мной делается? Отчего стала я обидчива? Почему не могу тебе ни одного слова простить? Ближе тебя нет мне человека, а как раз на тебя могу я так рассердиться, что голову теряю. Что за сила такая дикая вертит нами, как ей захочется? Разве я так жила? Я за каждое слово свое отвечала и за каждый поступок. Что же это выходит? Неужто любовь людей не только сближает, а еще одуряет и портит или

это только мы с тобой не умеем с ней обращаться? Ну, помоги ты мне! Помоги!

— Да будет тебе! — говорит Сережа растерянно. — Что случилось? Ничего не случилось.

— Сережа, дорогой, миленький, давай толково говорить. Давай, как будто это такое же дело, как твой проект. Давай… Ведь это мы не объясняемся, что за глупости. Это мы думаем. Понимаешь? Задачу решаем, как жить будем. Понимаешь?

Сережа кивает головой…

— Ты послушай. Мне видней, где опасно. Ты не обижайся, а только ты не думаешь о доме, как я. Не так болеешь за него душой. Не так пугаешься. А я и на войне истосковалась по счастью и дому. Да и женщина больше все-таки понимает, что это не пустяк. Дом — это не стены, не квартира, а мы с тобой. Само собой ничего не делается. Тут надо подумать. И уважать друг друга. Главное — уважать, уважать друг друга.

Сережа улыбается.

— Не смейся, — просит Маруся.

— Я не смеюсь, что ты! — отвечает он. — Я просто вдруг понял, что ты у меня умница.

Маруся вспыхивает от удовольствия.

— Ничего подобного! Правду говоришь? А почему?

— Я ждал, что ты начнешь, как все это делают, выяснять, кто виноват, кто первый повысил голос, кто первый заговорил раздраженным тоном… А ты, оказывается, обдумываешь все.

— Да, — отвечает Маруся.

— И не только меня и себя винишь… Вот какая ты, оказывается, какие задачи берешься решать. И хоть правда живем мы с тобой не хуже других, но, пожалуй, ты права. В самом деле — в семейной жизни мелочи, может быть, и не мелочи. Дело в количестве… словом — слушай.

Сережа встает. Садится. Опять встает.

— Никогда в жизни не умел говорить о себе. Придется поучиться. Ты знаешь, что я из военной семьи. Отец был командиром полка. Мать — военврач. Это ты знаешь. А что мы постепенно переезжали из города в город — этого ты не знаешь. Менялись школы, весь уклон жизни. Перемены эти баловали. Чуть задержимся где подольше — я скучал. Нетерпелив стал, капризен. Страшно сказать, как груб я бывал с матерью. Как-то в начале войны вспомнил я о стариках, когда дежурил ночью в штабе. Сердце замерло от ужаса. И от жалости. Думаю: увижу своих — все прямо скажу, попрошу прощения, первый раз в жизни. Ну — и не увидел. И прощенья просить не у кого. Я, подумай только, в школе не был на лучшем счету, а дома — свинья чистая. Война многое перевернула. Многому научила. И сейчас я, пожалуй, не тот человек. Но вот тебя вдруг начинаю обижать... Запомни, Маруся. Да. Сейчас скажу. Вот. Я, с тобой встретившись, стал сильней. Этому ты, этому счастью причиной. Ну и все. И это в наших силах сделать так, чтобы любовь нас не одуряла, не портила, а... ну, словом, ты сама понимаешь, Маруся, ты спишь, что ли?

— Нет, я плачу, — отвечает Маруся.

Окошечко кассы в Филармонии. Над окошечком плакат: «Все билеты проданы». Нырнув в это окошечко по самые плечи, Вася убеждает кого-то невидимого, очевидно, кассиршу:

— Войдите в наше положение! Посочувствуйте учащейся молодежи... Студенты-химики, молодец к молодцу, а билетов не имеют...

Студенты-химики, друзья и подруги Маруси, облепили Васю сплошной толпой, жадно прислушиваются к переговорам.

— Чайковский ведь! Ромео и Джульетта все-таки! Кому и слушать, как не нам. Да у меня лично взят билет

заранее. О друзьях хлопочу! У них внезапно семинар отменили. Шестнадцать входных на хоры — и все будут счастливы... Да где же мы поймаем администратора! Он опытный... Умеет прятаться!

Галопом влетает девушка с тяжелым портфелем. Ее меховая шапочка, мокрая от дождя, почти свалилась с головы, держится каким-то чудом на выбившейся косе. Это и есть — та самая Саша Волобуева, сталинский стипендиат, о которой говорила Маруся.

— Поймали! — сообщает она, задыхаясь.

В толпе движение.

Возгласы:

— Саша! Волобуева! Поймали, говорит! Ура!

Вася высвобождается из окошечка:

— Администратора поймали?

— Да! — сияя, рассказывает Саша. — Ой! Где моя шапочка? Вот она. Он даже засмеялся от ужаса. — Я вас, говорит, студентов, даже во сне вижу.

— Дал записку?

— Пишет! Маруся уговорила!

Вбегает Маруся, такая же сияющая и озабоченная, как Саша. Она размахивает в воздухе запиской. Ныряет в окошечко кассы.

— Вот! Шестнадцать входных! — просит она, задыхаясь. И тотчас же, вынырнув из окошечка, оглядывает своих с победоносной улыбкой.

Студенты бегут наперегонки по лестнице на хоры.

— Тише! — шипит на них юноша, сидящий прямо на полу, у двери, с партитурой в руках.

— Опоздали! — ахает Маруся.

— Тише, — повторяет юноша, прильнув ухом к двери.

Перелистывает страницу партитуры.

Вася подкрадывается к двери. Осторожно-осторожно, чтобы петли не заскрипели, чуть-чуть приоткрывает он ее, и смягченные звуки знаменитой увертюры заполняют коридор.

Опоздавшие бесшумно рассаживаются на ступеньках.

Сияющие люстры. Белые колонны зала. Высокий, длиннолицый дирижер с плавными и вместе с тем повелительными движениями рук. Лица слушателей в зале. Лица опоздавших, устроившихся на ступеньках.

Вася глядит на Марусю, глядит, глядит. А Саша Волобуева наблюдает за ним, улыбаясь задумчиво.

Вася оборачивается.

Встречается глазами с Сашей.

— Что? — спрашивает он чуть слышно.

— Так, ничего.

— Хорошая музыка?

— Очень хорошая. Вася, это правда?

— Что именно?

— То, что он говорит. Что музыка говорит…

— Чистая правда! Так вот оно и есть. Полюбил человека, и кончено. Не нужны ему другие. Хороша музыка. Все из жизни взято!

Саша кивает головой.

Некоторое время они слушают молча. Юноша с партитурой дирижирует, переворачивая страницы.

— Вася! — спрашивает вдруг Саша негромко. — Скажите честно — вы женаты?

— Под музыку спросила — соврать невозможно, — отвечает Вася. — Если догадалась — молчи.

— Никому никогда не скажу, — отвечает Саша скороговоркой.

— Но ничего печального в этом нет, — продолжает Вася. — Я человек веселый. Крепкий. Честное слово, правда. Живу как бы под музыку и не жалуюсь. Все великолепно!

Гремят заключительные аккорды увертюры. Распахиваются двери. Опоздавшие бегом бегут на хоры.

Маруся и Саша протискались к барьеру. Смотрят вниз на музыкантов, меняющих ноты. Звуки настраиваемых инструментов. Негромкий гул толпы.

Маруся взглядывает на Сашу внимательно. Поправляет ей упавшую на лоб прядь волос.

— Какая ты у меня славненькая сегодня! — говорит она ласково. — Недаром Вася смотрел на тебя во все свои глазища.

— На меня?

— А то на кого же?

— Эх, Маруся! Да он, кроме тебя, никого и не видит.

Маруся хохочет искренно:

— Ну, Саша! Вот так Саша. Вот тебе и умница, отличница. Вася мне друг. Даже подруга!

— Вот потому-то ты и не видишь ничего, что смотришь на него как на подругу. В этих делах все мы эгоисты. Собой заняты. Тише! Довольно тебе смеяться! Дирижер идет.

Концерт окончен.

Студенты идут к вешалкам.

Маруся оглядывается и вдруг замирает от удивления.

По главной лестнице, сосредоточенный, ни на кого не глядя, спускается Сережа. Маруся делает шаг к нему — и Сережа, увидев жену, разительно меняется. Он вспыхивает от радости, как мальчик. Протягивает Марусе обе руки. И она бросается к мужу.

— Обрадовался! — говорит она удивленно и растроганно.

— Очень обрадовался! — признается Сергей.

И вот они стоят и смотрят друг на друга, улыбаясь, никого не замечая вокруг.

— Я не знала, что ты здесь!

— И я не знал.

— У нас отменился семинар.

— А я шел мимо — и предложили лишний билет... Давай отойдем в сторону, куда нам торопиться, если дома ни меня, ни тебя...

Маруся смеется. Они поднимаются наверх, садятся на бархатную скамейку в фойе.

— Ты шел с таким лицом, какое у тебя бывает, когда ты работаешь, — говорит Маруся.

— А какое у меня тогда лицо?

— Решительное... Будто в атаку идешь.

Сережа улыбается. Он польщен.

— Вот как! А когда ты это разглядела?

— За последние две недели. Когда Москва приказала расширить проект и вы сидели над ним ночами. Тогда даже Леня хорошо работал.

— Он вообще хорошо работает.

— Ну, не знаю. Нет новостей из министерства?

Сережа темнеет чуть-чуть.

— Нет. Это естественно. Проект нешуточный, но... Не умею я ждать. Хожу, злюсь... Небось заметила?

Маруся кивает головой.

— Придираюсь к Лене. Ворчу на Степана Николаевича. С кондукторшей сегодня поссорился в трамвае, глупость такая... Ты уж потерпи, если что... слышишь, Маруся? Потерпи, я сам не рад... Я кровь, понимаешь, кровь свою вложил в эту работу. И теперь боюсь: а что, если я размахнулся не по силам?

— Нет!

— Нет, говоришь? Да я и сам надеюсь, что нет. Сегодня слушал музыку и все проверил, даже перерассчитал кое-что заново. Живем, Маруся, живем! Делаем свое дело не хуже других. Подумал и о тебе под музыку и обрадовался, что ты со мной!

— Правда?

— Дай лапу! Вот так... Подумал: вот был бы ужас, если бы мы не встретились с тобой на фронте. Но мы с тобой встретились, и вот шагаем рядом, и самое главное у нас еще впереди. Я бываю нетерпелив, несправедлив — забудь. Все будет прекрасно. Правда?

Маруся кивает головой.

— Очень жалко, — говорит она после паузы. — Что?

— Что мы все понимаем, когда слушаем музыку или когда говорим по душам... Зачем не каждый день! Зачем не каждую минуту.

Сережа гладит ее по голове ласково.

— Ничего, ничего... Это есть в нас всегда, а ясно видим мы друг друга иногда. Мы люди требовательные, нам всего мало, уж в такое время живем. Но ведь и сейчас мы с тобой счастливы, Маруся. Верно?

— Очень! — отвечает Маруся убежденно. — Очень!

Поздний вечер. Дождь со снегом так и бьет по лицу. Подняв воротник, глубоко засунув руки в карманы пальто, быстро шагает по набережной Невы Сережа.

Леня торопливо выбегает из Мошкова переулка, почти наталкивается на Сережу, извиняется растерянно и вдруг узнает его:

— Сережа!

— Как видишь.

— А почему ты не у Степана Николаевича? Почему не дождался меня?.. Почему ты...

Он наклоняется к самому лицу Сережи, и тот отстраняется нетерпеливо. Почти кричит:

— Ну что?! Что смотришь? Терпеть этого не могу! Да, да, да! Ему уже звонили из Москвы. Ты опоздал!

— И что сказали?

— Ничего хорошего не сказали.

Сережа пускается в путь. Леня спешит за ним. Старается не отстать.

— Да погоди ты, я не могу так быстро, очки залепило снегом. Сережа слегка замедляет шаг.

— Неужели наш проект не утвержден?

— До этого еще не дошло! — отвечает Сережа. — Но совещание в главке не состоялось сегодня.

— Почему?

— Академик Литвак заболел. И просил без него не обсуждать наш проект. У него есть ряд важных соображений. Пожалуйста, не приставай с утешениями и предположениями. Все ясно. Значит, я просмотрел что-то.

— Почему именно ты?

— Потому что соображения эти касаются моего метода. А я не из тех, которые ищут, на кого свалить вину. Понял?

Леня не отвечает.

Некоторое время они идут молча.

— Знаешь что, Сережа! — говорит Леня просительно. — Пойдем посидим.

— Куда?

— В ресторан. Там светло. Играет музыка. Пойдем.

Сережа не отвечает.

— Я знаю твою привычку прятаться от людей, когда у тебя беда. Но... зачем прятаться от товарищей по несчастью? Ведь мне все это так же неприятно, как тебе. Давай посидим, поговорим... О другом будем говорить. Пойдем!

— Ступай один!

— Один я не умею ходить по ресторанам. Пойдем! Ужасно не хочется домой, пусто там у меня... счастливец ты. У тебя есть с кем отвести душу.

— До свидания! — отвечает Сережа угрюмо.

Маруся, забравшись с ногами в кресло, заткнув уши ладонями, сидит, низко склонившись над учебниками.

Она не слышит, как хлопает входная дверь.

Она не видит, как входит Сережа, останавливается перед ней, угрюмый, чернее тучи.

— Маруся! — окликает он.

Она вздрагивает и, узнав мужа, улыбается радостно:

— Сережа! А я и не слышала, как ты вошел! Здравствуй!

— Маруся! — отвечает Сережа. — Я тебя тысячу, миллион раз просил не сидеть с ногами в кресле.

Маруся медленно выпрямляется. Не сводя глаз с Сережи, послушно опускает ноги на пол.

— Нет, в самом деле, — продолжает он обиженно. — Это странно даже. Говоришь, говоришь, говоришь. Добьешься ты в конце концов искривления позвоночника. И уши затыкаешь. Это тоже вредно. Ты смеешься надо мной просто!

— Я ведь объясняла тебе, — говорит Маруся примирительно, — что это я в общежитии привыкла так сидеть. Там с пола с сильно дуло и шумели. Вот я ноги, бывало, подберу, уши заткну и учусь. Понимаешь?

— Нет! Раз я прошу, пожалуйста, считайся с этим... О тебе же забочусь.

— Не надо, Сережа.

— Что не надо?

— Заботиться обо мне так свирепо.

— Здравствуйте! Я слова не могу сказать у себя дома. Повторяю: о тебе же забочусь.

— Спасибо. Но... знаешь, как один муж вот так же заботился о жене? В городе была эпидемия брюшного тифа, а жена выпила сырой воды. Так муж ее за это застрелил. И оправдывался потом: это я для ее же здоровья! Она не слушалась...

— Не похоже!

— А по-моему, очень похоже. Садись, успокойся, я тебе сейчас дам чаю.

Маруся возится в кухне. И мы слышим ее мысли: «Нет, это мы еще не поссорились. Я поспорила с ним — и только. Я не могла больше молчать. Это уже рабство. Я устала. У меня послезавтра зачет. Голова даже кружится, так я устала... Это уже рабство — успокаивать его, успокаивать все время, целую вечность. Он не говорит, а рычит и ворчит. Это оскорбительно. Это рабство. Так хорошо поговорили в Филармонии, и на другой же день все испортилось, идет все хуже и хуже.

Наверно, неприятные новости из Москвы. А я чем виновата? Как это я придумала вдруг о брюшном тифе? Очень похоже. Вася очень смеялся бы. Он любит, когда я придумываю смешное. И ужасно удивляется. Куда он пропал? Месяц его, наверное, не видно. А если бы я не встретила Сережу, а Вася в самом деле любил бы меня? Нет. Как страшно! Даже мурашки по спине забегали. Ни за кого бы я не могла выйти замуж. Только за Сережу. Ну, хорошо. Надо идти. Заговорю с ним, как ни в чем не бывало. Он мучается... Он сам не рад...»

Сережа шагает из угла в угол.

И мы слышим его мысли: «Когда у меня беда, одно желание: спрятаться. Не могу видеть, как она глядит на меня. Не спрашивает, а все равно что спрашивает. Говорит мягко, убедительно, а сама только и думает: что у тебя случилось? Что у тебя случилось? И, главное, я тогда расхвастался в Филармонии: "Я молодец, я не хуже других". Дурак, а не молодец! Никаких оправданий. Я виноват. Размахнулся не по силам».

Маруся входит в комнату. Взглядывает на Сережу внимательно и ласково.

И он кричит вдруг отчаянно:

— Что, что, что тебе надо?

— Опомнись! Ты! — отвечает Маруся твердо.

— Шагу не могу ступить, когда домой прихожу. Смотрят все! Смотрят, видите ли, нарочно выводят из себя, а потом смотрят!

— Кто?

— Ты!

— А почему ты обо мне говоришь во множественном числе? Слушай, Сережа, давай...

— Надоели мне эти добродетельные разговоры: давай, давай... Что, я не вижу? Злишься на меня, а говоришь мягонько, сладенько: «давай... давай»... Довольно!

— Бей лучше посуду, а не это.

— Что это?

— Нашу жизнь. Смотри, Сережа...

— Нашу жизнь! Как будто это самое главное — наша жизнь. Дом! Домишко! Домишечко!

— Может быть, и не самое главное, но все-таки важное. Ты прочти...

— Замолчи. Не могу слышать, когда ты со своими куриными мозгами начинаешь рассуждать...

Маруся молча выходит. Сережа шагает из угла в угол. И мы слышим его мысли: «Пусть! Ладно! Пусть все летит! Сдерживаться, удерживаться, не хочу! Притворство! Ломанье! Ложь! Так лучше!»

И вдруг внезапно, как это часто бывает, какой-то голос, его же, Сережин, но такой далекий от бешеных его получувств, полумыслей, что кажется посторонним, голос рассудка, говорит отчетливо и холодно:

— А ведь ты негодяй!

— К дьяволу! Я прав! Что, я связан по рукам и по ногам, что ли? Подумаешь... Преступление... Меня довели до этого!

— Ты негодяй! Ты ударил женщину!

— Ударил! Ударил? Я не ударил ее!

— Хуже, чем ударил. Быстро перебрал, перебрал оружие и выбрал самое острое. Отравленное. Сказал, что у нее куриные мозги. И она сжалась вся.

Сережа останавливается, морщится и с силой проводит ладонью по лицу, как будто паутину со щек снимает. И снова начинает шагать по комнате.

— Неужели это верно? Да. Это верно. Я негодяй. Сколько раз осуждал тех, кого обидят на работе, а они срывают обиду на своих, на тех, кто послабее. Леня сказал: «Счастливец, у тебя есть с кем отвести душу». Я негодяй. Маруся, Маруся! Она сжалась вся, как будто я ее ударил. Ведь сам думал с удивлением, с уважением, что она иной раз бывает умней меня. И выбрал слово «куриные мозги». Пойти и попросить прощения? В жизни не делал этого. Надо идти. Надо. Пойду. Прощения просить не могу. Просто заговорю с ней как ни в чем не бывало.

Маруся сидит за учебником в любимой своей позе, с ногами в кресле, зажав ладонями уши.

Она слышит, что входит Сережа, опускает было ноги на пол, но тотчас же упрямо садится, как сидела.

Не глядя на Марусю, Сережа подходит к столу, будто ища что-то среди книг.

Спрашивает, не оборачиваясь:

— Чай-то мы будем пить?

Маруся не отвечает.

— Я сегодня пообедать не успел. Есть хочется.

Маруся делает движенье, чтобы встать, но снова усаживается в кресле.

— Ужин на плите, — отвечает она тихо и жалобно.

Сережа круто поворачивается. Делает шаг к Марусе, но она еще ниже наклоняется над учебником, не поднимая глаз.

— Идем вместе ужинать! — просит Сережа.

И тут Маруся выпрямляется:

— Ты очень плохой человек, — говорит она тихо, — очень плохой.

Сережа улыбается:

— Ну вот и ладно! Выругала меня, и квиты. Один-один. Идем ужинать.

— Никуда я с тобой не пойду, — говорит Маруся дрожащим голосом. — У меня куриные мозги? Может быть! А ты лучше? Разругали твой проект в Москве? Правильно сделали!

Сережа темнеет:

— Не говори о том, чего не понимаешь.

— Я-то, может быть, не понимаю, а в министерстве понимают. Размахнулся не по силам. Кровь вложил в работу. Вот оно и видно.

— Замолчи!

— Кричи, кричи — мне все равно! Все кончено! Понимаешь? Все у нас кончено с тобою.

— Ну и очень рад. Давно пора! — кричит Сережа яростно. Маруся наклоняется было над учебником, но тотчас же встает и уходит прочь.

Сережа бледный стоит посреди комнаты. Вдруг он слышит, как щелкает замок выходной двери.

Сережа бежит в переднюю.

Марусиного пальто на вешалке нет.

Сережа выбегает на площадку. Слышит знакомый стук каблучков далеко внизу. Со скрипом, со звоном пружины открывается тяжелая дверь во двор, хлопается на всю лестничную клетку, и вот не слышно больше каблучков.

Сережа возвращается домой.

Подходит к вешалке. Снимает пальто. И сейчас же, сделав непреклонное лицо, вешает его обратно.

В кухне стучит крышка чайника. Шипит пар. Сережа бредет туда. Выключает чайник и видит: на столе стоит пирог. На нем надпись из миндаля:

«Сереже к полугодию нашей свадьбы».

Сережа подходит к окну.

Стоит выпрямившись, как часовой на часах.

А Маруся шагает, шагает через дождь, через снег, спешит, будто не знает, куда идет. Вот она переходит через Дворцовый мост. Минует главное здание Университета. Бежит по опустевшим линиям Васильевского острова и у запертых дверей химического факультета вдруг останавливается и оглядывается, как бы проснувшись. Темные окна. Никого вокруг. Дождь и мокрый снег бьют Марусю по лицу.

Сережа сидит. Курит. Глядит на пустой стол пристально, будто книжку читает.

Звонок.

Он вскакивает, просияв, и тут же делает каменное лицо.

Выходит в переднюю не спеша. Распахивает дверь. Отступает удивленный.

На площадке — высокий длинноусый человек в широком резиновом плаще поверх осеннего пальто, в сапогах, в кожаной шапке-ушанке.

— Не спите, Сергей Николаевич? Вот удача! — радуется он. — Простите, что так поздно.

— Войдите! — отвечает Сергей и впускает неожиданного гостя в прихожую.

— Раздевайтесь, товарищ Ширяев.

— Не знаю, раздеваться ли? Ехать нам, Сергей Николаевич, надо. Если сразу выйдем, успеем к поезду.

Сережа идет из комнаты. Приезжий, вытерев тщательно ноги о коврик, — за ним.

— Понимаете ли, какое дело! — начинает он громко и, спохватившись, шепчет:

— Ой, что же это я кричу. Супругу вашу разбудим.

— Ее нет. Она... Она у подруги занимается. Зачеты у нее. Что случилось?

— Да! Все работает... А случилось, Сергей Николаевич, вот что. Стена поползла.

— Как так поползла.

— Поползла. Оседает. Трещина такая, что страх. Как дожди начались, так и пошло.

Лицо у Сережи делается каменным.

— А там у нас племенной скот, — продолжает приезжий. — Конечно, все забегали. Старики кричат: вот он, ваш скоростной метод! Позвонили в райком. Там велели до вас добиться...

— Стойте! Где поползла стена?

— Пока только в седьмом корпусе. Но, конечно, опасаемся за остальные.

— Так. В седьмом. Который к выгону? Который ставили уже после моего отъезда?

— Именно. Но опасаемся...

— Идем. Сейчас я позвоню Степану Николаевичу...

На площадку лестницы из Сережиной квартиры выходит Ширяев. Следом за ним Сережа, с чемоданчиком в руках. Сережа еще раз проверяет — не забыл ли чего,

хлопает по карманам, оглядывается. И наконец захлопывает дверь. И восклицает тотчас же:

— Ах, черт! Так и знал, что забыл что-то!

— А что именно?

— Записку жене забыл оставить.

Ширяев взглядывает на часы и крутит головой.

— Ну, ладно, я сейчас, — говорит Сережа.

Достает из бокового кармана блокнот, вечное перо, пишет торопливо:

— Маруся, дорогая. Срочно выехал по делу. Когда вернусь — не знаю. Прости меня. Сережа.

Он вкладывает записку за гранитолевую обивку двери.

Бежит вниз по лестнице, Ширяев за ним.

Со скрипом, со звоном пружины открывается тяжелая дверь во двор, хлопает на всю лестничную клетку. Сережина записка, дрогнув, выскальзывает из-под гранитолевой обивки. Падает на площадку.

Маруся уходит от знакомых университетских дверей. Идет, идет… Пережидает грузовой трамвай.

Веселые грузчицы, сидящие на мешках, покрытых брезентом, кричат Марусе:

— Эй, подружка!

— Кого потеряла?

— Садись, подвезем!

Маруся сворачивает в какой-то незнакомый переулок. Переходит через какой-то канал, по узенькому пешеходному мостику. Идет, идет… И вдруг женский голос окликает ее испуганно:

— Практикантка! Маруся!

Маруся вздрагивает и останавливается. Перед ней Шурочка, та самая работница, что так страстно проклинала на фабрике мужчин, семейную жизнь, любовь!

В расстегнутой шубе, в шали, накинутой на голову, стоит она перед Марусей, жадно вглядывается ей в самое лицо.

На руках у Шурочки тяжело висит сонная трехлетняя девочка. Она глядит на Марусю полузакрыв глаза, сурово и недоверчиво.

— Ты чего? — спрашивает Шурочка с жадным интересом. — Случилось что? Заболел кто? Умер? Плачешь? Или дождем забрызгало? А ну, станем под воротами!

Она тянет Марусю за руку, в нишу ворот. Маруся идет за ней послушно. И вот они стоят над серыми сводами, а лампочка, ввинченная над доской с фамилиями жильцов, тускло освещает всех троих.

— С мужем поругались? Изменил? Оскорбил? Бросил?

— Нет, нет, почему! — отвечает Маруся и сама не узнает своего голоса, такой он стал слабый, дрожащий. Она откашливается и добавляет тверже:

— Нет! Устала я просто. Занимаюсь много...

— Правду говоришь? Нет? Ты не гордись. Рассказывай. Бабы, мы и есть бабы. Кому еще пожалуешься? Другие учить начнут, а я с тобой поплачу. Говори! Гордишься?

— Нет. Не умею. Нечего говорить...

— Ох, есть! Ох, вижу. Ох, проклятый народ мужья, от них все беды. Чтоб они пропали все, окаянные!

— Не говори так.

— Жалеешь его? Маруся... Эх, бедная. Молчишь?! А я тебе сейчас прямо все расскажу. Я занавески сегодня новые купила, повесила, все начистила, все убрала, думаю, нет, а все же мы славно, ладно живем, как люди. А он приходит, все нехорошо ему. Зачем Нинка во сне раскрылась, зачем дышит она не так. Ладно, я стерпела. Он сел за стол и смотрит на меня как на жабу. У него там проценты на заводе не выходят — я виновата. Да?

— Мама, — стонет девочка и берет мать за подбородок, пробует повернуть лицо ее к себе.

— Я не работаю? У меня своих забот нет? Я не человек? Я ему это объясняю, а он давай кричать, как дикий зверь.

— Мама, пойдем к папе!

— Тихо, тихо, Ниночка! Ладно, говорю я ему. Не годимся мы тебе? Голос возвышаешь на нас? На меня мастер Фейгинов, уж такой крикун, что и в многотиражке его пропечатали, и тот голос поднять не решается, уважает, а ты кричишь?

— К папе... к папе... к папе... — стонет Нина.

— Схватила я Нинку, — продолжает Шурочка, не слушая, — живи один, когда так! Одела девочку, побежали к моей маме. А она в Колпино уехала, к братишке моему. И дверь на замке. Ну что ты сделаешь, а?

— К папе... к папе... к папе... — плачет Нина.

— Замолчи, убью! — вскрикивает мать и тотчас же крепко прижимает девочку к груди, целует руку ее, с которой свалилась варежка, болтающаяся на тесемочке. Надевает дочке варежку.

— Ну, а что ты расскажешь, Маруся. Молчишь? Сережей твоего звали? Так?

Маруся кивает головой.

— Не знаю, как ты к своему Сереже, я к своему Николаю, — умру не вернусь... Всю ночь буду ходить по улице, а не вернусь. На заводе меня уважают, а дома? Почему же я дома не человек! За что? Вон она — любовь-то куда заводит. Ну ее, черт с ней. Еще и песни про нее поют. Тут волком выть надо, а не песни петь.

И вдруг девочка выпрямляется, выгибается с плачем на руках у матери с такой силой, что та едва не роняет ее. Протягивает обе руки Марусе. Умоляет ее страстно, отчаянно:

— Тетя, проводите нас к папе! Тетя! К папе! Тетя! К папе...

Маруся берет девочку на руки, целует ее и вдруг отстраняется и внимательно вглядывается ей в лицо, касается ее лба полуоткрытыми губами.

— Шурочка! У нее жар! — говорит Маруся встревоженно.

— Где там жар? У нее ручки холодные.

— Ручки холодные, а лоб какой? А глаза? Больные совсем...

— Нина! Нина! — восклицает Шурочка. — Что у тебя болит?

— Болит! — отвечает девочка.

— А что, что болит?

Девочка молча опускает голову на Марусино плечо. Шурочка испуганно смотрит на Марусю. Касается щекой лба дочки.

— Горит вся... — упавшим голосом подтверждает она. — И как же я не заметила, когда одевала ее! И как же я забыла, что она с вечера была невеселая! Все он, все он, проклятый, с ним все забудешь, чтоб ты пропал! Дай мне ее.

— Ничего, ничего, я понесу, я провожу тебя. Домой вам далеко идти?

— Где там далеко... Все вокруг него бродим, как привязанные. Видно далеко не убежать нам. Ну, что ж, идем.

И они выходят из-под ворот.

Девочка тяжело висит на руках у Маруси.

Под большим плакатом с морем и кипарисами, едва видимым в темноте, появляется Вася.

Взглядывает на окна четвертого этажа.

Они освещены.

Вася качает головой укоризненно. Смотрит на часы.

Половина второго.

Вася вздыхает.

Поднимает воротник. Идет не спеша по мокрым дорожкам скверика и вдруг становится смирно, вытянув руки по швам.

Глядит испуганно.

Маруся появляется под фонарем. Бредет к дому, опустив голову, как наказанная. Скрывается в воротах.

Вася бежит за ней.

Маруся звонит, прислонившись головой к гранитолевой обивке двери, звонит безостановочно в пустую свою квартиру.

Вася галопом взлетает по лестнице.

Маруся утомленно, без признака удивления взглядывает на Васю.

— Не открывает... — жалобно говорит она.

— Маруся, Маруся! Ведь у тебя ключ есть!

— Я сумочку дома забыла.

— А почему же ты без бот вышла в такую погоду? Где ты была? Что случилось?

— Ничего не случилось... Видишь — не открывает...

— Да, может, его дома нет?

— Дома он. Свет горит.

— Забыл выключить. Вызвали куда-нибудь, срочно. Постой!

Вася достает из кармана связку ключей.

Пробует отпереть дверь, и напрасно.

— Постой! Все равно мы не сдадимся. Мы этого дела так не оставим, погоди, я сейчас.

Он с грохотом мчится вниз по лестнице. Маруся садится на ступеньку. Сидит, опершись локтями в колени, закрыв лицо руками. Она, очевидно, задремала, потому что вздрагивает, услышав стук входной двери. Поднимает голову.

Вася сияющий взлетает по лестнице.

— Ну, вот и все! Все понятно. Дворник мне все объяснил.

— Что он мог тебе объяснить? — спрашивает Маруся испуганно. — Откуда он-то знает?

— Дворники? Они, Маруся, знают все на свете, и что есть, и чего нет. Сидел он у ворот, и спросил его гражданин в плаще, где квартира восемнадцать. И Сережа с этим гражданином ушел...

Маруся встает.

— Из Москвы, что ли, кто-нибудь приехал?

— Ты посиди! — предлагает Вася. — А я сбегаю к Степану Николаевичу. Принесу ключ. Наверное, Сережа там.

— Я с тобой пойду! — говорит Маруся.

— Да ты гляди, как устала!

— Я с тобой пойду. Здесь грустно очень.

Кабинет Степана Николаевича. В глубоком кресле утонула Маруся.

Степан Николаевич — в другом кресле напротив.

— Так и сидите! — распоряжается Вася. — А я слесаря подниму, Петьку. Он мне отказать не посмеет. Ждите! Сидите! Степан Николаевич, я дорогу знаю, не провожайте!

И Вася уносится прочь.

Степан Николаевич долго глядит на Марусю, со свойственным ему несколько наивным удивлением. И вдруг говорит решительно:

— Вот что... Вы мне близкие люди, не могу я молчать. Маруся! Я ведь отлично понимаю, что случилось. Ушел отсюда Сережа черный, как грозовая туча. Ну и гроза эта разразилась, как подобает, дома? Так?

Маруся кивает головой.

Степан Николаевич улыбается добродушно:

— Ну и что? Ну и стоило из-за этого убегать из дому. Без бот, без ключа? Вон — даже осунулась вся. Напрасно. Сережа — человек талантливый, а талант — увы! Имеет свои шипы. У Сережи были сегодня причины горевать. Не из-за пустяков, не из-за личных интересов, не из самолюбия — вся душа у него сегодня разболелась. Дело, дело он любит. Боится, что делу повредил, и совершенно понапрасну, кстати сказать. Вот видите, как. Так что, если он разбушевался — давайте простим его, он больше не будет, а, Маруся?

Маруся смотрит на Степана Николаевича во все глаза, жадно прислушивается к каждому его слову. И возражает ему тотчас же:

— Да разве только его я виню? Разве из-за него только убежала я сегодня без оглядки? Я, Степан Николаевич, сама ему такого наговорила, что до сих пор стыдно. Он меня обидел, но и я тоже выбрала самое обидное для него. Ударила его по больному месту, на которое он сам же мне указал как-то. Что такое? Почему это? Что нас доводит до такого безумия? Зачем своих бьем мы, как злейших врагов? Степан Николаевич?

— Не знаю! — отвечает Степан Николаевич. — Есть такие вопросы, ответа на которые не подберешь. Привыкните и примиритесь.

— Ни за что, Степан Николаевич! — возражает Маруся страстно. — Не примирюсь. Сколько пережито! Мы смерти в глаза смотрели! К победе пришли! Дикую природу на колени ставим, перекраиваем, как нам нужно, а с собой не справимся? Нет! Не те времена! Не примирюсь!

Степан Николаевич улыбается ласково:

— Ну и молодец. Правильно. Не сдавайтесь — и все будет по-вашему. А пока — я укрою вас пледом — вот так. Закройте глаза. Так. И попробуйте уснуть, пока Вася не вернется. А я вас убаюкаю — расскажу о себе. Вы не знали моей жены. Сережа знал. Мы дружно жили с женой. На редкость дружно, но и то все-таки сейчас мне кажется, что виноват я был перед ней. То вспомню, как в театр обещал ее сводить на гастроли МХАТа, забегался и не достал билета. То конфет ее любимых не привез из Москвы. А теперь где Аня? Без меня ее и хоронили. Так-то вот. На Урале я был в командировке. Цените, берегите каждую минуту, пока вы живы, здоровы, пока вы вместе. Вот, как сейчас помню — спите, Маруся, закройте глаза... Очень живо помню, я как познакомился с женой. Было это на студенческой вечеринке, на вечеринке Вологодского землячества... И вот...

Вася бежит по темной улице, веселый, торжествующий, с ключом в руке. Лихо взбегает по лестнице. Звонит к Степану Николаевичу, указывает на спящую Марусю.

— Добыл ключ. Подобрали! — шепчет Вася. — Чудо! Сейчас поведу ее домой.

— Жалко будить! — говорит Степан Николаевич.

— Жалко! — соглашается Вася.

— Пойдем, посидим в сторонке, — предлагает Степан Николаевич.

Идут на цыпочках.

Садятся на диван в дальнем углу кабинета. Отсюда видна только светловолосая Марусина голова, мирно склонившаяся на мягкую ручку кресла.

— А я завидую ей! — говорит вдруг Степан Николаевич задумчиво. — Завидую. Никогда уж мне не ждать знакомых шагов за дверью. Не ссориться. Не мириться. Не знает, бедняжка, какая она счастливица.

Вася крутит головой:

— А я, Степан Николаевич, боюсь... Убить ее можно.

— Полно, что вы говорите! — почти вскрикивает Степан Николаевич.

— Может быть, я непонятно говорю, но жалко, жалко мне женщин, вот таких, как она, нежных, — настаивает Вася. — Иных женщин, конечно, мужчины переделывают, узнать нельзя. Но такие вот удивляются, пугаются, места себе не находят, пропадают. Ох, грубый мы народ — мужчины!

Степан Николаевич взглядывает на него внимательно.

— Вот боюсь, и все тут! — повторяет Вася. — Ночи не сплю. Но это, конечно, между нами.

Раннее утро. Только что рассвело.

Сережа радостный, озабоченный, в мятом пальто, забрызганный осенней грязью, с чемоданом в руке взбегает, прыгая через три ступеньки, по знакомой нам лестнице. Вот он останавливается, запыхавшись, около своей двери, и радостное выражение вдруг исчезает с его лица.

Его поражает вид почтового ящика. Он переполнен. Газеты торчат пачкой из щели. Конверт белеет среди газет. Сережа берет его и убеждается с удивлением, с горечью, что это его собственное письмо, отправленное Марусе из совхоза. Долго смотрит он на адрес: Ленинград, улица Горького, 1, кв. 18, Марии Орловой. От Сергея Орлова, Совхоз имени 25 октября.

Сережа достает ключ, открывает дверь, входит.

— Маруся! — зовет он во весь голос. — Я приехал! Проснись!

Тишина поражает его.

Он пробегает бегом по квартире.

Вот комната, где стоят книжные полки. Вот спальня. Постели убраны. Марусино платье висит на спинке кровати. Вот кухня. Чайник почему-то стоит на полу. На плите немытая посуда.

Хозяин темнеет все больше и больше — пусто дома. Нет хозяйки. И не только это пугает Сережу. Тот дух порядка, ухоженного жилья, который царил в доме при Марусе, — исчез. Мертво в доме, как в брошенном улье. Сережа задумывается. Тяжело ходит взад и вперед по комнате. Звонок. Сережа бросается к двери, открывает — на пороге Ольга Васильевна.

Она бледна и очень сердита. Молча кивает Сереже. Проходит к вешалке, раздевается. Идет из комнаты и сразу принимается за уборку.

— Приехал наконец?

— Да, — отвечает Сережа.

— Третье утро тебя ловлю. Ну? По лицу видно, что ты уже все знаешь. Пусти. Дай пол вытереть. И так тоскливо без хозяйки, а тут еще этот мусор. Я слово ей дала — сразу прибрать, как в квартиру попаду. Так-то вот, брат. У одних все легко проходит, а у других — вон как.

Сережа бледнеет.

— Это несправедливо, Ольга Васильевна! — говорит он твердо.

Она выпрямляется, стоит с тряпкой в руках, глядит на Сережу строго:

— Не понимаю.

— Нельзя, нельзя же так! — умоляет Сережа растерянно. — Скажите ей! Пусть она выслушает меня. Я теперь не тот человек, я все ей написал в письме, а она его даже и из ящика не вынула. Ушла. Я понимаю, что был неправ, обижал ее. Но ведь это с каждым может случиться… Я не тот. Поверьте мне. Я все обдумал, пережил. Я спешил к ней. А она вот ушла. Помогите нам! Верните ее.

Ольга Васильевна слушает его сначала с недоумением, потом сурово, потом лицо ее смягчается. Она опускает голову.

— Ох, ох, ох, — вздыхает Ольга Васильевна. — Вот ты что подумал. Повздорили перед отъездом, помириться не успели. Так?

Сережа молча кивает головой.

— И ты подумал, что, обидевшись, ушла она от тебя?

— Подумал, — отвечает Сережа.

— Значит, не получил ты нашей телеграммы?

— Ничего не получил. Там такая распутица, что почта не ходит. Что случилось? Она не ушла от меня? А где же она?

— В больнице.

— В больнице? Ольга Васильевна, почему?

— Ах, друг ты мой. Вот она, жизнь. Не сказка она и не повесть, где одно из другого вытекает. Любит она ударить, когда не ждешь. Слушай, что случилось у нас. Шла Маруся по Васильевскому, как раз в ту ночь, как ты уехал. Встретила нашу работницу. Девочку помогла ей донести. А у девочки-то скарлатина была! Девочка-то поправляется, а у Маруси токсическая форма. Третьего дня свалилась она, Маруся. Плохо! Очень плохо! Не подают надежды. Сейчас моя машина сюда придет, поедем ловить доктора после обхода. Нет надежды…

И, всхлипнув, Ольга Васильевна принимается вытирать пыль. Сережа стоит с каменным лицом, стоит неподвижно, как часовой, глаз не сводит с Ольги Васильевны.

Вестибюль больницы.

Лестница. Правее лестницы гардероб. Цепкий старик в халате стоит за перилами гардероба, разговаривает с Леней и Сашей Волобуевой. Утешает их:

— Пока человек дышит, мы, друзья, за него боремся. Но все-таки жалко ее. Ох, жалко. Санитарки, уж на что народ каменный, — и то плачут, на нее глядя. Состояние тяжелое.

Открывается входная дверь.

Входит торопливо Ольга Васильевна. Сережа идет следом. Леня и Саша отходят почтительно.

— Без перемен, мамаша, — сообщает гардеробщик. — Это муж приехал? Здравствуйте, гражданин! Без перемен пока.

— Доктор не выходил?

— Сейчас должен выйти. Уже за ним пришла машина. Мединститутская. Да вот он спускается.

Молодой человек Сережиных лет в сером халате торопливо бежит по лестнице. Увидев Сережу и Ольгу Васильевну — хмурится.

Молча кивает им головой. Снимает халат, сдает гардеробщику. Надевает пальто.

— Вот муж приехал! — сообщает Ольга Васильевна. Доктор кивает головой молча.

— Вы... — говорит он Сереже, задержавшись у двери. — Вы вот что... Сейчас я вас не пущу к ней все-таки. А ночью...

Там видно будет. Я приеду к ней часов в двенадцать. Взглянуть. И вы к этому времени зайдите.

— Все так же? — спрашивает Ольга Васильевна.

— Без перемен! — отвечает доктор и, еще более нахмурившись, выходит.

Ольга Васильевна и Сережа идут следом.

— Вот, друзья! — с тяжелый вздохом жалуется гардеробщик Васе и Саше. — Хуже нет в нашем деле, когда все применишь, а положение как было тяжелым, так и осталось. Я человек старый, и то этого не люблю, но на лице не показываю. А доктор — он молодой. Он почернел весь, как родных ее увидел.

Вечер.

Сережа бродит по пустой квартире из комнаты в комнату.

Долго глядит на Марусины книжки, на Марусино платье, которое висит на спинке ее кровати.

Раздается звонок.

Сережа делает шаг к дверям и останавливается.

Садится за чертежный стол. Сидит упрямо, не двигаясь с места. Звонок звонит все настойчивее и настойчивее. Сергей не двигается. Но вот звонок обрывается.

Сережа встает, подходит к окну и видит: по двору шагают Степан Николаевич и Леня. Сережа хорошо знает их, ему одного взгляда довольно, чтобы понять, как смущены они и подавлены его молчанием. Он торопливо открывает форточку, хочет позвать, вернуть друзей — и не может. Они исчезают под воротами, а он с каменным лицом отворачивается от окна. Снова садится к своей чертежной доске. Глядит, глядит, глядит. То Марусино строгое лицо, укоряющее, проносится перед ним, то видит он Ольгу Васильевну, которая сердито говорит ему: «Плохо, очень плохо». Видит он, как сгорбившись шагают к воротам Леня и Степан Николаевич.

Сережа встает, подходит к полке с книгами, глядит на книжные корешки. И отчетливо видит больничную лестницу. Доктор торопливо сбегает вниз. Говорит Сереже:

— Плохо, очень плохо. Идите к ней.

Сережа морщится. С силой проводит рукой по лицу, будто паутину снимает. Взглядывает на часы, берет книжку. Садится в кресло, но снова перед ним появляются лестница, и угрюмый доктор сообщает:

— Опоздали! Раньше надо было прийти…

Сережа вскакивает так, что кресло падает на пол. Трет яростно лицо обеими руками, бросается к телефону и опускает трубку на рычаг, не вызывая номера. Глядит на часы. Половина десятого. Сережа торопливо одевается. Выбегает из дому.

Больница. Гардеробщик читает газету. Поднимает голову на шум открываемой двери. Кивает понимающе головой, увидев Сережу.

— Не дождался до двенадцати? Понятно. Присаживайтесь.

Сережа садится на скамью возле гардеробщика.

— Понятно, что не дождался. И доктор не дождался, — продолжает гардеробщик. — Уже с полчаса, как приехал. И прямо к ней. К больной Орловой. К вашей. Молодой доктор. Упрямый. Не дождался. Приеду, говорит, к двенадцати, а сам в десять заявился. Да ты слушай, что я тебе говорю. Я для твоей пользы.

— Я слушаю, — отвечает Сережа.

— Доктор у нас упрямый. Он все сделает, а своего добьется. Сейчас я доложу, что вы тут. Он приказал позвонить…

Старик снимает трубку внутреннего телефона.

— Двадцать семь! Лев Андреевич? Это я говорю. Муж больной Орловой прибыл. Слушаю.

Старик вешает трубку.

— Говорит, чтобы вы подождали. Вот и хорошо. Раз не пускает он тебя — значит, все идет еще пока ничего себе. Без перемен…

Старик удаляется в глубь раздевалки, где на электрической плитке стоит у него чайник. Достает из шкафчика

белую фаянсовую кружку, наливает чай, подает Сереже, усаживается и не спеша, с удовольствием, как и подобает много думающему здоровому старику, принимается поучать своего гостя. Причем, если он взглядывает на каменное Сережино лицо, то говорит ему «вы». А увлекаясь — переходит на «ты». Сережа берет кружку, пьет чай, вряд ли соображая, что делает, просто подчиняясь ходу событий, которые так вдруг ворвались в его жизнь, и слушает.

— Я тебя не научу дурному, а научу вот чему, — говорит старик. — Ты не отчаивайся. Не надо. Вот посмотри на меня — живу? Так? А мне еще семи дней не было, как бросили меня в речку. А кто? Как вы думаете? Родная моя мать. Такое было село большое торговое и называлось Мурино. И родился там я, как говорили тогда — незаконный... Так... Мать моя, было ей, бедной, семнадцать лет, взяла меня на руки и пошла. Мужчиной поруганная, родными проклятая, соседями осмеянная. Отлично. Идет она. Плачет. И дошла до речки. И бросила меня, такого-то, в омут! А одеяльце-то раскрылось и несет меня по воде, как плотик. А я и не плачу. Плыву. Головку только набок повернул... Отлично... А мама как увидела это, закричала от жалости. — Заметьте, это в ней душа очнулась, — закричала и бросилась за мной в воду. И не с тем, чтобы со мною погибнуть, а с тем, чтобы своего маленького спасти. А плавать-то как она плавала? По-лягушачьи да по-собачьи. Спорта тогда не было. Схватила она меня, бьется в омуте, а сил-то и нету. Красиво? Бывает хуже? Не думаю! Мать и сынишка по глупости людской, по тогдашней темноте в омуте крутятся. Конец мне? Да? Нет, ты слушай. Вы слушаете меня, товарищ Орлов?

— Да, — отвечает Сережа.

— Ехал на дрожках из города Назар Ильич Писаренко, Царствие ему Небесное, золото, а не человек. Что такое? Птица в омуте бьется? Нет, не птица, Боже мой, Господи! Бросился он в воду, мать за косы, меня за пят-

ку вытащил, нас да к себе в избу, на огороды. И году не прошло, женился он на моей матери, и хоть свои дети у них пошли, а я был всегда на первом месте — вот как он меня пожалел. Любовь в омут меня бросила и из омута спасла. И жизнь я прожил, и потрудился. И сыновья, и дочки, и внуков довольно. И все, друг, меня жить к себе зовут, но я без работы скучаю. Взял себе нетрудное место, служу и в курсе всех дел. И все тут со мною считаются. А началось как? Понял, к чему я это говорю? Вы слушаете меня, товарищ Орлов?

— Да! — отвечает Сережа.

— Главное, не отчаиваться, отчаиваться не смей. Доктор бродит возле нее, как возле родной сестры, друзья стоят наготове, дай знак — и помощь окажут. Ты слушай меня. Вы поверьте мне, товарищ Орлов. Инфекционное отделение. Иначе нельзя, пускают в самом крайнем случае... И вот — нет приказа вас пускать. Не звонит Лев Андреевич. Значит, надеяться можно. Вот.

Звонок телефона.

Взглянув на Сережу исподлобья, старик протягивает руку и отдергивает, будто телефонная трубка раскалена. И тут же хватает ее сердито.

— Слушаю вас. Да, Нина Марковна! Был пакет! Я Гале передал. Так точно. Есть.

Старик кладет трубку.

Вздыхает, покачивая головой. Собирается с мыслями.

Но едва он хочет заговорить, телефон звонит снова.

— Слушаю вас, — говорит старик весело и тотчас же темнеет, опускает голову. — Так... так... так... Понимаю, Лев Андреевич.

Кладет трубку, говорит Сереже печально:

— Снимайте ваше пальто!

Сережа вскакивает. Хочет спросить что-то и не спрашивает. Раздевается торопливо. Старик достает из белого шкафа халат. Помогает Сереже надеть его.

— Второй этаж, направо, палата восемь.

Сережа бежит по лестнице. На площадке второго этажа его ждет доктор.

Кивает ему молча.

И вот оба они с необыкновенно спокойными лицами шагают по коридору.

Маруся лежит в так называемом боксе, в маленькой комнатке для тяжелых больных. Узенькая койка у стены. Шкафчик у изголовья. Белая фаянсовая кружка с каким-то питьем, точно такая же, как та, из которой пил Сережа внизу чай. У той стены, что против кровати, — ванна с медными кранами, маленькая, рассчитанная на детей лет десяти — двенадцати.

Маруся оживленная, с необыкновенно блестящими глазами глядит, не отрываясь, на дверь. И когда Сережа входит и останавливается у порога, она смеется тихонько, манит его, хлопает ладонью по стулу, зовет к себе. Он садится, не сводя глаз с нее. Маруся протягивает ему обе руки. Сережа берет и вдруг склоняется низко, прячет лицо в ее ладони. Маруся смеется тихонько.

— Ну что, что! — говорит она ласково и снисходительно, как маленькому. — Что? Ты испугался? Да, Сережа? Жили, жили, вдруг больница. Да? Носилки, халаты, ванночка стоит... Вон чего у нас с тобой делается теперь. Да, Сережа?

Сережа не отвечает.

Маруся освобождает тихонько правую руку, гладит нежно его по голове.

— Ты обедал? А кто тебя кормил? Сам? А посуду? Мыл? Да? Ну умница. Ты утром приехал? Я сразу почувствовала. Что ты говоришь?

— Прости! — говорит Сережа едва слышно.

— За что? Я сердилась только, что ты записки не оставил, когда уехал. Оставил? А я не нашла. Ласковую? Жалко, я раньше не знала... Что? Почему ты говоришь так тихо? Ну, как хочешь. Сейчас... Я отдохну и еще тебе что-то скажу.

Глаза у Маруси меркнут. Она дышит часто. Голова откидывается назад. Сережа глядит на жену с ужасом. Она замечает это. Мигает ему успокоительно. Кивает головой, шепчет:

— Не бойся. Это так полагается. Такая болезнь. И она гладит его по руке тихонько.

— Я... Я вдруг скарлатиной заболела, — шепчет Маруся. — Но это ничего... Я терплю... Только когда дышать не могу, тогда уже задыхаюсь... Сейчас...

— Ты не разговаривай...

— Сейчас! — отвечает Маруся едва слышно и закрывает глаза.

Сережа осторожно поправляет одеяло, подушку, и Маруся, приоткрыв глаза, улыбается. Шевелит губами.

Сережа наклоняется к ней.

— Мне очень хорошо, — шепчет она. — Сядь.

Сережа повинуется.

— Очень славно, особенно когда ничего не душит, — продолжает Маруся, и снова глаза ее загораются необыкновенным блеском. — Очень хорошо. И все что-то со мной возятся, беспокоятся. С тех пор как мама умерла, я все сама, сама, а тут вдруг все со мной, со мной...

Маруся смеется тихонько. Шепчет, косясь на дверь:

— Они думают, что я тяжело больна. Оставь, оставь, думают. Я в госпитале работала, понимаю. Все кругом шныряют, шуршат, шебаршат, как мышки. Правда, правда, шепчутся чего-то. А я понимаю, как надо болеть. Не обижаюсь. Понимаю. Не обижаюсь.

И вдруг, всхлипывая, она спрашивает:

— Зачем?

— Что зачем?

— Зачем мы начинаем все понимать, когда война, или тяжелая болезнь, или несчастье? Зачем не каждый день?

— Маруся, Маруся...

— Зачем? Нет, нет, ничего. Через меня как будто идут волны — то ледяная, то теплая. Сейчас опять теплая. Очень теплая. Дай водички. Ой нет, не надо. Я за-

была. Я глотать не могу. Но это ничего. Что я говорила? Ах да, записку... Ты оставил, а я не нашла. И стало мне тогда неуютно, пусто... Или я заболевала тогда уже, но только ничему не радовалась. Ладно, думаю, приедешь. Помиримся. А потом опять все сначала? Проект ваш утвердили — я радуюсь и не совсем. Зачеты сдала все. А отдыхать не могу. Что-то очень важное мы погубили — так я думала. Я прежде так жила, что все пятерки, пятерки, а тут за свою собственную семейную жизнь и тройки не натянешь. Как людям в глаза смотреть? Брысь, брысь! Ага, убежала. Кошка тут ходит на одной лапке. Это у меня такое лицо? Сережа, да?

— Какое?

— Как у тебя. Ты всегда на своем лице — мое изображаешь. Ну вот я улыбаюсь. И ты улыбнись. Зачем губки распустил, дурачок. Не маленький. Ну вот, опять пошли шептаться по всем углам. Не обращай внимания. Не боимся! То ли мы видели! Да, Сережа? Тише. Главное, пусть видят, что мы не сдаемся. Сереженька, миленький мой, сыночек мой. Не оставляй меня. Унеси меня потихонечку, Сереженька, ласковый мой! Не оставляй меня. Все-таки страшно. Все-таки я больна. Не затуманивайся, не кружись!.. Держи меня за руки. Крепко. Не отпускай...

И она закрывает глаза, голова ее тонет в подушках, и Сережа держит ее послушно за руки.

Доктор ходит взад и вперед по коридору, заглядывает через стеклянную дверь в одну из палат. Там четыре кроватки. Стриженный под машинку круглоголовый мальчуган лет четырех стоит, держась руками за ночной столик, пристально глядит на дверь.

Доктор входит в палату.

— Ты что? — спрашивает он мальчика. — Чего не спишь? Чего испугался?

Мальчик молча протягивает ему обе руки.

— На руки? — спрашивает доктор. — Ну нет, брат, это не полагается. Подушку я тебе, так и быть, перевер-

ну. На этой стороне будешь видеть отличные сны. Вот так, а на ручки ни к чему, будь мужчиной. Спи.

Мальчик укладывается послушно. Но едва доктор выходит из палаты, он вскакивает как пружинка. Стоит, держась за спинку кровати. Глядит на дверь, за стеклами которой через равные промежутки мелькает шагающий взад и вперед доктор в белом халате.

В конце коридора, над стеклянными дверьми, ведущими в соседнее отделение, — часы. Стрелки показывают одиннадцать.

Вася и Саша бродят вокруг больницы, заглядывают в окна.

Маруся лежит, закрыв глаза, Сережа глядит на нее, глядит, крепко держит за руки.

Доктор ходит взад и вперед по коридору.

Взглядывает на часы.

Двенадцать.

Он входит в бокс. Сережа встает.

Доктор занимает его место. Считает пульс больной. Пробует лоб. Уводит Сережу в коридор.

— Вам придется уйти, — говорит он твердо. — Сейчас мы ей будем делать впрыскивание. И вообще... Вообще это затянется. Героически борется. Идите домой. Я позвоню утром. Примите ванну, костюм прогладьте утюгом, иначе нельзя идти на работу.

— Доктор, ей лучше?

— Нет.

Несколько секунд смотрят они друг на друга. Сестра входит в бокс. И Сережа, кивнув головой, уходит.

Сережа снова дома.

Он в пижаме.

Гладит костюм. Движения его размеренны, работает он отчетливо. Брызгает водой на полотенце и гладит, с силой налегая на ручку. Пробует пальцем утюг — остыл. Включает вилку в штепсель. И ждет терпеливо. Один раз только проводит ладонями по лицу, будто паутину снимает, и вновь застывает в своем нарочитом спокойствии.

Будто урок выполняет. Но вдруг… что это? Он швыряет полотенце на пол. Прислушивается.

Щелкает замок. Кто-то открывает входную дверь.

Сережа вспыхивает от радости, протягивает руки, бросается вперед, опрокидывая стул — и на пороге появляется Вася.

Он глядит на Сережу.

И спрашивает вдруг испуганно и сочувственно:

— Тебе почудилось, что Маруся пришла?

— Да, — отвечает Сережа.

— У меня, понимаешь, ключ, — объясняет Вася. — Ты уехал. А Маруся без ключа осталась. Я слесарю заказывал. Я думал, ты спишь.

— Я не сплю… Сядь.

Вася послушно садится.

— Работаю, — говорит Сережа.

— Работаешь?

— Вот ванну принял, костюм глажу. Доктор велел. Дальше еще что-нибудь придумаю. И все мне кажется, что это сон. Проснусь — и будет по-прежнему.

— Понимаю.

— Поэтому мне и почудилось, что Маруся пришла.

— Понимаю.

— Я был в больнице. Меня пустили к ней.

— Пустили?

— А я ей ничего не сказал. Сидел, как дурак, как дерево, как замороженный.

— Она и так все поняла.

— Ты думаешь?

— Конечно.

Сережа выключает утюг.

— Хорошо, что ты зашел, очень хорошо, что ты зашел. Я всегда не любил, когда придешь, а ее дома нет, очень пусто. А теперь уже не пусто, а мертво, — вот, понимаешь, как. Я звонил Степану Николаевичу, Лене, — везде молчат, не отвечают. Я их обидел, понимаешь, они заходили, а я не пустил.

— Они тут.

— Где?

— Ждут на площадке. Тревожить не хотели. Послали меня на разведку.

Сережа выбегает на площадку и видит: на ступеньках сидят Леня и Степан Николаевич.

Старший из друзей прислонился спиной к стене, откинул голову, закрыл глаза, и тут впервые замечает Сережа, как он утомлен, стар, сед. Леня протирает очки. Посвистывает. И он похудел за эти дни. Он необыкновенно серьезен. И Сережа вдруг остро чувствует, что это его близкие, что его горе принимают они как свое. Он вскрикивает:

— Ребята! Степан Николаевич, Леня. Что вы тут сиротами такими... Идемте к нам. Скорее!

Он вводит их в дом. Помогает Степану Николаевичу раздеться. Усаживает его в кресло, поближе к радиатору. Вася выбегает из кухни.

— Я же чайник включил! — сообщает он. — Ну вот. Так все-таки лучше. Все вместе.

Сережа оглядывает друзей.

— Замучился я, ребята! — говорит он просто.

Леня вздрагивает, снимает очки, делает предостерегающий жест, будто хочет остановить Сережу но тот продолжает, не замечая:

— Прямо беда! Что же это такое? Я ведь кругом виноват. Хорошо, ну не заболела бы она, так мелкие домашние беды, мелочи проклятые все равно убили бы ту Марусю, которую мы все любили. Зачем? Она спросила меня: «Зачем мы все понимаем, когда приходит беда. Зачем не каждый день?» Что я ей мог ответить? Вот стою, думаю, думаю... Пушкину кто-то сказал: несчастье — хорошая школа. А он ответил: а счастье — еще лучший университет. Что же, мы до университета не доросли еще? Неправда! Сколько раз я был счастлив и умнел, умнел от этого. Успех в работе ого как поднимает. И вот далось мне в руки счастье, которому только теперь я понимаю

цену. Где оно? А я давай его валять в пыли, ногами пинать, превращать праздник в такие будни беспросветные, что вспомнить страшно.

— Нет, Сережа! — говорит Степан Николаевич мягко.

— Ну как же нет. Если еще и не совсем так было — к этому шло. К этому... Почему? Еще немного, и стали бы мы теми супругами, над которыми только святые не смеются. Я старше, я за это отвечаю! Шутка ли сказать — семью свою если бы разбил, а то отсидел, что ли, или заспал, или запустил, бурьяном заглушил... Ведь вы не знаете, я...

— Не надо, Сережа, — вскрикивает Леня. — Не надо, пожалуйста.

— Почему? — спрашивает Вася строго.

— Не знаю. Не могу я слушать.

— Ох, как мы, интеллигенты, психологии боимся! — сердится Вася. — Говорит человек по душам. Ведь это прекрасно! А вы мешаете.

Пауза.

Сережа ложится на диван.

— Да я, собственно, уже и сказал все, — говорит он тихо.

— Не сердись! — просит Леня. — Я сам проповедовал, что нам надо быть более, ну, что ли, открытыми. А оказывается, не могу я слушать...

— Почему? — спрашивает Вася строго.

— Ну, что ты пристал — почему, почему... Без слов надо угадывать, что близкий человек чувствует.

— Вокруг да около ходить, только близкий человек чувствует.

— Возможно.

— Боитесь вы сильных чувств. Вот. Прямо тебе говорю. Знаю. Сам такой был. Все с усмешкой да с подмигиванием. А любовь, или смерть, или смертный бой не встретишь так, чтобы вокруг да около с улыбочкой.

— Тише! — говорит Степан Николаевич.

— А что такое?

— По-моему он уснул. Сережа! Спит...

— А может, ему нехорошо? — пугается Вася.

— Нет, — отвечает Леня. — Спит. С ним бывает. Еще студентом — работает, работает, бывало, а дойдет до предела, и валится разом. Пойдем в кухню. Сейчас чайник закипит.

Все усаживаются где придется.

— Да, — говорит Степан Николаевич, — жить вместе — целая наука.

— Не наука, а искусство! — поправляет Леня. — И ничему тут не научишься, и не стоит об этом больше говорить...

— Это почему? — удивляется Вася.

— Могу объяснить! Потому что поневоле начнем говорить истины, которые каждому ребенку известны. Будь внимателен, деликатен, терпелив, человечен — и все будет хорошо у тебя в семье ныне, и присно, и во веки веков.

— Ну и правильно.

— Боюсь, Васенька, что не так уж и правильно.

— Почему?

— Потому что правила это простые, а мы с тобой люди сложные. А когда любим — делаемся еще сложнее.

— Глупости ты говоришь! — отвечает Вася твердо. — Конечно, это не так просто — жить по-человечески. Зверя в человеке уничтожить. Однако занимаемся мы этим. Тридцать лет. И получается.

— Это другое.

— А я тебе говорю — то самое. В пять минут тебе это докажу.

Проходит больше часа.

Та же кухня — вся в табачном дыму. Окурки всюду — в чайных блюдцах, в тарелках, просто на плите.

Окурок вертит в своих длинных пальцах Леня, за неимением подходящего обрывка бумаги. Спор разгорелся, все говорят разом.

— Это уже не доказательство, а черт знает что, — кричит Степан Николаевич.

— Тише! — останавливает его Вася.

— Значит, вы, Леня, считаете, что счастливый брак невозможен? — заканчивает Степан Николаевич шепотом.

— Не знаю! — отвечает Леня. — Может быть, и невозможен у таких людей, как мы.

— Почему?

— Потому что лучшее, что есть в нас, мы отдаем работе, стране, государству.

— Полная ерунда! — вскрикивает Степан Николаевич и, спохватившись, продолжает полушепотом: — Надоевшая пошлость. По-вашему, выходит, что дармоеды, блатмейстеры, симулянты и лицемеры счастливей в семейной жизни, чем настоящие люди? Простите, не наблюдал. Живут как свиньи, калечат женщин. Уродуют детей.

— Правильно! — поддерживает Вася.

— Ну, не знаю! — отвечает Леня. — Я хочу сказать, что мы, в сущности, солдаты.

— То есть?

— Мы вечно в бою, и нам не́до семьи.

— Сказал! — хохочет Вася. — Солдату не до семьи? А ты забыл, на фронте как о семье говорили? Как писем ждали? Как читали? Да я сам семейным завидовал.

— Не о том речь.

— А я тебе говорю — о том. Если ты настоящий человек — все у тебя должно быть в полном порядке. Капитан наш — понял, о ком я говорю, — указывает нам курс. А мы с тобой отвечаем за выполнение приказания. И я так считаю, что приказ не выполнен, если нет во всех звеньях у тебя порядка. Семья — шутка сказать. Верно! Пусть мы солдаты — значит, мы как никто должны по-

нимать, что это такое. Это Тарас Бульба приходил домой горшки бить да горилку пить. А мы уж не те. Слышал об этом?

— Ты меня не агитируй. Я сам грамотный,

— Знакомый ответ. Попросту говоря, ты сдался.

— Погоди, сейчас соберусь с мыслями и в две минуты тебя разобью.

Проходит больше часа. Уже небо за окнами не черное, а сероватое. В кухне открыта форточка, но табачный дым не рассеивается, окурков еще прибавилось. Чайник кипит вовсю, но никто этого не замечает. А Вася стоит посреди кухни и полушепотом, но вдохновенно размахивая руками, говорит:

— Любовь! Да как вы о ней странно говорите, товарищи! То со страхом, то свысока. Конечно, тут рассудка немного. Конечно, вот Маруся три раза только и встретилась с Сережей на фронте, ну поговорили, полчаса, час, а полюбила она его, а не... не того... не того, кого знала лучше. Ну и что? Зато как полюбила? Любоваться надо! Да я вам о себе скажу, когда полюбил я, то вырос до натуральной человеческой величины. Стихия! Удивили... Да как же можно этого бояться! Мир перестраиваем. Океаны покорили! А эту силу, радость человеческую обойдем? Откинем? А вот нет! Все поймем! Поймем так тонко и точно, что всем бедам придет конец и...

Резкий звонок.

— Телефон? — испуганно спрашивает Леня.

— Нет, в квартиру звонят! — отвечает Вася. Он отпирает дверь.

На пороге Ольга Васильевна.

— Чего красный такой? — сердито спрашивает она. — Выпил, что ли? Где Сережа?

— Он спит. А мы в кухне сидим. Я не выпил, что вы! Ольга Васильевна остро оглядывает его и проходит в столовую. Видит Сережу спящим на диване.

— Умники! — ворчит она. — А укрыть его догадочки не хватило. И подушка под головой диванная. Бревна вы, а не товарищи.

Она наклоняется над спящим. Зовет мягко:

— Сережа? Вставай! Пойдем в больницу, голубчик.

Сережа вскакивает:

— Вы узнали что-нибудь?

— В том-то и дело, что нет. Не могу дозвониться. Едем! У меня машина внизу. Одевайся.

Ольга Васильевна входит в кухню и ахает:

— Знакомая картина! Мужчины разговорились... Поглядела бы Маруся, во что превратили кухню, идолы.

И она ловко и быстро принимается за уборку.

— Пепельниц в доме полнехонько, — ворчит она, — а им это ни к чему. Ты! Копыто подними. Окурок присох! О чем спорили?

— О семейной жизни, Ольга Васильевна, — докладывает Леня.

— Так. И к чему пришли?

— Трудное дело.

— Да? — яростно спрашивает Ольга Васильевна. — А ты хотел, чтобы вынь да положь, чтобы семья сама собой делалась?

— Вот и я ему то же объясняю! — вмешивается Вася.

— Ты мне лучше совок дай. Я работаю, а они любуются.

И, выбросив сор в плиту, Ольга Васильевна выпрямляется.

— Ну, значит, решили вопрос? Одни? Без баб? А я вам вот что скажу: как вы ни решайте, главная трудность — на нас. И дом веди, и детей рожай, и люби еще вас, окаянных. Одно только и есть на свете трудней этого: остаться без дома, без детей, без мужа.

Сережа появляется в дверях.

— Готов? Едем.

Сумрачное зимнее утро.

В вестибюле больницы горят еще электрические лампочки. Знакомый старик гардеробщик сменился — молодая девушка дежурит на его месте.

— Мамаша, мамаша! — говорит она женщине, стоящей у перил раздевалки. — Все будет в свое время. Сейчас идет обход по палатам, а потом список снесут вниз. И все будет там сказано: у кого какая температура и кто в каком состоянии.

Открывается входная дверь. Женщина, стоящая у перил, оглядывается. Это Шурочка. Она охает, увидев Ольгу Васильевну, и бросается к ней:

— Ну как, Ольга Васильевна? Приехал муж? Да какой же он бледный, да какой убитый!

— Тише ты! — останавливает ее Ольга Васильевна. — Услышит.

— Да вы сядьте! — уговаривает Шурочка. — Вот сюда. Сейчас обход, профессор приехал, все равно ничего не добьетесь. Сядьте.

Они садятся на скамье возле гардероба. Сережа остается у лестницы. Стоит неподвижно, как часовой. Глядит на ступеньки.

— Переживает он? — спрашивает Шурочка жадно. — А не плакал? Нет? Держит себя в рамке, значит. Я так считаю, Ольга Васильевна, что мужчины — куда лучше баб.

— Теперь ты так думаешь?

— А когда же иначе думала, что вы, Ольга Васильевна! — удивляется Шурочка. — Бывает, и поворчишь, иначе нельзя, я женщина горячая. Но только если мужчина ласковый, терпеливый, самостоятельный, вот как мой Николай, то кто с ним из нас сравнится. Он тебя и поймет, и приласкает, и утешит, и разъяснит все, как даже вы не сможете. Он…

— Ольга Васильевна! — вскрикивает вдруг Сережа.

— Что такое? — пугается она.

Сережа молча указывает ей на лестницу.

Доктор бежит вниз по ступенькам, совсем так, как представлял это себе Сережа прошлой ночью.

Сережа делает шаг вперед, и доктор замечает его.

Подбегает к нему, стараясь сохранить спокойствие, что плохо ему удается.

— Отлично, — говорит им доктор, сияя. — Просто удивительно! Еще год назад такой случай считался безнадежным. А теперь мы ее вытащили! Спасена! И профессор говорит — спасена! Понимаете вы это — спасена! Конечно, болезнь такая, что могут быть осложнения, но мы справимся. Спасена! Мы применили вот что...

Он внимательно вглядывается в неподвижное и бледное лицо Сережи. И говорит тихо:

— Ладно. Идите домой. Отдыхайте. Все будет хорошо. Убегает наверх.

Ольга Васильевна накидывается на Сережу.

— Ты что же это? — говорит она тяжело дыша и чуть не плача. — Что? Советский человек, а радоваться не умеешь? Что стоишь как пень! Почему доктору спасибо не сказал? Идем! Шурка, отойди, это тебе не цирк, чего пялишь глаза на человека. Идем, идем, сынок.

И она уводит Сережу за руку, как маленького.

Проходит месяц. У одного из окон инфекционного отделения больницы — обычная картина. Собрались родители, чтобы хоть через двойные рамы увидеть своих выздоравливающих детей.

И среди стриженых, похудевших, бледных, веселых мальчиков и девочек в голубых халатиках стоит на коленях на подоконнике Маруся. На плечо ее опирается девочка лет десяти, в рукав вцепился пятилетний мальчик, а самый маленький и слабый устроился у нее на руках. Дремлет.

Беседа между родителями и детьми — дело не простое. Если родители могут кричать вовсю и голос их иногда доносится до ребят, то эти последние лишены такой возможности. Им не дай бог кричать. Если их поймают у окна, то разгонят по палатам...

— Соня! Варенье съела? — кричит одна из матерей под окном.

— Съела! — отвечает вполголоса Соня раздельно, старательно жестикулируя, как при разговоре с глухонемым.

— А мандарины?

Соня вместо ответа поглаживает живот.

Мать кивает головой удовлетворенно. Старушка под окном достала из авоськи куклу и заставляет ее кланяться, шевелить руками, перебирать ногами.

— Люся! Это новая кукла? — спрашивают девочки.

— Нет. Это Маргарита, — отвечает Люся. И вдруг губы у нее начинают дрожать, слезы выступают на глазах.

— Ты что, Люся? — обняв ее, спрашивает Маруся.

— Домой хочется...

А бабушка за окном к общему восторгу заставляет плясать куклу, да так ловко, что даже тоскующая Люся улыбается сквозь слезы.

— А чего Сережа-то сегодня запаздывает? — удивляется Таня, та девочка, что опирается на Марусино плечо.

— У доктора он, — вздыхает Маруся. — У Льва Андреевича.

— Зачем?

— Хлопочет, чтобы меня завтра отпустили. Доктор хочет еще на день задержать, а завтра тридцать первое декабря. Очень хочется, Танечка, как хочется встретить Новый год дома...

И вдруг все разговоры на окне замолкают. Легкий шепот:

— Маруся! Бежит! Бежит! Через двор бежит! Сережа бежит! И в самом деле. Обегая снежные сугробы, спешит по дорожке к окну Сережа.

И, взглянув на его лицо, Маруся шепчет:

— Не отпустил.

— Отпустил! — кричит под окном Сережа. — Маруся! Ну что ты плачешь! Не надо! Ну, Маруся!

Маруся улыбается, но слезы так и катятся по ее щекам. А Сережа кричит, надрывается, утешает.

— Чего плачешь! Глупенькая! — кричит он. — Мы так там стараемся для тебя! Вася и Саша в ботаническом саду таких цветов достали, просто красота! Все прибрали! Степан Николаевич пол натирал! Леня окна вымыл! Не плачь! Не надо! Дома все так и сверкает.

Вдруг окно пустеет мгновенно.

Старшая сестра появляется за стеклами, качает укоризненно головой, глядя на родителей. И исчезает.

Сережа бежит наверх по столь знакомой ему теперь лестнице, а Маруся спускается вниз, навстречу ему. Он берет ее за руку, ведет осторожно к дверям.

— С наступающим Новым годом, — ласково и многозначительно говорит супругам старик гардеробщик. — С наступающим новым счастьем!

Весеннее утро. Все окна в квартире Орловых открыты Сережа на полу укладывает чемодан и от времени до времени улыбается неудержимо, как год назад, когда принес в проектное бюро ветку сирени.

Степан Николаевич глядит в окно, постукивает каблуком нетерпеливо.

— Нет, я этого Леню высек бы с удовольствием! — жалуется он. — Всего два часа до поезда, а он не появляется.

— Явится! — отвечает Сережа весело.

— Ведь у него наши билеты!

— Ничего!

— Опоздаем на строительство, там нас поблагодарят.

— Не опоздаем.

— А такси заказали?

— Вася и Саша заедут за нами.

— Нашли кому поручать! Эти сиамские близнецы все спорят, все философствуют. Заговорятся и забудут!

— Не тужите, Степан Николаевич! Все у нас будет просто замечательно.

Степан Николаевич поворачивается к Сереже:

— Да ну вас. У вас отвратительная американская привычка бежать, задыхаясь, за поездом и прыгать на ходу. Нет, я люблю по-русски, основательно. Приехать минут за сорок, погулять по перрону… выпить пива.

Он вдруг обрывает свою речь. Вглядывается внимательно в Сережино лицо.

И спрашивает удивленно:

— Сережа, а Сережа!

— Да, Степан Николаевич.

— Что вы улыбаетесь своему чемодану, как хорошенькой барышне?

— Разве? — удивляется Сережа. — Неужели я улыбаюсь?

Улыбаясь, закрывает чемодан, затягивает ремнями и подходит к Степану Николаевичу.

— Вы улыбались так, когда сообщали о своей женитьбе. А теперь что случилось? Ну? Признавайтесь.

— Я бы вам признался, да не велено. Сами угадайте.

Степан Николаевич вглядывается в сияющее Сережино лицо и вдруг вскрикивает:

— Неужели! Неужели Маруся… Неужели вы… ждете ребенка?

— Она говорит — ждем! — признается Сережа. — Честное слово, Степан Николаевич, я очень этому радуюсь. Прямо не подозревал, что это меня так поразит. Только об этом и думаю. И беспокоюсь. Не знаю, как дождусь, пока сдаст она экзамены и приедет к нам на

строительство. А она спокойна. Вот человек? А, Степан Николаевич?

Степан Николаевич кивает головой, соглашается.

— Поздравляю! — говорит он после паузы. — Но вы в самом деле понимаете, какая на вас пала ответственность? Детей воспитывать — это целая наука!

— Тише! — шепчет Сережа. — Слушайте!

И они слышат: Маруся поет за стеной.

Сережа подкрадывается к двери, заглядывает в соседнюю комнату. Маруся сидит на подоконнике, смотрит задумчиво на улицу. В сквере кричат дети, настойчиво гудит у ворот машина, просится домой, звонят трамваи. И над всем этим гулом, задумавшись о своем, Маруся поет негромко на свой любимый лад:

— Будем учиться, будем учиться, будем стараться, будем стараться!

ДОН КИХОТ

Село в Ламанче. Летняя ночь приближается к рассвету, белые стены и черепичные крыши селения едва выступают из мрака. Два огонька медленно движутся вдоль заборов, поднимаются вверх по крутой улице. Это спешат с фонарями в руках два почтенных человека: священник, лиценциат Педро Перес, и цирюльник, мастер Николас. Оба путника уставились в одну точку, всматриваются во что-то там наверху, в самом конце крутой улицы.

Ц и р ю л ь н и к. Все читает и читает бедный наш идальго Алонзо Кехано.

На пригорке, замыкая улицу, возвышается небогатая усадьба с гербом над воротами, а под самой ее крышей в предрассветном мраке ярко светится четырехугольник окна.

С в я щ е н н и к. Жжет свечи без счета, словно богатый человек. Экономка хотела было позвать к нему доктора, да не удалось ей наскрести дома и десяти реалов.

Ц и р ю л ь н и к. Как! Ведь недавно наш идальго продал лучший свой участок. Тот, что у речки!

С в я щ е н н и к. Все деньги поглотила его несчастная страсть: он купил два с половиной воза рыцарских романов и погрузился в них до самых пяток. Неужели и в самом деле книги могут свести человека с ума?

Ц и р ю л ь н и к. Все зависит от состава крови. Одни, читая, предаются размышлениям. Это люди с густой кровью. Другие плачут — те, у кого кровь водянистая. А у нашего идальго кровь пламенная. Он верит любому вздорному вымыслу сочинителя, словно Священному Писанию. И чудится ему, будто все наши беды оттого, что перевелись в Испании странствующие рыцари.

С в я щ е н н и к. Это в наше-то время! Когда не только что они, а правнуки их давно перевелись на свете. Ведь у нас тысяча шестьсот пятый год на дворе. Шутка сказать! Тысяча шестьсот пятый!

Так, беседуя, входят друзья в распахнутые настежь ворота усадьбы, и женщина лет сорока, экономка Дон Кихота, бросается навстречу пришедшим.

Э к о н о м к а. Слава тебе господи! Пожалуйте, пожалуйста, сеньор священник и сеньор цирюльник. Мы плачем тут в кухне.

Просторная кухня, она же столовая. Широкий очаг с вертелом. Полки с медной посудой. Под ними на стене висят связки лука и чеснока.

За широким темным столом плачет, уронив голову на руки, молоденькая племянница Дон Кихота.

С в я щ е н н и к. Не будем плакать, дитя мое! Бог не оставит сироту.

Ц и р ю л ь н и к. Слезы — драгоценный сок человеческого тела, который полезнее удерживать, нежели источать.

Э к о н о м к а. Ах, сеньоры, как же ей не плакать, бедной, когда ее родной дядя и единственный покровитель повредился в уме. Потому и подняла я вас на рассвете, простите меня, неучтивую.

П л е м я н н и ц а. Он читает с утра до вечера рыцарские романы. К этому мы привыкли. Он отказался от родового своего имени Алонзо Кехано и назвал себя Дон Кихот Ламанчский. Мы, послушные женщины, не перечили ему и в этом.

Э к о н о м к а. Но сегодня началось нечто непонятное и страшное.

С в я щ е н н и к. Что же именно, сеньора экономка?

И, словно в ответ, страшный грохот потрясает всю усадьбу.

Э к о н о м к а. Вот что! Вот почему послала я за вами. Пойдем поглядим, что творит мой бедный господин в своей библиотеке. Мы одни не смеем!

Наверх, во второй этаж, в сущности на чердак, ведет из кухни широкая деревянная лестница. Экономка со свечой в длинном медном подсвечнике поднимается впереди. Остальные следом на цыпочках.

Дверь библиотеки выходит в темный коридор. Щели светятся в темноте.

Экономка гасит свечу, и друзья Дон Кихота, разобрав щели по росту, принимаются подглядывать усердно.

Взорам их открывается комната с высоким покатым потолком. И вся она переполнена книгами.

Одни высятся на столах. Другие — на стульях с высокими спинками. Иные, заботливо уложенные друг на друга, прямоугольными башнями вздымаются от пола до потолка. На резном деревянном поместительном пюпитре укреплены две свечи — по обе стороны огромного фолианта, открытого на последних страницах.

Книгу дочитывает — и по дальнозоркости, и из почтения к читаемому — стоя владелец всех этих книжных богатств, бедный идальго Алонзо Кехано, он же славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Это человек лет пятидесяти, несмотря на крайнюю худобу — крепкого сложения, без признаков старости в повадках и выражении.

Он одет в рыцарские доспехи. Только голова обнажена. Около него на столике лежит забрало. В правой руке — меч.

Ц и р ю л ь н и к. Пресвятая Богородица, помилуй нас...

С в я щ е н н и к. Откуда добыл наш бедняк рыцарские доспехи?

Э к о н о м к а. Разыскал на чердаке.

П л е м я н н и ц а. Латы у него дедушкины, шлем — прадедушкин. Дядя показывал мне все эти древности, когда была я еще маленькой.

Худое и строгое лицо рыцаря пылает. Бородка с сильной проседью дрожит. И он не только читает, он еще и действует по страницам рыцарского романа, как музыкант играет по нотам.

И по действиям рыцаря подглядывающие легко угадывают, о чем он читает.

Вот пришпорит рыцарь невидимого коня.

Вот взмахнет мечом и ударяет по полу с такой силой, что взлетают щепки и грохот разносится по всему дому...

— «Одним ударом двух великанов рассек пополам рыцарь Пламенного Меча, смеясь над кознями злого волшебника Фрестона! — бормочет Дон Кихот. — И снова вскочил на коня, но вдруг увидел девушку неземной красоты. Ее волосы подобны были расплавленному золоту, а ротик ее... — Дон Кихот переворачивает страницу, — изрыгал непристойные ругательства».

Дон Кихот замирает, ошеломленный.

— Какие ругательства? Почему? Это козни Фрестона, что ли? *(Вглядывается.)* О я глупец! Я перевернул лишнюю страницу! *(Перелистывает страницу обратно.)* «...А ротик ее подобен был лепестку розы. И красавица плакала горько, словно дитя, потерявшее родителей».

Рыцарь всхлипывает, вытирает слезы и снова погружается в чтение всем существом. Губы его шевелятся беззвучно. Глаза горят. Вот он взмахивает мечом и рассекает пополам книжную башню, что вздымалась над самой его головой. Книжная лавина обрушивается прямо на рыцаря. Пюпитр опрокинут, свечи погасли. Прямоугольник большого окна явственно выступает во мраке комнаты.

Рассветает.

Дон Кихот стоит несколько мгновений неподвижно, почесывая ушибленную голову. Но вот он восклицает:

— Нет, проклятый Фрестон! Не остановят меня гнусные твои проделки, злейший из волшебников. Ты обрушился на книги. Простак! Подвиги самоотвержен-

ных рыцарей давно перешли из книг в мое сердце. Вперед, вперед, ни шагу назад!

Рыцарь снимает латы, накидывает на плечи плащ, надевает широкополую шляпу, хватает со стола шлем и забрало и шагает через подоконник. Останавливается на карнизе, озирается из-под руки.

Ц и р ю л ь н и к. А почему избрал он столь опасный путь?

П л е м я н н и ц а. По доброте душевной, чтобы не разбудить нас, бедных...

Двор усадьбы Дон Кихота.

Рыцарь стоит на карнизе, оглядывает далекие окрестности, степь за поселком, еще пустынную большую дорогу, исчезающую в далеком лесу.

И прыгает во двор, легко, как мальчик.

Он шагает, задумавшись глубоко, ничего не видя, и налетает грудью на туго натянутую веревку с развешанным бельем. Толчок заставляет его отшатнуться. Он хватается за меч.

В рассветных сумерках перед ним белеет нечто высокое, колеблющееся, легкое, похожее на привидение. Сходство усиливается тем, что глядят на рыцаря два разноцветных глаза. Рот ухмыляется нагло.

Д о н К и х о т. Это снова ты, Фрестон?

Рыцарь взмахивает мечом, но в последнее мгновение задерживает удар.

Собственное белье рыцаря развешано на веревке. Сеньора экономка наложила заплаты на самые разные части его исподнего. Не привидение, а ночная рубаха Дон Кихота глядит на него своими заплатами.

Д о н К и х о т. Грубая проделка, Фрестон. Но даже хитростью не заставишь ты меня преклониться перед тобой.

Дон Кихот поворачивает меч плашмя, прижимает веревку и, сделав неслыханно широкий шаг, перебирается через нее.

Рыцарь шагает по улицам селения.

Перед бедным крестьянским домиком с покосившимся забором он вдруг останавливается и снимает почтительно свою широкополую шляпу.

Свинопас гонит по улице стадо свиней, дудит в свой рожок.

Д о н К и х о т. Я слышу, слышу звуки труб! Сейчас опустят подъемный мост. И Дульсинея Тобосская выйдет на балкон.

Рыцарь бросается вперед, спотыкается о рослую и тощую свинью. Падает в самую середину стада. Свиньи с визгом и хрюканьем в страхе несутся вперед, топча рыцаря копытцами.

Рыцарь поднимается в облаке пыли. Отряхивается, расправляет плащ. И принимает свойственный ему строгий, даже меланхолический вид.

Из коровника крестьянского двора раздается сердитый окрик:

— Куда ты провалилась, проклятая девка!

Дон Кихот вздрагивает.

Крик:

— Альдонса!

Дон Кихот подходит к самому забору.

Через двор к коровнику пробегает молоденькая сонная миловидная девушка.

Рыцарь, увидев Альдонсу, вспыхивает, как мальчик. Прижимает руки к сердцу и роняет их, словно обессилев.

— О, дама моего сердца! — шепчет он едва слышно вслед Альдонсе. — Рыцарская любовь сжигает в своем огне чувства низменные и свинские и направляет силы к подвигам. О, Дульсинея!

Дульсинея Тобосская, она же Альдонса Лоренса, выбегает из коровника и замечает рыцаря. Приседает почтительно.

А л ь д о н с а. Сеньор Кехано! Как рано вы поднялись, словно простой мужик. Ох, что я говорю, простите мою дерзость. Я хотела сказать — как птичка Божья!

В о п л ь. Альдонса, проклятая девка, где же соль? Скорее!

А л ь д о н с а. У нас такая радость, сеньор, корова принесла двух телят разом! И оба такие здоровенькие, только худенькие, как ваша милость. Ох, простите меня, необразованную. Я плету от радости сама не знаю что.

В о п л ь. Альдонса!

А л ь д о н с а. И отец с ума сходит от радости — слышите, как ревет?

В о п л ь. Альдонса! Убью тебя, окаянную девку!

А л ь д о н с а. Бегу, бегу! До свидания, сеньор!

Исчезает.

Д о н К и х о т. До свидания, о Дульсинея Тобосская, благороднейшая из благородных. Ты сама не знаешь, как ты прекрасна и как несчастна. С утра до ночи надрываешься ты — так сделал Фрестон, и никто не благодарит тебя за труд. Нет. Только бранят да учат... О, проклятый волшебник! Клянусь — не вложу я меча в ножны, пока не сниму чары с тебя, о любовь моя единственная, дама моего сердца, Дульсинея Тобосская!

Санчо Панса — здоровенный, веселый, краснолицый крестьянин лет сорока — работает, стучит молотком, приклепывает старательно забрало к рыцарскому шлему. Дон Кихот восседает возле на скамейке, вынесенной для него из дома Санчо. У ног рыцаря развалился кудлатый щенок и жмурится от наслаждения — рыцарь почесывает ему бок кончиком своего меча.

Д о н К и х о т. Более упрямого человека, чем ты, не найти в целой Ламанче. Я приказываю тебе — отвечай!

С а н ч о. Очень хочется, сеньор, ответить «да». Так хочется, что просто еле удерживаюсь. Скажите мне несколько слов на рыцарском языке — и я соглашусь, пожалуй.

Д о н К и х о т. Слушай же, что напишут о нас с тобой, если завтра на рассвете выберемся мы из села на поиски подвигов и приключений *(торжественно):* «Едва светлокудрый Феб уронил на лицо посветлевшей

земли золотую паутину своих великолепных волос, едва птички согласно запели в лесах, приветствуя румяную богиню Аврору...»

Санчо. О, чтоб я околел, до чего красиво!

Дон Кихот. «Едва, — повторяю, — совершилось все это в небесах и лесах, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский вскочил на славного своего коня по имени Росинант и, сопровождаемый верным и доблестным оруженосцем, по имени Санчо Панса...»

Санчо. *(сквозь слезы)*. Как похоже, как верно...

Дон Кихот. «...помчался по просторам Ламанчи злодеям на устрашение, страждущим на утешение».

Санчо. *(всхлипывая)*. Придется, как видно, ехать, А вот и шлем готов, сеньор. Примеряйте!

Дон Кихот внимательно разглядывает шлем с приделанным к нему забралом. Возвращает его Санчо.

Дон Кихот. Надень!

Санчо. *(надев шлем и опустив забрало)*. Очень славно! Я словно птичка в клетке, только зернышек не хватает.

Дон Кихот. Сядь на пенек.

Санчо. Сел.

Рыцарь заносит меч над головой оруженосца, но тот легко, словно мячик, отлетает в сторону. Снимает шлем торопливо.

Санчо. Э, нет, сеньор! Я не раз ходил с вами на охоту, знаю, какая у вас тяжелая рука.

Дон Кихот. Надень шлем.

Санчо. Хорошо, сеньор. Я надену. Только потом. Для начала испробуем шлем без моей головы. Поберегласъ корова — и век жила здорова.

Дон Кихот. Чудак! В книге о подвигах рыцаря Амадиса Галльского нашел я состав волшебного зелья, делающего доспехи непробиваемыми. И сварил его. И втер в шлем целую бутыль. Ты что ж, не веришь рыцарским романам?

С а н ч о. Как можно не верить, а только для начала положим шлем сюда, на дубовую скамейку. А теперь, сеньор, с богом!

Дон Кихот примеривается и наносит по шлему сокрушительный удар.

Санчо охает, схватившись за голову.

Меч рыцаря раскалывает шлем, словно орех, и надвое разбивает толстую дубовую скамейку.

С а н ч о. Сеньор! Вы не обижайтесь, а только я не поеду. Подумать надо, не обижайтесь, сеньор. Баба к тому же не отпускает, баба и море переспорит, от бабы и святой не открестится, бабы сам папа боится, от бабы и солнце садится.

Д о н К и х о т. Санчо!

С а н ч о. К тому же неизвестно, какое вы мне положите жалованье.

Д о н К и х о т. Есть о чем говорить! Я назначу тебя губернатором первого же острова, который завоюю. И месяца не пройдет, как будешь ты на своем острове управлять и издавать законы...

С а н ч о. Вот этого мне давно хочется.

Д о н К и х о т. И ездить в карете, и есть и пить на золоте.

С а н ч о. Есть и пить мне тоже хочется. Эх! Была не была! Когда ехать, сеньор?

Д о н К и х о т. Завтра на рассвете!

С а н ч о. Будь по-вашему, едем!

Рассветает.

Дон Кихот, в полном рыцарском вооружении, но с обнаженной головой, верхом на очень тощем и высоком коне, выезжает с проселочной дороги на большую — широкую-широкую, прорезанную глубокими колеями.

Санчо на маленьком сером ослике следует за ним. Выехав на большую дорогу, Дон Кихот внимательно, строго, по-охотничьи оглядывается из-под руки. Ищет подвигов.

И, ничего не обнаружив, пришпоривает Росинанта.

Д о н К и х о т. Скорее, скорее! Промедление наше наносит ущерб всему человеческому роду.

И с этими словами вылетает он из седла через голову Росинанта, ибо тот попадает передними ногами в глубокую рытвину.

Прежде чем Санчо успевает прийти на помощь своему повелителю, тот — уже в седле и несется вперед по дороге как ни в чем не бывало.

С а н ч о. Проклятая рытвина!

Д о н К и х о т. Нет, Санчо, виновата здесь не рытвина.

С а н ч о. Что вы, сударь, уж мне ли не знать! Сколько колес в ночную пору переломала она мне, злодейка. Не я один — все наше село проклинает эту окаянную колдобину. Сосед говорит мне: «Санчо, закопал бы ты ее, проклятущую». А я ему: «С какой стати я — сам зарой». А он мне: «А я с какой стати?» А тут я ему: «А с какой стати я?» А он мне: «А я с какой стати?!» А я ему: «А с какой стати я?» А он мне: «А я с какой стати!»

Д о н К и х о т. Довольно, оруженосец!

С а н ч о. Ваша милость, да я и сотой доли еще не рассказал. Я соседу разумно, справедливо отвечаю: «С какой же стати я!» А он мне глупо, дерзко: «А я с какой стати!»

Д о н К и х о т. Пойми ты, что рытвина эта вырыта когтями волшебника по имени Фрестон. Мы с ним встретимся еще много раз, но никогда не отступлю я и не дрогну. Вперед, вперед, ни шагу назад!

И всадники скрываются в клубах пыли.

Высокий и густой лес стал по обочинам дороги. Дон Кихот придерживает коня.

— Слышишь?

С а н ч о. А как же! Листья шелестят. Радуется лес хорошей погоде. О господи!

Из лесу доносится жалобный вопль:

— Ой, хозяин, простите! Ой, хозяин, отпустите! Клянусь страстями Господними, я больше не буду!

Дон Кихот. Слышишь, Санчо!

Санчо. Слышу, сеньор! Прибавим ходу, а то еще в свидетели попадем!

Дон Кихот. За мной, нечестивец! Там плачут!

И рыцарь поворачивает Росинанта прямо через кусты в лесную чащу.

На поляне в лесу к дереву привязана кобыла. Она спокойно и бесстрастно щиплет траву. А возле к дубку прикручен веревками мальчик лет тринадцати. Дюжий крестьянин нещадно хлещет его ременным поясом. И приговаривает:

— Зверь! Разбойник! Убийца! Отныне имя тебе не Андрес, а бешеный волк. Где моя овца? Кто мне заплатит за нее, людоед! Отвечай, изувер!

И вдруг — словно гром ударил с ясного неба. Свист, топот, крик, грохот. И пастушок, и хозяин замирают в ужасе.

Росинант влетает на поляну.

Копье повисает над самой головой дюжего крестьянина.

Дон Кихот. Недостойный рыцарь! Садитесь на своего коня и защищайтесь!

И тотчас же из кустов высовывается голова Санчо Пансы. Шапка его разбойничьи надвинута на самые брови. Он свистит, и топает, и гикает, и вопит:

— Педро, заходи справа! Антонио, лупи сзади! Ножи — вон! Топоры — тоже вон! Всё — вон!

— Ваша милость! — кричит испуганный крестьянин. — Я ничего худого не делаю! Я тут хозяйством занимаюсь — учу своего работника!

Дон Кихот. Освободите ребенка!

Крестьянин. Где ребенок? Что вы, ваша милость! Это вовсе не ребенок, а пастух!

Дон Кихот взмахивает копьем.

Крестьянин. Понимаю, ваша милость. Освобождаю, ваша милость. Иди, Андрес, иди. *(Распутывает узлы.)* Ступай, голубчик. Ты свободен, сеньор Андрес.

Санчо *(грозно)*. А жалованье?!

Крестьянин. Какое жалованье, ваша милость?

Санчо. Знаю я вашего брата. Пастушок, за сколько месяцев тебе не плачено?

Андрес. За девять, сударь. По семь реалов за каждый. Многие говорят, что это будет целых шестьдесят три реала!

Крестьянин. Врут.

Дон Кихот. *(замахивается)*. Я проткну тебя копьем. Плати немедленно!

Крестьянин.Они дома, сеньор рыцарь! Денежкито. Разве можно в наше время выходить из дому с деньгами? Как раз ограбят. А дома я сразу расплачусь с моим дорогим Андресом. Идем, мой ангелочек.

Дон Кихот. Клянись, что расплатишься ты с ним!

Крестьянин. Клянусь!

Дон Кихот. Покрепче!

Крестьянин. Клянусь всеми святыми, что я рассчитаюсь с моим дорогим Андресом. Пусть я провалюсь в самый ад, если он хоть слово скажет после этого против меня. Клянусь раем Господним — останется он доволен.

Дон Кихот. Хорошо. Иди, мальчик. Он заплатит тебе.

Андрес.Ваша честь, я не знаю, кто вы такой. Может быть, святой, хотя святые, кажется, не ездят верхом. Но раз уж вы заступились за меня, то не оставляйте. А то хозяин сдерет с меня кожу, как с великомученика. Я боюсь остаться тут. А бежать с вами — шестьдесят три реала пропадут. Такие деньги! Не уезжайте!

Дон Кихот. Встань, сынок! Твой хозяин поклялся всеми святыми, что не обидит тебя. Не станет же он губить бессмертную свою душу из-за гроша!

С а н ч о. Ну, это как сказать.

А н д р е с. Не уезжайте!

Д о н К и х о т. Беда в том, друг Андрес, что не единственный ты горемыка на земле. Меня ждут тысячи несчастных.

А н д р е с. Ну и на том спасибо вам, сеньор. Сколько живу на свете, еще никто за меня не заступался.

Он целует сапог рыцаря.

Дон Кихот вспыхивает, гладит Андреса по голове и пришпоривает коня.

Снова рыцарь и оруженосец едут по большой дороге.

С а н ч о. Конечно, жалко пастушонка. Однако это подвиг не на мой вкус. Чужое хозяйство святее монастыря. А мы в него со своим уставом. Когда буду я губернатором...

Д о н К и х о т. Замолчи, простофиля. Мальчик поблагодарил меня. Значит, не успел отуманить Фрестон детские души ядом неблагодарности. Благодарность мальчика будет утешать меня в самые черные дни наших скитаний! Довольно болтать, прибавь шагу! Наше промедление наносит ущерб всему человеческому роду.

Ущелье среди высоких скал, крутых, как башни. Черные зубчатые тени их перерезают дорогу. Дон Кихот и Санчо Панса едут между скалами.

Дон Кихот останавливает коня.

С а н ч о. Что вы увидели, сеньор?

Д о н К и х о т. Приготовься, Санчо. Мы заехали в местность, где уж непременно должны водиться драконы. Почуяв рыцаря, хоть один да выползет. И я прикончу его.

Санчо останавливает ослика, озирается в страхе.

С а н ч о. Драконы, гадость какая. Я ужей и то не терплю, а тут — здравствуйте! — вон какой гад. Может, не встретим?

Д о н К и х о т. Есть такие нечестивцы, что утверждают, будто бедствуют люди по собственному неразумию и злобе, а никаких злых волшебников и драконов и нет на свете.

С а н ч о. А, вруны какие!

Д о н К и х о т. А я верю, что виноваты в наших горестях и бедах драконы, злые волшебники, неслыханные злодеи и беззаконники, которых сразу можно обнаружить и наказать. Слышишь?

Слышится жалобный, длительный скрип, и вой, и визг.

Санчо глядит в ужасе на Дон Кихота, а тот на Санчо. И вдруг испуганное, побледневшее лицо оруженосца начинает краснеть, принимает обычный багрово-красный цвет и расплывается в улыбке.

Д о н К и х о т. Чего смеешься? Это дракон, это он!

С а н ч о. Ваша честь, да это колеса скрипят!

Дон Кихот бросает на своего оруженосца уничтожающий взгляд. Заставляет коня подняться на некрутой холмик у подножия скалистой гряды.

Санчо следует за ним.

И рыцарь видит, что и в самом деле карета показалась вдали. Колеса пронзительно визжат на повороте. Пять всадников окружают ее. Перед каретою едут на высоких мулах два бенедиктинских монаха, в дорожных очках, под зонтиками. Два погонщика шагают возле упряжных коней пешком.

В окне кареты женщина, красота которой заметна даже издали.

Д о н К и х о т. Видишь огромных черных волшебников впереди?

С а н ч о. Сеньор, сеньор, святая наша мать инквизиция строго взыскивает за новые ругательства! Бенедиктинских монахов дразнят пьяницами, к этому уже притерпелись, а волшебниками — никогда! Не выдумывайте, ваша милость, нельзя. Это — монахи!

Д о н К и х о т. Откуда тут взяться монахам?

С а н ч о. Примазались к чужой карете. С охраной-то в дороге уютней.

Дон Кихот пришпоривает Росинанта и мчится навстречу путникам. Санчо следит за дальнейшими событиями, оставаясь на холме. Рыцарь осаживает коня у самого окошечка, из которого глядит на него с небрежной улыбкой красавица.

Д о н К и х о т. О прекрасная дама! Признайтесь Дон Кихоту Ламанчскому, не боясь своей стражи: вы пленница?

Д а м а. Увы, да, храбрый рыцарь.

Опустив копье, налетает Дон Кихот на бенедиктинцев. Один из них валится с мула на каменистую дорогу. Другой поворачивает и скачет туда, откуда приехал. Слуги знатной дамы бросаются было на рыцаря, но он в отчаянном боевом пылу разгоняет врагов, прежде чем они успевают опомниться.

Дама улыбается, устроившись поудобнее, как в театральной ложе.

Один из слуг оказывается упрямее остальных. Он вытаскивает из противоположного окна кареты подушку и мчится прямо на рыцаря, защищаясь подушкой, как щитом.

Ошибка.

Дон Кихот могучим ударом распарывает сафьяновую наволочку.

Перья облаком взлетают в воздух, а упрямый слуга прекрасной путешественницы валится с седла.

Дон Кихот соскакивает на дорогу. Приставляет меч к горлу поверженного врага.

Д о н К и х о т. Сдавайся!

Рыцарь поднимает меч, чтобы поразить своего упрямого противника насмерть, но мягкий негромкий женский голос останавливает его:

— Рыцарь, пощадите беднягу.

Рыцарь оглядывается. Дама, улыбаясь, глядит на него из окна кареты.

Д о н К и х о т. Ваше желание для меня закон, о прекрасная дама! Встань!

Слуга поднимается угрюмо, отряхивается от перьев, которые покрыли его с ног до головы.

Д о н К и х о т. Дарую тебе жизнь, злодей, но при одном условии: ты отправишься к несравненной и прекраснейшей Дульсинее Тобосской и, преклонив колени, доложишь ей, даме моего сердца, о подвиге, который я совершил в ее честь.

Д а м а. А это далеко?

Д о н К и х о т. Мой оруженосец укажет ему дорогу, прекраснейшая дама.

Д а м а. Великодушно ли, рыцарь, отнимать у меня самого надежного из моих слуг?

Д о н К и х о т. Сударыня! Это ваш слуга? Но вы сказали мне, что вы пленница!

Д а м а. Да, я была в плену у дорожной скуки, но вы освободили меня. Я придумала, как нам поступить. Дамой вашего сердца буду я. Тогда слугу никуда не придется посылать, ибо подвиг был совершен на моих глазах. Ну? Соглашайтесь же! Неужели я недостойна любви! Посмотрите на меня внимательно! Ну же!

Д о н К и х о т. Сеньора, я смотрю.

Д а м а. И я не нравлюсь вам?

Д о н К и х о т. Не искушайте бедного рыцаря. Пожалуйста. Нельзя мне. Я верен. Таков закон. Дама моего сердца — Дульсинея Тобосская.

Д а м а. Мы ей не скажем.

Д о н К и х о т. Нельзя. Клянусь — нельзя.

Д а м а. Мы тихонько.

Д о н К и х о т. Нельзя.

Д а м а. Никто не узнает!

Д о н К и х о т. Нельзя. Правда. Ваши глаза проникают мне в самую душу! Отвернитесь, сударыня, не мучайте человека.

Д а м а. Сойдите с коня и садитесь ко мне в карету, и там мы все обсудим. Я только что проводила мужа

в Мексику, мне так хочется поговорить с кем-нибудь о любви. Ну? Ну же… Я жду!

Дон Кихот. Хорошо. Сейчас. Нет. Ни за что.

Дама. Альтисидора — красивое имя?

Дон Кихот. Да, сударыня.

Дама. Так зовут меня. Отныне дама вашего сердца — Альтисидора.

Дон Кихот. Нельзя! Нет! Ни за что! Прощайте!

Рыцарь салютует даме копьем, поворачивает Росинанта и останавливается пораженный. Дама разражается хохотом. И не она одна — хохочут все ее слуги.

Дон Кихот пришпоривает Росинанта и мчится прочь во весь опор, опустив голову. Ветер сдувает с него перья. Громкий хохот преследует его.

Дама. *(слуге)*. Разузнайте у его оруженосца, где он живет. За такого великолепного шута герцог будет благодарен мне всю жизнь.

Вечереет.

Кончилась скалистая гряда вокруг дороги. Теперь рыцарь и его оруженосец двигаются среди возделанных полей. За оливковыми деревьями белеют невдалеке дома большого селения. За селением — высокий лес. Санчо снова едет возле своего повелителя. Поглядывает на него озабоченно.

Дон Кихот. *(печально и задумчиво)*. Думаю, думаю и никак не могу понять, что смешного нашла она в моих словах.

Санчо. И я не понимаю, ваша милость. Я сам, ваша милость, верный и ничего в этом не вижу смешного. Жена приучила. Каждый раз подымала такой крик, будто я всех этих смазливых девчонок не целовал, а убивал. А теперь вижу — ее правда. Все девчонки на один лад. Вино — вот оно действительно бывает разное. И каждое утешает по-своему. И не отнимает силы, а укрепляет человека. Баранина тоже. Тушеная. С перцем. А любовь?..

Ну ее, чего там! Я так полагаю, что нет ее на белом свете. Одни выдумки.

Рыцарь и оруженосец в глубокой задумчивости следуют дальше, пока не исчезают в вечерних сумерках.

В просторной кухне усадьбы Дон Кихота за большим столом собрались его друзья и близкие.

Поздний вечер.

Дождь стучит в окна. Ветер воет в трубе. Экономка перебирает фасоль в небольшой глиняной чашке. Племянница вышивает у свечки. Священник и цирюльник пристроились поближе к очагу.

Племянница. Бедный дядя! Как давно-давно уехал он из дома. Что-то он делает в такую страшную непогоду?

Экономка. Безумствует — что же еще! У всех хозяева как хозяева, а мой прославился на всю Испанию. Что ни день — то новые вести о нем!

Стук в дверь.

Экономка. Ну вот опять! Войдите!

Вбегает Альдонса.

Экономка. Слава богу, это всего только Альдонса. Что тебе, девушка? Ты принесла нам цыплят?

Альдонса. Нет, ваша милость, принесла удивительные новости о нашем сеньоре!

Экономка. Что я говорила! Какие? Он ранен? Болен? Умирает?

Альдонса. Что вы, сеньора! Новости гораздо более удивительные. Он влюбился!

Племянница. Пресвятая Богородица!

Альдонса. Вот и я так сказала, когда услышала. Слово в слово. Влюбился наш сеньор в знатную даму по имени Дульсинея Тобосская. Отец мой родом из Тобосо и говорит, что в детстве видел такую.

Экономка. Значит, она старуха!

А л ь д о н с а. А мы так порешили, что это ее дочь или даже внучка, потому что уж больно сильно влюбился наш сеньор. Колотит людей в ее честь, не разбирая ни титула, ни звания. И вздыхает целыми ночами. И слагает ей песни. И говорит о ней ласково, как о ребенке или птичке. Я даже позавидовала.

Э к о н о м к а. Чему?

А л ь д о н с а. Меня никто небось так не полюбит.

П л е м я н н и ц а. А Педро?

А л ь д о н с а. Он только тискает да щиплется. Счастливая Дульсинея Тобосская!

Стук в дверь.

Э к о н о м к а. Ну вот опять! Войдите!

Дверь распахивается, и в комнату входит человек в промокшем насквозь плаще. Глаза и нос красны, не то от непогоды, не то от природы. Длинные усы свисают уныло. Впрочем, едва войдя в комнату, он подкручивает их воинственно.

Н е и з в е с т н ы й. Здесь ли проживает идальго Алонзо Кехано, именующий себя Дон Кихот Ламанчский?

Э к о н о м к а. Здесь, ваша милость.

Н е и з в е с т н ы й. Он дома?

Э к о н о м к а. Нет.

Н е и з в е с т н ы й. Жаль, ах как жаль. Жаль от всего сердца. Будь он дома — я бы его арестовал.

Племянница вскрикивает. Альдонса забивается в угол.

Цирюльник и священник встают.

Н е и з в е с т н ы й. Обидно. Ну да ничего не поделаешь, другим разиком. Не найдется ли у вас стакана вина?

Э к о н о м к а. Как не найтись! Снимите плащ, сеньор. Садитесь, пожалуйста! Вот сюда, к огню.

С в я щ е н н и к. Вы из братства Санта-Эрмандад?

Н е и з в е с т н ы й. Да, я стрелок славного старого Толедского братства Санта-Эрмандад. Вот уже много

лет боремся мы с преступлениями, а они, как нарочно, благодарю вас, все растут в числе. Прекрасное вино.

Э к о н о м к а.. Что же натворил наш идальго?

С т р е л о к. Сразу не перечислишь. Напал, например, на цирюльника.

Ц и р ю л ь н и к. Какой ужас!

С т р е л о к. И отобрал у него медный бритвенный тазик ценой в семь реалов.

С в я щ е н н и к. Зачем?

С т р е л о к. Заявил, что это золотой волшебный шлем, да и носит его на голове.

Ц и р ю л ь н и к. Какой ужас!

С т р е л о к. Ну ограничься он этим — ладно. Так нет. По случаю засухи крестьяне одной деревни — люди разумные, почтенные — решили собраться на предмет самобичевания. Благодарю вас. Прекрасное вино. О чем я? Ах, да. Подняли они, стало быть, статую Мадонны. Бичуют себя по-честному, не жалея плеток, вопят о грехах своих. Все чинно, разумно. Вдруг — раз. Ого-го-го! Топ-топ, скачет верхом наш сеньор-безумец. О-о-о! У-уй-уй! И разогнал бичующихся. Принял, нечестивец, Мадонну за некую пленную или, там, похищенную.

С в я щ е н н и к. Какой ужас!

С т р е л о к. Ужас, такой ужас, что, если бы не ваше вино, у меня, человека привычного, и то встали бы волосы дыбом. Напал на стадо баранов, крича, что это войско каких-то злых волшебников, и пастухи избили вашего сеньора чуть не до полусмерти. Да не плачьте, барышня! Ваш папаша — такой здоровяк, что встал после этого да и пошел.

П л е м я н н и ц а. Он не отец мой, а дядя.

С т р е л о к. Тем более не стоит плакать. Конечно, мы понимаем, что он не в себе. Однако есть сумасшедшие в свою пользу, а ваш сеньор безумствует себе во вред. А может, достаточно? Впрочем, наливайте. Чего вы кладете мне в сумочку? Пирог да кошелек? А зачем? Ну, впрочем, воля ваша. С дамами не спорю, ха-ха-ха! Беда в

том, что он сумасшествует как-то... как-то этак... Жалуются многие! У меня к вам такой совет. Заманите вы его домой, как птичку в клетку. Похитрей. Тут, мол, угнетенные завелись. Цып-цып, на помощь. А как он войдет, раз — и на замок.

Священник. Вы правы, добрый человек. Так мы и сделаем.

Стрелок. Да, я прав. Простой стрелок — а всегда прав. Благодарю вас. Сеньора племянница и вы, сеньора, глядите веселее. Я ваш слуга. В среду на будущей неделе будут одну еретичку душить железным ошейником. Милости просим. Только скажите: Алонзо — и вам местечко на балконе над самой виселицей. Пожалуйста! А в субботу жечь будем ведьму. Милости просим, пожалуйста, в самый первый ряд, сразу за стражей. А сеньора Дон Кихота цып-цып-цып — и в клеточку. И все будет славненько, и все будут довольны.

Уходит.

Священник в волнении вскакивает с места:

— Нельзя терять ни минуты времени. Добрый человек дал прекрасный совет.

Цирюльник. Научно говоря, следует начать с уничтожения книг.

Дверь в библиотеку Дон Кихота снята с петель. Священник и цирюльник в фартуках работают прилежно, закладывают ход в библиотеку кирпичами, замазывают известью.

Экономка пристроилась возле. Шьет.

Племянница сидит на скамеечке, держит в руках маленькую книжечку в кожаном переплете. Глядя в нее, спрашивает, как учительница ученика, то священника, то цирюльника.

Племянница. Проверим теперь с самого начала. Вот встречаете вы дядю на дороге. И тогда...

С в я щ е н н и к. Тогда я надеваю маску, а мастер Николас — бороду. Он становится на колени, а я стою возле и низко кланяюсь.

П л е м я н н и ц а. Так. И вы говорите...

Ц и р ю л ь н и к *(торжественно)*. О Дон Кихот Ламанчский! Помогите самой безутешной и обездоленной принцессе на свете. *(Естественным голосом.)* Ну вот, слава богу, последние кирпичи положены — и замурована окаянная библиотека!

С в я щ е н н и к. Когда известь высохнет, никто не найдет, где тут была дверь! Теперь только бы нам разыскать поскорее сеньора и вернуть его домой. А уж из дома мы его не выпустим.

Э к о н о м к а. Да он и сам не уйдет, раз эти ядовитые книги запрятаны словно в склепе. Теперь я вижу, сеньор священник и сеньор цирюльник, что вы настоящие друзья. Если вам удастся заманить бедного идальго в клетку, то я буду считать вас просто святыми людьми!

Раннее утро.

Дон Кихот и Санчо Панса едут по большой дороге.

Рыцарь оглядывается, привстав на стременах.

Ищет подвигов.

А Санчо занят совсем другим делом. Он считает что-то про себя на пальцах, шевеля губами, наморщив лоб, подымая глаза к небу. На повороте дороги оглядывается Дон Кихот на своего спутника и замечает его старания:

— Что ты там бормочешь?

— Я считаю, сколько мы с вами в пути, сеньор.

— Ну и сколько выходит?

— Если по колотушкам считать, да по синякам, да по ушибам, да по всяким злоключениям, то двадцать лет, никак не менее.

— Рыцари не считают ран!

— А если считать по-христиански, от воскресенья до воскресенья, то все равно получится достаточно долго.

Где же, сеньор, простите меня, дерзкого, тот остров, где я стану губернатором? Все деремся мы да сражаемся, а награды и не видать.

— Чем я виноват, что искалечил Фрестон души человеческие и омрачил их разум куда страшнее, чем полагал я, сидя дома...

Рыцарь вздрагивает и обрывает свою речь.

Берет копье наперевес.

Поправляет бритвенный тазик на своих седых волосах.

Звон цепей раздается впереди на дороге. Из-за холма выходят люди числом около дюжины, нанизанные, словно четки, на длинную железную цепь. Конвойные сопровождают скованных — двое верховых с мушкетами и двое пеших со шпагами и пиками.

Дон Кихот ставит коня поперек дороги, загораживая путь всему шествию.

Д о н К и х о т. Кто эти несчастные?

К о н в о й н ы й. Это каторжники, принадлежащие его величеству королю. Ведем мы их на галеры.

Д о н К и х о т. За что?

К о н в о й н ы е. Расспросите их сами, пока мы напоим коней. Для этих господчиков главное удовольствие — распространяться о своих мерзостях.

Конвойные направляют коней к каменной колоде, вделанной в землю невдалеке от обочины дороги.

Каторжники весело рассматривают Дон Кихота. Посмеиваются. Он подъезжает к первому из них.

Д о н К и х о т. За какие грехи попали вы в такую беду, бедняга?

1-й к а т о р ж н и к (громко и торжественно). Меня погубила любовь (тихо) к корзине с бельем. (Громко.) Я прижал ее, мою любимую, к сердцу. (Тихо.) А хозяйка корзины подняла вой. (Громко.) И злодеи разлучили нас.

Д о н К и х о т. Проклятие! А вас что привело на галеры? Неужели тоже любовь?

2-й каторжник. Нет. Всего только нежность!

Дон Кихот. Нежность?

2-й каторжник. Да. Я неженка. Я не мог вынести пытки и сказал вместо «нет» — «да». И это коротенькое словечко принесло мне шесть лет каторги.

Дон Кихот. А вы за что взяты, сеньор?!

3-й каторжник. За то, что у меня в кошельке не нашлось десяти золотых дукатов. Найдись они вовремя — я оживил бы мозги адвоката и смягчил бы сердце судьи.

4-й каторжник. И на этом остановимся, сеньор. Вы повеселились, мы повеселились — и хватит.

Дон Кихот. Сеньоры конвойные! Я расспросил этих людей. Им не следует идти на галеры. Если бы у этих бедных были сильные покровители, судьи отпустили бы любого из них на свободу.

Каторжники шумят одобрительно.

— Правильно, как в Писании! Все понимает — уж не из каторжников ли он? Не найдется ли у вашей милости покровителя для нас?

Дон Кихот. Найдется!

Каторжники замолкают.

Дон Кихот. Я странствующий рыцарь. Я дал обет, что буду защищать обездоленных и угнетенных. Сеньоры конвойные! Я приказываю вам: отпустите несчастных!

Конвойный. Поправьте-ка тазик на своей голове, пока она цела, да ступайте ко всем чертям.

Дон Кихот. Сеньор, вы скотина!

И с этими словами Дон Кихот бросается на конвойного. Стремительность нападения приводит к тому, что враг валится на землю и остается лежать ошеломленный.

Поднимается облако пыли, скрывающее дальнейшие события. Слышен только рев каторжников, звон цепей. То здесь, то там в облаке появится на мгновение высокая фигура Дон Кихота, размахивающего мечом, и исчезнет.

Выстрел.

С дороги в поле из пыльного облака вылетают конвойные.

Мчатся без оглядки с поля боя.

Каторжники появляются у каменной колоды, разбивают свои цепи булыжниками, подобранными на земле. Распалась цепь, связывавшая их.

Каторжники ликуют, вопят, рычат, как дикие звери, прыгают, звеня цепями.

И тут к ним вдруг во весь опор подлетает Дон Кихот.

Каторжники и не глядят на него. Обнимаются и тут же награждают друг друга тумаками. Они опьянели от неожиданности пришедшей к ним свободы.

Д о н К и х о т. Друзья мои, погодите, послушайте меня.

1-й к а т о р ж н и к. Выкладывай.

Д о н К и х о т. Друзья мои, отправляйтесь немедленно туда, куда я вам укажу.

Каторжники успокаиваются сразу.

4-й к а т о р ж н и к. Там спрячут нас?

Д о н К и х о т. Нет! Я посылаю вас к даме моего сердца. Вы расскажете ей о подвиге, который я совершил в ее честь.

Каторжники разражаются хохотом.

3-й к а т о р ж н и к. Не дразни, укусим!

Д о н К и х о т. Друзья мои, я дал вам свободу, неужели вы так неблагодарны, что откажете мне!

4-й к а т о р ж н и к. Сеньор, вы знаете, что такое братство Санта-Эрмандад? Они схватят нас!

Д о н К и х о т. Благодарность сильнее страха.

6-й к а т о р ж н и к. Благодарность, благодарность! Освободи ты одного меня — я бы поблагодарил. А ты — всех разом!

7-й к а т о р ж н и к. Устраиваешь побег, а правил не знаешь.

8-й к а т о р ж н и к. Уже небось во всех церквах бьют в набат...

9-й к а т о р ж н и к. Что у тебя под бритвенным тазиком? Голова или тыква?

Д о н К и х о т. Я заставлю вас быть благодарными!

4-й к а т о р ж н и к. Сеньор, полегче! Мы — народ битый!

Д о н К и х о т. Я для вашей пользы...

10-й к а т о р ж н и к *(великан звероподобного вида).* Бей его, он сыщик!

Швыряет в Дон Кихота камнем, сбивает с него тазик.

С а н ч о. Опомнись! Какой же он сыщик — он освободил вас!

10-й к а т о р ж н и к. Так когда это было? С тех пор продался. Бей его!

Камни летят в Дон Кихота градом.

Темнеет.

По дороге двигается шажком Росинант. Дон Кихот с перевязанной головой старается усидеть, держится прямо на своем высоком седле.

Санчо плетется следом.

Далеко-далеко впереди, за деревьями, показываются стены и крыши.

С а н ч о. Сеньор! Скоро доплетемся мы с вами до постоялого двора. Об одном прошу я вашу милость — не признавайтесь ни хозяину, ни постояльцам, что мы пострадали от побоев. Почему? А потому что люди, как увидят побитого, норовят подбавить еще. Был бы калека, а обидчики найдутся. Кто убог, того и валят с ног. Кто слаб и болен, тем и заяц недоволен. Вы поняли меня, сеньор?

Д о н К и х о т. Я слышу тебя словно бы издали, так у меня звенит в ушах.

Санчо взглядывает на хозяина и вдруг вскрикивает во весь голос.

Д о н К и х о т. Что с тобой?

С а н ч о. Взглянул я на вас, какой вы бледный да жалостливый, и пришла мне мысль в голову. И я даже закричал от удивления и печали. Мне в голову пришла

мысль совсем рыцарская, ваша милость. Вот где чудо. Ах ты... Ох ты... Подумайте! Ах-ах-ах! Мысль!

Д о н К и х о т. Говори какая!

С а н ч о. А такая, что следует вам к вашему славному имени Дон Кихот Ламанчский прибавить прозвище: Рыцарь Печального Образа.

И Дон Кихот отвечает запинаясь, очень тихо:

— Хорошо, братец... Да будет так. Рыцари былых времен.. носили прозвища. Кто звался Рыцарем Пламенного Меча. А кто — Рыцарем Дев. Был Рыцарь Смерти. А я буду Рыцарем Печального Образа. Мне чудится, что мудрец, который напишет когда-нибудь историю моих подвигов, вложил эту мысль... в твою голову, потому что... моя... очень уж шумит. Вот и замок.

С а н ч о. Что вы, сеньор! Это постоялый двор.

Д о н К и х о т. А я ручаюсь тебе, что это заколдованный замок.

С а н ч о. Пусть мой Серенький пропадет навеки, если это не постоялый двор!

Д о н К и х о т. Замок!

С а н ч о. Двор!

Д о н К и х о т. Замок!

С а н ч о. Сеньор! Нас поколотили сегодня мастера своего дела, вот и чудится вам невесть что!

Шум, обрывки веселой музыки, песен, стук копыт по настилу конюшни.

У ворот постоялого двора две девицы весьма легкомысленного вида вглядываются пристально в приближающихся путников.

1-я д е в и ц а. Если и эти гости не захотят иметь с нами дела — мы пропали.

2-я д е в и ц а. Неужели дойдем мы до такого срама, что, как старухи, будем расплачиваться за ужин и ночлег собственными денежками?

Дон Кихот, стараясь держаться прямо на своем высоком седле, приближается к воротам постоялого двора.

Санчо следует за рыцарем.

Д о н К и х о т. *(салютуя мечом).* Благородный владелец замка выслал навстречу нам знатных девиц. О сеньориты! Если когда-нибудь понадобится рыцарь для защиты вашей невинности, прикажите — и я умру, охраняя вашу честь.

Девицы переглядываются и бросаются бежать, фыркая от сдерживаемого смеха.

Громче обрывки музыки, топот копыт по настилу конюшни. Крытая галерея на тонких столбах идет вдоль всего второго этажа. Под галереей, как под навесом, кипит жизнь. Четверо игроков дуются в карты. Зрители молча глядят, столпившись вокруг.

1-й и г р о к. Клянусь честью, если ты и эту карту побьешь, то я тебя зарежу.

2-й и г р о к. Ладно, эту не побью, раз уж ты не умеешь играть по-благородному.

Зубодер со щипцами в руках кричит, уговаривая пациента, который сидит на скамье с видом гордым и надменным, крепко сжав губы.

З у б о д е р. Я дергал зубы и турецкому султану, и китайскому богдыхану, и старшему писцу нашего губернатора. И все благодарили. Богдыхан даже просил еще вырвать парочку, до того ему понравилось мое мастерство. Откройте рот, сударь!

П а ц и е н т *(сквозь слезы).* Если мужчина сказал нет, значит, нет!

Жена пациента. Если бы ты один страдал от зубной боли, я бы могла терпеть. Но ты весь дом замучил. Открой рот, тебе говорят!

П а ц и е н т. Если мужчина сказал нет, значит, нет!

Мариторнес, здоровенная служанка, сильная, как мужчина, стирает белье, а подруга нашептывает ей на ухо что-то, видно, очень интересное, потому что Мариторнес слушает с увлечением, сияя.

Вот ее багровое мокрое лицо показывается из пара.

Мариторнес. А он?

Служанка продолжает шептать.

Мариторнес. А ты?

Служанка продолжает шептать.

Мариторнес. А он?

Служанка продолжает шептать.

Мариторнес. Ну и напрасно. Я еще ни разу в жизни не нарушила слова. Если я говорю мужчине, что приду, значит, приду, хотя бы весь свет обрушился на мою голову. Да и то сказать — чем еще утешаться нам на земле, пока мы не попадем в рай.

Две девицы с хохотом влетают во двор.

Пищат наперебой:

— Скорее, скорее! Приехал до того потешный безумец, что можно умереть со смеху!

Карточный игрок. Не мешай людям работать.

1-я девица. Не все же работать, надо и повеселиться.

2-я девица. Таких сумасшедших и при дворе не найти! Он назвал нас невинными и знатными девицами.

Взрыв хохота.

Дон Кихот, пошатываясь, входит во двор.

На него глазеют с жадностью, давясь от смеха, подталкивая друг друга. Зрители заполнили галерею, висят на перилах.

Дон Кихот. Привет вам, друзья мои! Нет ли в замке несчастных, угнетенных, несправедливо осужденных или невольников? Прикажите — и я восстановлю справедливость.

Заглушенное хихиканье.

Рослый человек средних лет восклицает:

— Ну, это уж слишком!

Заглушенное хихиканье. Возгласы: «Тише, не мешайте».

Толстяк хозяин с ключами у пояса выбегает из недр своего заведения.

Дон Кихот. Судьба привела меня в ваш замок. Я Дон Кихот Ламанчский, Рыцарь Печального Образа.

Подавленный хохот. Шепот: «Тише, дураки! Спугнете. Испортите всю потеху».

Хозяин. Все это славно, господин рыцарь, а только одно худо. Все комнаты у меня заняты, и могу я предложить вам ложе только на чердаке.

Мариторнес *(вытирая руки)*. Идемте, сударь, я провожу вас. Чего смеетесь? Не видите, что ли, человек болен, еле на ногах стоит?

Чердак, который по всем признакам долго служил для склада соломы. В правом углу — кровать, сооруженная из попон и седел. В левом — четыре худо обтесанные доски, положенные на скамейки разной вышины.

На досках — тюфяк, тощий, как циновка. Клочья войлока торчат из дыр. Редкие и грубые простыни.

Дон Кихота уложили на ложе слева, Мариторнес облепляет пластырями его синяки и ссадины.

Мариторнес. Кто же это так избил беднягу?

Санчо. Никто, дочка. Господин мой просто слетел со скалы, и все тут. Его не побьешь! Нет! Он каждому даст сдачи!

Во дворе под навесами идет совещание.

Рослый человек. Нет, меня полагается слушать! Я судья! Я такое придумал, что от дурачка живого места не останется, со всей его справедливостью.

Перешептываются.

Человек, похожий на сову. Нет, давайте по-моему! Я человек деловой и до того истосковался дома, считая да подсчитывая, что в дороге нет большего потешника, чем я! К черту добродетельного рыцаря. По-моему...

Перешептываются.

1-я девица. Нет, мы сделаем так. Проклятая Мариторнес влюбляется в самых славных парней, и при этом совершенно бесплатно!

2-я девица. Давно пора проучить ее. Ее теперешний возлюбленный — погонщик мулов. Ночует тоже на чердаке. И мы...

Перешептываются, хохочут.

А Мариторнес на чердаке окончила перевязывать Дон Кихота.

Рыцарь задремал.

Санчо *(шепотом)*. Оставьте и мне немножечко этих пластырей, сеньора.

Мариторнес *(шепотом)*. И вы тоже слетели со скалы?

Санчо *(шепотом)*. Нет! Но меня всего перетряхнуло, когда увидел я, как падает мой господин.

Мариторнес *(шепотом)*. Это бывает! Я часто вижу во сне, что падаю с башни, и потом весь день хожу разбитая.

Грохот.

Санчо и Мариторнес оглядываются в ужасе.

Погонщик мулов — парень разбойничьего вида, косая сажень в плечах — стоит на пороге. Снова грохот. Оказывается, это погонщик в гневе ударяет ногой об пол.

Погонщик. Ты с ним шепчешься?

Мариторнес *(улыбаясь)*. Ах, дурачок! Ревнует! До чего же я это люблю — просто удивительно! Это уже значит не баловство, а настоящая любовь, благослови ее Господь!

Грохот.

Мариторнес. Иди вниз! Я сейчас прибегу к тебе. Мы говорим шепотом, чтобы не разбудить больного сеньора. Ступай, ступай, а то и я стукну, только не ногой, а кулаком, и не об пол — кое-кого по затылку. Иди!

Погонщик мулов удаляется угрюмо.

М а р и т о р н е с *(шепотом, интимно)*. Он знает, что я любого мужчину свалю ударом кулака. Конечно, приятно, когда ревнуют, но распускать вашего брата тоже не полагается.

С а н ч о. Это уж конечно. Уж на что я добродетелен, но и то шепот ваш очаровал меня, словно весенний ветерок.

Мариторнес показывает ему кулак.

С а н ч о *(разводя руками)*. Что верно, то верно!

Стемнело.

Дон Кихот спит.

Санчо храпит на циновке у его ног.

Вдруг входят четверо игроков в карты. Путь им освещают хихикающие девицы со свечами в руках. Четыре игрока берут шаткое ложе Дон Кихота. Переносят спящего рыцаря в правый угол. А ложе, устроенное на седлах и попонах, переволакивают влево.

Внизу, во дворе, горят фонарики, повешенные на сводах галереи. Кто ужинает и пьет вино, кто болтает со служанками. Посреди двора деловой человек, похожий на сову, пляшет фанданго, лихо управляясь с кастаньетами. Его партнерша — одна из девиц. Картежники играют на тамбурине. Деловой человек, несмотря на тяжелую свою фигуру, пляшет с настоящим мастерством, со страстью. Вдруг он подпрыгивает и останавливается.

Оркестр обрывает музыку.

Деловой человек. Красотка спешит к милому.

По лестнице пробегает наверх Мариторнес, закрывши голову платком.

1-я д е в и ц а. Играйте, играйте! А то она заподозрит недоброе.

Фанданго продолжается.

Д е л о в о й ч е л о в е к. Голубь поспешил к голубке. Сеньор судья, задержите его хоть на минутку. Дайте разгореться рыцарю!

С у д ь я *(погонщику)*. Подожди, друг! Правда, что купил ты мула с таким норовом, что никто не хочет нанимать его?

П о г о н щ и к. Чистая правда, ваша милость. Он до того довел меня, что и мой нрав стал просто дьявольским.

С у д ь я. Присядь на минутку. Обсудим, как помочь твоему горю.

Фанданго, как и подобает этому танцу, все убыстряется.

Мариторнес входит на чердак. Направляется в правый угол, туда, где спит теперь Дон Кихот. Она нащупывает во тьме руку спящего.

М а р и т о р н е с. Так ты здесь уже, бедняжка? Опередил меня, дурачок? А я думала, что ты все работаешь, наказываешь своих мулов за непослушание. Что с тобой? Почему ты обнимаешь меня так осторожненько?

Д о н К и х о т. Графиня! Я столь разбит и изломан, что боль мешает мне полностью ощутить радость от вашей высокой милости.

М а р и т о р н е с. Что с тобой? Почему ты так вежлив? Это ты?

Д о н К и х о т. Вежливость моя вызвана верностью. Я люблю другую. И когда боль перестает отрезвлять меня — рыцарская верность разрешает мне только это отеческое объятие.

М а р и т о р н е с. Так вот это кто? Как я попала к вам? Неужели я сегодня заработалась до того, что не могу отличить правую руку от левой? Простите, сеньор, я ошиблась койкой!

Д о н К и х о т. Не уходите! Сеньора! После побоев так радостно прикосновение вашей руки. Так сладостно. Верность вынуждает меня быть простаком. И все-таки подождите. После злобы и неблагодарности — ласка и милость. Не уходите. Молю. Я все время один, против всех. Не уходите!

М а р и т о р н е с. Я не ухожу.

Вопль:

— Потаскуха!

Страшный удар обрушивается на голову Дон Кихота. Он вскакивает с воплем:

— Вперед, за Дульсинею Тобосскую!

Топот и хохот за дверьми.

Санчо просыпается и вскакивает с воплем:

— Пожар! Горим!

Чердак наполняется восторженными зрителями с фонариками в руках.

Хохот и гогот.

Полуодетый Дон Кихот сражается с погонщиком. В руках у рыцаря меч, а у погонщика — бич. Дон Кихот после любовного свидания исцелен от всех своих ран и недугов. Ни один удар бича не задел его. Он увертывается, и прыгает, и нападает.

Но вот ошеломленная Мариторнес приходит в себя.

Она вырывает у погонщика бич, толкает рослого малого так, что он падает. Наступает на зрителей с фонариками:

— Не трогайте сеньора! Уходите!

С у д ь я. Как ты смеешь, дерзкая!

Д е л о в о й ч е л о в е к. Орет как благородная.

Мариторнес наступает на хохочущих зрителей, и они, нисколько не теряя веселого настроения, протискиваются на лестницу.

Хохот и суета за дверью.

Д о н К и х о т. Санчо! Видишь ты теперь, что такое благородная кровь? Дочь графа, владельца замка, сражалась за меня, как рыцарь!

С а н ч о. Ваша милость, это не дочь хозяина, а его служанка!

Д о н К и х о т. И тебя!

С а н ч о. Пресвятая Дева! Что «и меня»?

Д о н К и х о т. Заколдовал проклятый Фрестон. Очнись! Мы в заколдованном замке. Слышишь шорох, шепот, дьявольское хихиканье за дверью? Берегись, Фрестон! Вперед, вперед, ни шагу назад!

Рыцарь со шпагой в руках выбегает из двери и тотчас же валится со всех ступеней крутой лестницы. Веревка была натянута в самых дверях.

Фонарики прыгают в руках хохочущих.

Дон Кихот *(лежа на полу)*. Не верю! Сеньоры, я не верю злому волшебнику! Я вижу, вижу — вы отличные люди.

Он поднимается и идет.

Дон Кихот. Я вижу, вижу — вы отличные, благородные люди, и я горячо...

Хитро укрепленный кувшин с ледяной водой опрокидывается, задетый рыцарем, и обливает его с головы до ног.

Дон Кихот (упавшим голосом). Я горячо люблю вас. Это самый трудный рыцарский подвиг — увидеть человеческие лица под масками, что напялил на вас Фрестон, но я увижу, увижу! Я поднимусь выше...

Люк открывается под ногами рыцаря, и он проваливается в подвал.

Наверху полное ликование, доходящее до безумия. Отец семейства прыгает, как мальчик, судья визжит от хохота, как женщина. Девицы обнимают, обессилев от смеха, того, кто попадется под руку.

А Дон Кихот стоит в подвале внизу с обнаженным мечом в руках.

Оглядывается.

И видит мехи с вином, висящие на стенах.

При неровном свете, падающем через открытый в потолке люк, они кажутся похожими на дурацкие толстогубые смеющиеся головы великанов.

Дон Кихот. Ах, вот вы где, проклятые! Довольно смеяться над подвигами. Думаете, мне легко повторять истины, знакомые каждому школьнику, да еще и драться

за них? А иначе ничего не добьешься. Поняли? Нет? Вы всё смеетесь? Умрите же!

И Дон Кихот бросается в бой.

Вино потоком льется из разрубленных мехов.

Дон Кихот стоит по колено в вине, пошатываясь.

Д о н К и х о т. Помоги мне, Санчо. Я победил, но мне нехорошо. Санчо, Санчо, где ты?

А Санчо посреди двора взлетает чуть не до самого неба. Развеселившиеся гости подбрасывают его на одеяле.

С а н ч о. Ваша честь! Погибаю! Укачивают! Помогите! Спасите!

Большая дорога.

Дон Кихот, с пластырями на еще более исхудавшем лице, и Санчо, бледный и мрачный, едут рядышком.

Д о н К и х о т. Теперь ты понимаешь, Санчо, что этот замок, или постоялый двор, действительно очарован. И это единственное наше утешение. Над нами потешались так жестоко выходцы с того света.

С а н ч о. И хотел бы я порадовать вашу милость, да не могу. Подбрасывали меня на одеяле самые обыкновенные люди.

Д о н К и х о т. Не клевещи!

С а н ч о. Клеветать я терпеть не могу, но и сваливать на призраков то, что натворили люди, не согласен. Люди, люди безобразничали, люди с самыми обыкновенными именами. Одного звали Педро Мартинес, другого — Теперно Эрнандес, а самого хозяина зовут Хуан Паломеке Левша. А волшебник Фрестон на этом постоялом дворе и не ночевал. Дайте мне только стать губернатором, я сюда еще вернусь.

Д о н К и х о т. Молчи!

С а н ч о. Молчу.

Едут молча.

И вдруг лицо рыцаря оживляется. Глаза рыцаря приобретают прежний вдохновенный блеск.

Два существа, словно сошедшие со страниц рыцарского романа, выбегают из кустов на середину дороги. Лицо одного скрыто густой черной бородой, падающей до колен. Лицо второго скрыто маской. Санчо плюет и крестится:

— Этого только не хватало. Сорвались с крючка и прямо на сковородку.

Человек в маске *(шепотом)*. Вам начинать, сеньор Цирюльник.

Цирюльник, касаясь подвязанной бородой дорожной пыли, падает на колени, низко кланяясь Дон Кихоту. Священник в маске, сняв шляпу, замирает в почтительной позе.

Цирюльник. О доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Помогите самой безутешной и обездоленной принцессе на свете.

Санчо. Господи! Принцесса с бородой!

Священник. Принцессы здесь нет, о славный оруженосец не менее славного героя! Перед вами ее смиренные посланцы.

Дон Кихот. Встаньте. Мне больно, когда передо мной стоят на коленях.

Цирюльник *(поднимаясь)*. О рыцарь! Если доблесть вашей могущественной длани соответствует величию вашей славы, то помогите обездоленной принцессе Микомиконе...

Священник *(украдкой заглядывает в книжку)*. Которая просит из далекой Эфиопии помочь в ее горестях.

Дон Кихот. Я сделаю все, что в человеческих силах

Священник. Следуйте за нами, о славный рыцарь!

Посреди поляны стоит воз, запряженный волами, на котором укреплена высокая клетка. Не птичья и не

для животных, а высокая — в ней человек может встать во весь рост. Волы стоят, сонно опустив головы, жуют жвачку.

Посланники Микомиконы сворачивают с дороги на поляну.

За ними — Дон Кихот. Встревоженный Санчо ведет следом под уздцы Росинанта и Серого.

Подойдя к клетке, священник распахивает дверцы.

Священник. О храбрый рыцарь! Принцесса Микомикона зачарована великаном, по имени Пандафиландо Свирепоглазый. Храбрец, вошедший в клетку, возьмет чары на себя и освободит принцессу.

Цирюльник. О рыцарь! Спаси несчастную, войди в клетку.

Санчо. А надолго?

Дон Кихот. Санчо, не мешай!

Санчо. Ваша милость, ведь это клетка! Принцесса принцессой, но лезть в клетку — дело нешуточное! Признавайтесь, на сколько времени туда лезть! Отвечайте, эфиопы!

Священник. Храбрец, вошедший в клетку, должен лежать в ней спокойно и ехать покорно в места, предуказанные судьбой. Только тогда несчастная освободится от лап чудовища.

Санчо. А ну-ка, покажите нам бумаги!

Цирюльник. Какие такие бумаги?

Санчо. Что вы в самом деле эфиопы, присланы принцессой и...

Дон Кихот приходит в ярость и замахивается на Санчо копьем, словно перед рыцарем не верный его оруженосец, а злейший враг.

Дон Кихот. Негодяй! Девушка умоляет о помощи, а ты требуешь бумаги, словно королевский чиновник.

И рыцарь бросается в клетку одним прыжком.

Священник. Слава тебе, храбрый рыцарь!

Санчо. Слава, слава! Чего сами не полезли в клетку! Свиньи вы! Чужими руками жар загребать!

Ц и р ю л ь н и к. Вперед, вперед!

Телега со скрипом двигается в путь.

Первые осенние листья, кружась, падают на дорогу.

С а н ч о. Хоть бы соломки догадались подстелить! Ваша милость, а ваша милость, вам небось жестко в клетке-то?

Д о н К и х о т. Отстань, дурак, я зачарован!

Телега медленно ползет по дороге.

Вечер.

Горит костер.

Волы пасутся на лугу.

Дон Кихот ест похлебку из миски, которую держит возле самой клетки Санчо Панса. Рыцарь степенно работает ложкой, просовывая ее между прутьями своей тюрьмы.

С а н ч о. Ваша милость! Как слышал я с детства, зачарованные и не пьют, и не едят! О, боюсь, что не зачарованы вы, а обведены вокруг пальца какими-то людьми, которым не нравятся наши подвиги.

Дон Кихот *(спокойно и уверенно, продолжая есть).* Нет, Санчо. Я зачарован. Я это знаю потому, что совесть моя спокойна, не грызет меня за то, что сижу я да посиживаю в клетке, когда стольким несчастным нужна моя помощь. Много-много лет этого со мной не бывало. Я зачарован и поэтому и ем с охотой, и сплю спокойно, как ребенок.

Дон Кихот спит в клетке безмятежно, как ребенок. Воз не спеша двигается по дороге. Прохладное осеннее утро. Священник и цирюльник шагают впереди. Санчо ведет вслед за клеткой Росинанта и Серого.

С а н ч о. Клянусь честью, или я тоже зачарован, или приближаемся мы к нашему родному селению.

Ворота знакомой усадьбы.

Послы принцессы входят во двор.

Воз въезжает следом за ними.

Санчо робко останавливается в воротах.

Распахивается дверь.

Экономка и племянница выбегают, плача и смеясь, из дома.

Дон Кихот вскакивает. Становится во весь рост в своей клетке. Бледнеет. Оглядывается в страхе, ничего не понимая, словно зверь в ловушке.

Д о н К и х о т. Принцесса...

Э к о н о м к а. Ах, ваша милость, ваша милость, никаких принцесс тут нет. Наше дело маленькое, стариковское. Пожалуйте домой, пожалуйте в постельку! Спаленка ваша протоплена, белье постелено чистое!

П л е м я н н и ц а. Дядя, дядя, что вы глядите так, будто попали в плен? Это я, я — ваша родная племянница! Вы все жалеете чужих — пожалейте и меня, бедную сироту.

Э к о н о м к а. Пожалуйте, пожалуйте сюда, мастер Николас, сеньор лиценциат, помогите!

Священник, уже без маски и без маскарадного плаща, и цирюльник, без бороды, открывают дверцы клетки, ведут рыцаря в дом под руки.

Когда они скрываются, Санчо шумно вздыхает. Расседлывает Росинанта. Снимает с него узду. Ударяет слегка. И Росинант не спеша, степенно направляется в конюшню.

Снова вздыхает Санчо.

Садится верхом на Серого.

— Говорил я, надо спросить у них бумаги!

Уезжает восвояси.

А Дон Кихот стоит посреди кухни, где весело пылает очаг, и близкие окружают его.

Э к о н о м к а. Сеньор, сеньор! Посмотрите, на что вы стали похожи! Злоключения согнули вашу спину, а вы еще мечтаете выпрямить все на свете. Отдохните, сеньор! Мы вас вылечим! Мы никуда вас больше не отпустим.

П л е м я н н и ц а. Дядя, скажите хоть одно словечко! Ведь у меня, бедной, никого больше нет на свете!

Д о н К и х о т. Здравствуй, дитя мое. Я еще поговорю, поговорю с тобой! Я только зайду в свою библиотеку, почитаю, соберусь с мыслями.

Дон Кихот поднимается по лестнице.

Все идут следом за ним.

И рыцарь останавливается пораженный.

Дверь в библиотеку исчезла.

Стена, сплошная стена, без малейшего признака некогда бывшего входа, преграждает путь рыцарю.

Он шарит по ней руками, словно слепой.

Поворачивается к друзьям.

Д о н К и х о т. Это Фрестон?

Э к о н о м к а. Он, ваша честь, кому же еще, он, безобразник. Прилетел, нашумел, надымил и унес всю вашу любимую комнату. И все книжки.

Д о н К и х о т. Все...

Пошатнувшись, опускается он на пол.

Священник и цирюльник едва успевают подхватить его на руки.

Спальня Дон Кихота.

Зимний день. Снег и дождь за окнами. Рыцарь лежит в постели похудевший и побледневший, в ночном колпаке. Против него в кресле молодой, курносый и большеротый человек с живыми глазами.

Он пристально, по-докторски смотрит на Дон Кихота.

— Вы узнаете меня?

Д о н К и х о т. Как не узнать! Вы — Самсон Карраско, сын Бартоломео Карраско из нашего селения. Вы студент. Учитесь в Саламанке.

К а р р а с к о. Заодно поздравьте себя самого, сеньор! Если бы не я, вы хворали бы и по сей день. Я в бытность мою студентом интересовался всеми науками на свете.

И приехал нашпигованный последними медицинскими открытиями, словно бараний окорок чесноком.

Д о н К и х о т. И вы занялись моим лечением?

К а р р а с к о. По просьбе вашей племянницы, сеньор Кехано. Подумать только — эти неучи пускали вам кровь по нечетным числам, тогда как современная наука установила с точностью, что следует это делать только по четным! И вот вы здоровы, густота крови исчезла, а следовательно, и понятия здравы. Вы, конечно, никуда теперь не уедете из дому.

Д о н К и х о т. Уеду, едва окрепну.

К а р р а с к о. Сеньор!

Д о н К и х о т. Промедление нанесет ущерб всему человеческому роду.

К а р р а с к о. Сеньор, послушайте человека, имеющего ученую степень! Времена странствующего рыцарства исчезли, прошли, умерли, выдохлись! Пришло новое время, сеньор! Новое! Тысяча шестьсот пятый год! Шутка сказать!

Д о н К и х о т. И в этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, как сто лет назад, несчастные зовут на помощь, а счастливцы зажимают уши. И только мы, странствующие рыцари...

К а р р а с к о. А сколько вас?

Д о н К и х о т. Не мое дело считать! Мое дело — сражаться!

К а р р а с к о. Не выпущу я вас, сеньор! Да, да! Не выпущу! Последние достижения науки требуют, чтобы с безумцами обращались сурово. Я запру ворота. Я буду сторожить вас, как цепной пес. Я спасу доброго сеньора Кехано от безумца Дон Кихота.

Весенний вечер.

Под окнами спальни рыцаря распустилось старое миндальное дерево. Цветущие ветки заглядывают в самое окно его.

Дон Кихот беседует с Санчо, спрятавшимся на дереве. Из цветов миндаля выглядывает красное широкое лицо оруженосца.

Дон Кихот. Санчо, не могу я больше ждать! Мне грозит безумие, если мы не отправимся в путь!

Санчо. Понимаю вас, сеньор! Уж на что я — грубая душа, толстое брюхо, а тоже, как пришла весна, не сидится мне дома. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же — бьет по морде нуждишка-нужда, и все по одному месту! В дороге попадало нам, случалось, — так ведь все по-разному!

Дон Кихот. Не знаю, колдовство ли это или совесть, но каждую ночь зовут меня несчастные на помощь.

Санчо. Трудно им, стало быть, приходится!

Дон Кихот. Завтра на рассвете будто нечаянно проезжай мимо ворот.

Санчо. Слушаю, сеньор!

Исчезает в цветах миндаля.

Глубокая ночь.

Полная луна стоит в небе.

Тени цветущих миндальных ветвей бегают по полу и по стенам, словно какие-то живые существа проникли к рыцарю в спальню.

Рыцарь не спит. Глаза его блестят. Он прислушивается. Вдруг в шуме ветра, в шелесте ветвей раздается явственный вздох.

Рыцарь приподнимается на локте.

— Кто это?

— Бедный старик, которого выгнали из дому за долги. Я сплю сегодня в собачьей конуре! Я маленький, ссохся от старости, как ребенок. И некому вступиться за меня.

Стон.

Дон Кихот. Кто это плачет?

— Рыцарь, рыцарь! Мой жених поехал покупать обручальные кольца, а старый сводник ломает замок в моей комнате. Меня продадут, рыцарь, рыцарь!

Дон Кихот садится на постели. Детские голоса:

— Рыцарь, рыцарь, нас продали людоеду! Мы такие худые, что он не ест нас, а заставляет работать. Мы и ткем на него, и прядем на него. А плата одна: «Ладно уж, сегодня не съем, живите до завтра». Рыцарь, спаси!

Дон Кихот вскакивает.

Звон цепей.

Глухие, низкие голоса:

— У нас нет слов. Мы невинно заключенные. Напоминаем тебе, свободному: мы в оковах!

Звон цепей.

— Слышишь? Ты свободен, мы в оковах!

Звон цепей.

— Ты свободен, мы в оковах!

Дон Кихот роется под тюфяком. Достает связку ключей. Открывает сундук в углу.

Там блестят его рыцарские доспехи.

Рассветает.

Дон Кихот в полном рыцарском вооружении стоит у окна.

Медный бритвенный тазик сияет на его седых волосах.

Издали-издали раздается ржание коня.

Д о н К и х о т *(негромко)*. Иду, Росинант!

Он шагает через подоконник.

Повисает на руках, прыгает в сад.

Бежит большими, но беззвучными шагами в конюшню.

Появляется с оседланным Росинантом.

Ведет коня к воротам. И вдруг раздается вопль:

— Тревога! Тревога!

Со скамейки у забора вскакивает Самсон Карраско. Он спал там, завернувшись в плащ.

К а р р а с к о *(весело)*. Сеньор, сеньор! Вы упрямы, но и я тоже. Тревога, тревога!

Д о н К и х о т *(замахивается копьем)*. Пусти!

К а р р а с к о. Сеньор! Можно ли убивать знакомых? Вы знали меня с детства! Тревога, тревога!

Крики:

— Дядя, дядя, сеньор, сеньор!

Экономка и племянница выбегают из дома. Обнимают колени рыцаря.

— Не губите меня, дядя. Не губите себя, сеньор!

Рыцарь опускает голову.

Санчо забрался на спину Серого, наблюдает за происходящими событиями через высокий забор усадьбы.

С а н ч о. Все. Никуда нам не уехать. С великаном — это пожалуйста, это мы справимся. А поди-ка со своими!

Э к о н о м к а. Сеньор, сеньор! Идите домой! Утро холодное! Куда там ехать в наши годы! Идемте, я напою вас парным молоком, и все кончится хорошо.

К а р р а с к о. И в самом деле, сеньор, идемте.

Дон Кихот стоит неподвижно.

К а р р а с к о. Чего вы ждете? Чуда? Не бывает чудес в тысяча шестьсот пятом году, сеньор. Господи, что это?

Гремит труба.

Хриплый голос кричит за воротами:

— Где тут живет этот… как его… знаменитый рыцарь — Дон Кихот Ламанчский!

Санчо соскакивает с седла:

— Сюда, ребятки! Вот где он живет. Вовремя вы пожаловали.

Со скрипом открываются ворота усадьбы. За воротами — Санчо.

Конные солдаты, хмурые и утомленные, во главе с седым угрюмым офицером въезжают во двор усадьбы Дон Кихота.

С а н ч о. Вот-вот, сюда! Заступиться за кого-нибудь требуется? Схлестнуться с волшебниками, там, или

великанами? Сделайте милость! Мы застоялись, так и понесемся на врагов рода человеческого.

О ф и ц е р. Постой ты. Сбегай лучше за ведром да напои моего коня. Вы, сеньор, Дон Кихот Ламанчский?

Д о н К и х о т. Да, это я, сеньор.

О ф и ц е р. Этого... как его... Тьфу ты пропасть, не привык я к подобным поручениям. Прекрасная сеньора, влюбленная в вас, просит о чести быть допущенной в ваш замок. Тпру ты, проклятая! Стой смирно, мне и без тебя тошно. Что прикажете ответить ей?

Д о н К и х о т. Просите!

О ф и ц е р *(трубачу)*. Труби, дурак!

Трубач трубит. И тотчас же во двор въезжает неторопливо всадница на белоснежном, но забрызганном грязью коне. Оседлан конь серебряным седлом. Сбруя зеленая. Даму сопровождает богатая свита.

Дама открывает вуаль — и мы видим прекрасную Альтисидору.

Д о н К и х о т. Вы приехали посмеяться надо мною?

А л ь т и с и д о р а. Пока что мне не до смеха. Дорога в ваше селение отвратительна. Впрочем, забудем это. Любовь толкает женщину и на худшие дорожки.

Звуки трубы подняли все селение.

Двор полон. И священник с цирюльником прибежали, задыхаясь.

А л ь д о н с а *(спутнику своему, здоровенному парню)*. Это и есть Дульсинея Тобосская?

Парень вместо ответа щиплет Альдонсу, сохраняя неподвижное выражение лица.

А л ь т и с и д о р а. Сеньор! Я рассказала нашему герцогу о храбрости вашей и верности. Желая своими глазами полюбоваться на знаменитого рыцаря, он прислал меня за вами. Вас ждут в загородном замке герцога.

К а р р а с к о. Сеньора!

С в я щ е н н и к. Сударыня, во имя неба!

Ц и р ю л ь н и к. Мы только третьего дня делали ему кровопускание.

А л ь т и с и д о р а. Желание герцога — закон. И почетный караул, если воле нашего повелителя будут противиться, станет грозным. Сеньор Дон Кихот, мы ждем вашего ответа.

Д о н К и х о т. Вперед!

Блистательная Альтисидора со свитой, Дон Кихот и Санчо Панса исчезли.

Угрюмый Карраско смотрит им вслед, сжав кулаки.

К а р р а с к о. Куда бы его ни увезли — я верну его домой! Мы в Саламанке и не такие шутки проделывали! Не плачьте, сеньора!

Дон Кихот Ламанчский и прекрасная Альтисидора скачут рядом, окруженные великолепной свитой.

Санчо отстал от сверкающей и сияющей кавалькады, трясется рысцой в облаке пыли, работает каблуками и локтями, торопя Серого.

И вдруг кони солдат, скачущих впереди, останавливаются, пятятся, насторожив уши, не слушаются повода. Забеспокоился и заплясал конь прекрасной Альтисидоры.

По дороге навстречу двигается повозка, украшенная флажками.

На повозке — огромный ящик, закрытый плетеными циновками.

Тяжел этот ящик — шесть пар мулов, запряженных цугом, с трудом волокут воз по дороге.

Из недр таинственного ящика раздается вдруг мощное рявканье.

Кони встают на дыбы — все, кроме Росинанта, соблюдающего горделивое спокойствие.

А л ь т и с и д о р а. Эй, погонщик! Чья это повозка и что ты в ней везешь?

П о г о н щ и к. Повозка моя собственная, сеньора, а везу я клетку со львом, которого губернатор Оранский посылает его величеству королю.

А л ь т и с и д о р а. Сними циновку.

П о г о н щ и к. Слушаю, сеньора,

Он выполняет приказание.

За толстыми прутьями клетки лежит, презрительно щурясь, огромный зверь. Кони пятятся — все, кроме Росинанта.

Санчо догоняет наконец своего хозяина.

С а н ч о. Смотрите-ка! Еще одного дурачка заманили в клетку! Какую принцессу едешь выручать, простак?

Лев рявкает в ответ лениво.

А л ь т и с и д о р а. Великолепный зверь. А ну-ка, сеньор! Покажите нам свою храбрость — сразитесь со львом.

С а н ч о. Что вы делаете, женщина! Не подзадоривать надо рыцарей, а успокаивать!

А л ь т и с и д о р а. Не бойся, деревенщина. Я лучше знаю господ мужчин. Они безудержны и храбры с дамами… Но львиные когти их отрезвляют… Ой, Пресвятая Богородица!

Взвизгнув, пришпоривает Альтисидора коня и вихрем уносится прочь. Вся блистательная свита рассыпается в разные стороны горохом.

Исчезает погонщик.

Санчо уползает в канаву.

Дон Кихот одним движением копья откинул тяжелую щеколду, закрывавшую дверцу клетки.

Она распахнулась.

И огромный зверь встал на пороге.

Смотрит пристально на Дон Кихота.

Санчо выглядывает из канавы, с ужасом следит за всем происходящим.

Д о н К и х о т. Что, мой благородный друг? Одиноко тебе в Испании?

Лев рявкает.

Д о н К и х о т. Мне тоже. Мы понимаем друг друга, а злая судьба заставляет нас драться насмерть.

Лев рявкает.

Д о н К и х о т. Спасибо, спасибо, теперь я совсем поправился. Но я много раздумывал, пока хворал. Школьник, решая задачу, делает множество ошибок. Напишет, сотрет, опять напишет, пока не получит правильный ответ наконец. Так и я совершал подвиги. Главное — не отказываться, не нарушать рыцарских законов, не забиваться в угол трусливо. Подвиг за подвигом — вот и не узнать мир. Выходи! Сразимся! Пусть эта сумасбродная и избалованная женщина увидит, что есть на земле доблесть и благородство. И станет мудрее. Ну! Ну же! Выходи!

Лев рявкает и не спеша отходит от дверцы. Затем поворачивается к Дон Кихоту задом и укладывается, скрестив лапы, величественно.

И тотчас же Санчо прыгает из канавы лягушкой, бросается к дверцам клетки. Захлопывает их и запирает на щеколду.

С а н ч о. Не спорьте, сеньор! Лев дело понимает! Такую Альтисидору и конец света не вразумит. Что ей наши подвиги? *(Кричит.)* Эй, эй! Храбрецы! Опасность миновала! И отныне Рыцарь Печального Образа получает еще одно имя: Рыцарь Львов.

Снова мчится пышная кавалькада по дороге.

За столом, покрытым темной бархатной скатертью, — герцогская чета.

И герцог, и герцогиня молоды. Может быть, немножко слишком бледны. Красивы и необыкновенно степенны и сдержанны. Никогда не смеются, только улыбаются: большей частью — милостиво, иногда —

насмешливо, реже — весело. Говорят негромко — знают, что каждое их слово будет услышано.

На столе перед герцогской четой бумаги.

Мажордом в почтительной позе выслушивает приказания своего повелителя.

Г е р ц о г. Праздник должен быть пышным и веселым. Приготовьте гроб, свечи, траурные драпировки.

М а ж о р д о м. Слушаю, ваша светлость.

Г е р ц о г и н я. Герцог, вы позабыли погребальный хор.

Г е р ц о г. Да, да, погребальный хор, благодарю вас, герцогиня. Веселиться так веселиться. *(Перебирает бумаги.)* Печальные новости утомили. Град выбил посевы ячменя. Многопушечный наш корабль с грузом рабов и душистого перца захвачен пиратами. Олени в нашем лесу начисто истреблены браконьерами. А нет лучшего утешения в беде, чем хороший дурак.

Г е р ц о г и н я. Да, да! Непритворный, искренний дурачок радует, как ребенок. Только над ребенком не подшутишь — мешает жалость.

Г е р ц о г. А дурака послал нам в утешение, словно игрушку, сам Господь. И, забавляясь, выполняем мы волю Провидения.

М а ж о р д о м. Спасибо, ваша светлость, за то, что вы поделились со мной столь милостиво мудрыми мыслями о дурачках.

Г е р ц о г. Известите придворных и пригласите гостей.

Позади герцогской четы появляется придворный духовник — человек могучего сложения, но с испитым лицом. Грубая челюсть. Высокий лоб. Он то закрывает свои огромные глаза, словно невмочь ему глядеть на грешников, то, шевеля губами, устремляет взгляд в пространство — не то молится, не то проклинает.

Появляются, кланяясь, придворные.

Тишина.

Все стоят неподвижно и степенно, как в церкви.

Не спеша появляется карлик, одетый в атлас и бархат, в коротком плаще, при шпаге. Как и герцогская чета, как и все придворные, держится он скучающе и сдержанно.

К а р л и к *(негромко, первому придворному)*. Дай золотой, а то осрамлю.

1-й п р и д в о р н ы й *(краем губ)*. Спешишь нажиться, пока новый шут не сбросил тебя?

К а р л и к. Не боюсь я нового шута, ибо новых шуток нет на свете. Есть шутки о желудке, есть намеки на пороки. Есть дерзости насчет женской мерзости. И все.

Негромкий перезвон колоколов.

М а ж о р д о м *(провозглашает)*. Славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский и его оруженосец Санчо Панса.

Альтисидора вводит Дон Кихота. Приседает. И отходит в сторону, смешивается с толпой придворных. Оттуда жадно вглядывается она в лица герцога и герцогини. Да и не она одна. Все напряженно глядят на герцогскую чету, стараются угадать, как приняты гости.

И только карлик, вытащив лорнет, внимательно, с интересом мастера, разглядывает Дон Кихота.

Г е р ц о г. Прелестен. Смешное в нем никак не подчеркнуто.

Г е р ц о г и н я. А взгляд, взгляд невинный, как у девочки!

Входит Санчо, встревожено оглядываясь.

Г е р ц о г *(любуясь им)*. Очень естественный!

Г е р ц о г и н я. Как живой.

Г е р ц о г. Горжусь честью, которую вы оказали мне, славный рыцарь. Мы в загородном замке. Этикет здесь отменен. Господа придворные, занимайте гостей.

1-я д а м а *(Санчо)*. Вы чем-то встревожены, сеньор оруженосец?

С а н ч о. Встревожен, сударыня.

1-я д а м а. Не могу ли я помочь вам?

С а н ч о. Конечно, сударыня. Отведите в конюшню моего осла.

Легкое движение. Подобие, тень заглушенного смеха.

Д о н К и х о т *(грозно)*. Санчо!

С а н ч о. Сеньор! Я оставил своего Серого посреди двора. Кругом так и шныряют придворные. А у меня уже крали его однажды…

Г е р ц о г и н я. Не беспокойтесь, добрый Санчо. Я позабочусь о вашем ослике.

С а н ч о. Спасибо, ваша светлость. Только вы сразу берите его за узду. Не подходите со стороны хвоста. Он лягается!

Еще более заметное подобие смеха.

Д о н К и х о т (поднимается). Я заколю тебя!

Г е р ц о г. О нет, нет, не лишайте нас такого простодушного гостя. Мы не избалованы этим. Сядьте, рыцарь. Вы совершили столько славных дел, что можно и отдохнуть.

Д о н К и х о т. Увы, ваша светлость, нельзя. Я старался, не жалея сил, но дороги Испании по-прежнему полны нищими и бродягами, а селения пустынны.

Легкое движение, придворные внимательно взглядывают на герцога, но он по-прежнему милостиво улыбается.

Г е р ц о г и н я. Дорогой рыцарь, забудьте о дорогах и селениях — вы приехали в замок и окружены друзьями. Поведайте нам лучше: почему вы отказали прекрасной Альтисидоре во взаимности?

Д о н К и х о т. Мое сердце навеки отдано Дульсинее Тобосской.

Г е р ц о г и н я. Мы посылали в Тобосо, а Дульсинеи там не нашли. Существует ли она?

Д о н К и х о т. Одному Богу известно, существует ли моя Дульсинея. В таких вещах не следует доискиваться дна. Я вижу ее такой, как положено быть женщине. И верно служу ей.

Г е р ц о г. Она женщина знатная?

Д о н К и х о т. Дульсинея — дочь своих дел.

Г е р ц о г. Благодарю вас! Вы доставили нам настоящее наслаждение. Мы верили каждому вашему слову, что редко случается с людьми нашего звания.

Духовник герцога, вдруг словно очнувшись, спустившись с неба, ужаснувшись греховности происходящего на земле, бросается вперед, становится перед самым столом, покрытым темной скатертью.

Д у х о в н и к. Ваша светлость, мой сеньор! Этот Дон Кихот совсем не такой полоумный, каким представляется. Вы поощряете дерзкого в его греховном пустозвонстве.

Герцог выслушивает духовника со своей обычной милостивой улыбкой. Только придворные поднимаются и стоят чинно, словно в церкви, украдкой обмениваясь взглядами.

Духовник поворачивается к Дон Кихоту.

Д у х о в н и к. Кто вам вбил в башку, что вы странствующий рыцарь? Как отыскали вы великанов в жалкой вашей Ламанче, где и карлика-то не прокормить? Кто позволил вам шляться по свету, смущая бреднями простаков и смеша рассудительных? Возвращайся сейчас же домой, своди приходы с расходами и не суйся в дела, которых не понимаешь!

Д о н К и х о т. Уважение к герцогской чете не позволяет мне ответить так, как вы заслуживаете. Одни люди идут по дороге выгоды и расчета. Порицал ты их? Другие — по путям рабского ласкательства. Изгонял ты их? Третьи — лицемерят и притворяются. Обличал ты их? И вот встретил меня, тут-то тебя и прорвало? Вот где ты порицаешь, изгоняешь, обличаешь. Я мстил за обиженных, дрался за справедливость, карал дерзость, а ты гонишь меня домой подсчитывать доходы, которых я не имею. Будь осторожен, монах! Я презрел блага мирские, но не честь!

Д у х о в н и к. О, нераскаянная душа!

Удаляется большими шагами.

Придворные переглядываются, едва заметно улыбаясь, осторожно подмигивая друг другу, сохраняя, впрочем, благочестивое и скромное выражение лиц.

Г е р ц о г. Не обижайтесь, рыцарь, мы с вами всею душой. Я сам провожу вас в покои, отведенные вам.

Дон Кихот кланяется с достоинством, благодаря за честь, и Санчо повторяет, поглядывая на своего рыцаря, его степенный поклон.

Г е р ц о г. Санчо! Говорят, что вы хотите стать губернатором?

С а н ч о. Ваша светлость, кто вам рассказал? Впрочем, был бы герцог, а рассказчики найдутся! Ваша светлость, вы попали в самую серединку! Как в воду смотрели. Очень мне желательно получить губернаторское местечко!

Г е р ц о г. Подберите сеньору Санчо Пансе остров, да поживее.

М а ж о р д о м. Будет исполнено, ваша светлость.

Г е р ц о г. Пожалуйте за мной, сеньор рыцарь и сеньор губернатор.

Герцог идет с Дон Кихотом, герцогиня рядом с Санчо.

Придворные парами следом.

1-й п р и д в о р н ы й *(карлику)*. Новый дурачок шутит по-новому, и куда крепче тебя! Плохи твои дела!

К а р л и к. Брешешь! Приезжий не дурачок, он не шутит и недолго уживется тут, среди нас, дурачков.

Яркий солнечный свет, веселый стук молотков. Узкая улочка. Прямо на улицу выходит мастерская, она же и лавка, в которой мастерят и продают разнообразнейшие металлические изделия.

На шестах висят готовые медные тазы, металлические зеркала, блюда, кувшины.

Работает хозяин, человек тощенький, почти лишенный зубов, но необыкновенно веселый. Рядом грохочут молотками его подручные.

Сытый конь привязан возле к столбу, косится тревожно на грохочущих молотками людей.

Владелец коня сидит в плетеном кресле, ждет, пока выполнят его заказ.

Это Самсон Карраско, в высоких сапогах со шпорами, с хлыстиком в руке.

И подручные, и хозяин заняты одним делом — пригонкой рыцарских доспехов.

Хозяин. Хотите, я удивлю вас, сеньор заказчик?

Карраско. Прошу вас, сеньор хозяин.

Хозяин. Я знаю, где вы добыли эти латы. Один ваш товарищ, саламанкский студент, выиграл их в кости у священника, собирающего старинные вещи. *(Хохочет.)* Угадал?

Карраско. Это нетрудно. Мой товарищ здешний, он и направил меня к вам. А вот вы попробуйте угадать, где добыл я щит.

Хозяин. Вам подарил его знакомый актер. *(Хохочет.)* Одного никак не могу разведать — зачем вам, бакалавру, рыцарские доспехи? До карнавала-то далеко!

Карраско. Для веселого человека каждый день карнавал, хозяин.

Хозяин. Позвольте примерить. *(Надевает на Карраско латы.)* Так. Тут под мышками немножко тянет Придется перековать *(Снимает латы и хохочет.)*

Карраско. Почему вы смеетесь?

Хозяин. Стараюсь угадать, что за проделку вы затеяли. Я на подобных делишках зубы съел. Правда. Мне вышиб их начисто мой лучший друг, которого окатил я водой, когда целовался он со своей девушкой. *(Хохочет.)* Весело, люблю.

Карраско. Куда это народ все спешит и бежит мимо вашей лавочки?

Хозяин. На площадь. Сегодня приезжает наш губернатор.

К а р р а с к о. Губернатор? В ваш городишко?

Х о з я и н. Баратория не городишко.

К а р р а с к о. А что же в таком случае?

Х о з я и н. Остров. Да, да! Вы прибыли сюда сухим путем. Ничего не значит! Вы не знаете нашего герцога. Он приказал, чтобы наш городишко считался островом, значит, так тому и быть.

К а р р а с к о. Вот теперь я знаю вашего герцога.

Хозяин разражается хохотом вместе с подмастерьем. Вдруг визг, свист и шум нарушают общее веселье. Хозяин вскакивает.

Х о з я и н. Мальчишки бегут. Разглядели что-то веселенькое своими рысьими глазами.

Веселая толпа уличных мальчишек несется мимо с криками: «Ну и губернатор!», «Возьмем его в свою шайку!», «С таким не соскучишься!»

Х о з я и н. Стойте, ребята. Что случилось?

С т а р ш и й и з р е б я т. Если скажем, то за деньги.

Х о з я и н. Я и сам знаю. Платить вам еще! Губернатор едет? Подумаешь, новость!

С т а р ш и й и з р е б я т. А на чем?

Х о з я и н. В карете? На коне? В носилках?

Р е б я т а. Не отвечай! Хочет выведать все бесплатно. Идем!

Со свистом и шумом скрываются.

К а р р а с к о. Как зовут губернатора?

Х о з я и н. Сеньор Санчо Панса!

К а р р а с к о. Бежим на площадь! Нашел половинку, найду и целое.

На площади возвышается дворец — не слишком большой, но и не слишком маленький. Флаги развеваются на его башнях. Слуги ждут на высоком и широком крыльце дворца. Толпа собралась на площади, оставив широкий проезд для губернатора.

Герцогский мажордом стоит на крыльце. Он взмахивает платком. Гремят трубы. Звонят колокола. Толпа, к

которой присоединился и владелец мастерской вместе с Самсоном К а р р а с к о.

Крики: «Да здравствует губернатор!»

Но вот он сам выезжает из-за угла верхом на Сером. И толпа умолкает от удивления. На несколько секунд.

И разражается хохотом.

К этому времени Санчо уже добрался до середины площади. Добродушно поглядывает он на хохочущих. Поднимает руку.

Толпа умолкает.

С а н ч о. Спасибо, братцы! Худо, когда губернатора встречают слезами. А вы смеетесь — значит, рады мне.

Одобрительный гул.

С а н ч о. Когда губернатор сидит на осле — это весело. Вот когда осла сажают в губернаторы, то уже не повеселишься

Смех. Веселый гул.

С а н ч о. Я объясню вам, почему я на осле. Потому, что он невысок! На коне я еще, чего доброго, не услышал бы ваших жалоб. А ехать на осле — все равно что идти пешком. Вот я, вот земля, а вот вы, дорогие мои подданные.

Крики: «Да здравствует губернатор!»

С а н ч о. Спасибо, братцы. Ну и на сегодня достаточно. Я хоть и губернатор, а спать хочу, как простой. Завтра увидимся. Идите по хозяйству. До свидания!

Восторженный рев. Крики: «Да здравствует губернатор!» — усиливаются до того, что дворцовая челядь перестает смеяться, переглядывается в страхе.

Санчо слезает с осла, передает его мажордому и, раскланиваясь, с достоинством, поднимается по ступенькам крыльца.

Губернаторская опочивальня.

Широкие окна ее глядят на просторную каменную галерею, идущую вокруг всего дворца.

Посреди опочивальни непомерно высокое и пышное ложе под балдахином.

Мажордом вводит губернатора.

Мажордом. Нет ли приказов, сеньор губернатор?

С а н ч о. Есть. Оставьте меня одного, мне спать хочется.

Мажордом удаляется с поклоном.

Санчо потягивается сладко, предвкушая отдых. Вскарабкался на свое пышное ложе. Укладывается.

Но едва успевает он закрыть глаза, как оглушительный взрыв звуков пугает его так, что он валится с постели на каменный пол опочивальни.

Гремит оркестр, в котором преобладают турецкий барабан и кларнеты.

Санчо распахивает дверь.

Музыканты играют усердно. Музыка заглушает протестующие вопли С а н ч о.

Наконец он хватает дирижера за руки, и оркестр умолкает.

С а н ч о. Что это значит?

Д и р и ж е р. По этикету музыка должна играть у дверей губернаторской спальни, пока он не заснет.

С а н ч о. Пока он не умрет, хочешь ты сказать! Под такую колыбельную и пьяный не задремлет. Эй, стража!

Входит офицер с четырьмя солдатами.

С а н ч о. А ну, заточите его в подземелье. Месяца через два-три на досуге я займусь его делом.

Д и р и ж е р. Сеньор губернатор, пощадите, мы люди подневольные! Нам приказал играть сеньор мажордом.

С а н ч о. Ах вот чьи шуточки! Известно вам, где его спальня?

Д и р и ж е р. Так точно, известно.

С а н ч о. Хочешь избежать подземелья — веди туда своих голодраных шакалов, и войте, дудите, гремите в барабан у мажордома под ухом. У самой его кровати. Пока он, проклятый, не уснет или не околеет. Поняли?

Сеньор командир, отправьте с ним солдат! Пусть последят, чтобы приказ был выполнен в точности.

О ф и ц е р. С величайшей охотой, сеньор губернатор. *(Солдатам.)* Слышали приказ? Марш!

Оркестр удаляется, сопровождаемый солдатами.

Санчо вздыхая, садится на кровати.

Задумывается.

С а н ч о. Эх, сеньор, сеньор! За последние годы я так привык делиться с вами тяготами да заботами! Где вы, сеньор, сеньор мой Дон Кихот Ламанчский!

Исчезает губернаторская опочивальня.

Дон Кихот ползает со свечой по полу своей спальни.

Д о н К и х о т. Ах, Санчо, Санчо, мне без тебя трудно! Вот уронил я иголку и не могу найти ее, проклятую. А ведь в нее вдет последний обрывок шелковой нитки, что имеется в нашем бедном дорожном запасе. У меня чулок пополз, С а н ч о. Сеньора Альтисидора настоятельно потребовала, чтобы пришел я на рассвете к павильону в парке побеседовать в последний раз о ее страстной любви ко мне... Я хотел, придя, еще раз провозгласить: «До самой смерти буду я верен Дульсинее Тобосской!» Но не могу же я говорить столь прекрасные слова с дыркой на чулке. О бедность, бедность! Почему ты вечно преследуешь людей благородных, а подлых щадишь. Вечно бедные идальго подмазывают краской башмаки. И вечно у них в животе пусто, а на сердце грустно. Нашел!

С торжеством поднимает рыцарь с пола иголку с ниткой.

Д о н К и х о т. Да, да. Нашел! Санчо, слышишь? Спасен от позора!

Поставив ногу на стул, штопает Дон Кихот старательно свой чулок.

Легкий стук в дверь.

Д о н К и х о т. Иду!

Оторвав нитку и завязав на заштопанном месте узелок, втыкает Дон Кихот бережно иголку с остатками шелковинки в лоскуток сукна и прячет в шкатулку.

Оправляется перед зеркалом.

Выходит.

Маленький паж в черном плаще ждет за дверью.

Безмолвно паж отправляется в путь по длинному дворцовому коридору.

Дон Кихот — следом.

Они идут по темной аллее парка. Едва-едва посветлело небо над верхушками деревьев.

И вдруг ночную тишину нарушает глубокий, полнозвучный удар колокола.

Дон Кихот останавливается. Останавливается и мальчик. Еще и еще бьет колокол. И издали доносится печальное пение хора.

Д о н К и х о т. Кто скончался во дворце?

Паж не отвечает.

Он снова пускается в путь. Дон Кихот, встревоженный и печальный, — следом.

Все громче погребальное пение хора.

Гремит орган.

Дон Кихот подходит к высокому павильону. Все окна его освещены. Звонит погребальный колокол.

Д о н К и х о т. Где же твоя госпожа?

П а ж. В гробу!

Д о н К и х о т. Отчего она умерла?

П а ж. От любви к вам, рыцарь.

Двери павильона распахиваются. Пылают сотни погребальных свечей. В черном гробу на возвышении, задрапированном черными тканями, покоится Альтисидора.

Придворные толпятся у гроба. Их траурные наряды изящны. Они степенны, как всегда. Стоят сложив руки, как на молитве. Склонили печально головы.

Герцог и герцогиня впереди.

Едва Дон Кихот подходит к возвышению, на котором установлен гроб, как обрывается пение хора. Умолкает орган.

В мертвой тишине устремляются все взоры на Дон Кихота.

Д о н К и х о т. Простите меня, о прекрасная Альтисидора. Я не знал, что вы почтили меня любовью такой великой силы.

Рыцарь преклоняет колени и выпрямляется.

И тотчас же едва слышный шелест, словно тень смеха, проносится над толпою придворных. Они указывают друг другу глазами на длинные ноги рыцаря. Увы! После его коленопреклонения петли снова разошлись, дыра зияет на чулке.

Д о н К и х о т. Мне жалко, что смерть не ответит, если я вызову ее на поединок. Я сразился бы с нею и заставил исправить жестокую несправедливость. Принудил бы взять мою жизнь вместо вашей молодой. Народ наш увидит, что здесь, на верхушке человеческой пирамиды, не только высокие звания, но и высочайшие чувства. О вашей любви сложат песни, в поучение и утешение несчастным влюбленным. Сердце мое разрывается, словно хороню я ребенка. Видит Бог — не мог я поступить иначе. У меня одна дама сердца. Одну я люблю. Таков рыцарский закон.

Он снова преклоняет колени, и, когда встает, смех делается настолько заметным, что рыцарь оглядывается в ужасе. К прежней дыре на обоих чулках прибавились три новые, чего рыцарь не замечает.

Д о н К и х о т *(придворным дамам)*. Сударыни, сударыни, так молоды — и так жестоки. Как можете смеяться вы над странствующим рыцарем, когда подруга ваша умерла от любви к нему?

— Вы ошибаетесь, дон Вяленая Треска!

Рыцарь оглядывается в ужасе.

Альтисидора воскресла. Она лежит в гробу непринужденно и спокойно — на боку, облокотившись на

подушку. Насмешливо, холодно улыбаясь, глядит она на Дон Кихота. Он отступает в ужасе к самой стене павильона, и тотчас же на окне за его спиной вырастает карлик в черном атласном плаще. Он держит что-то в руках.

А л ь т и с и д о р а. Вы, значит, и в самом деле поверили, что я умерла из-за вас, чугунная душа, финиковая косточка, в пух и прах разбитый и поколоченный дон! Как осмелились вы вообразить, что женщина, подобная мне, может полюбить вас, дон Верблюд? Вы, дон Старый Пень, вы не задели моего сердца и на черный кончик ногтя!

Смех, чуть более громкий, чем до сих пор.

Г е р ц о г. Не сердитесь, сеньор: это шутка, комедия, как и все на этом свете! Ведь и вы — настоящий мастер этого дела. Вы необыкновенно убедительно доказали нам, что добродетельные поступки — смешны, верность — забавна, а любовь — выдумка разгоряченного воображения.

Г е р ц о г и н я. Примите и мою благодарность, рыцарь, — было так хорошо!

По ее знаку маленький паж подносит Дон Кихоту мешок с золотом.

Д о н К и х о т. Что это?

Г е р ц о г. Берите, рыцарь. Вы честно заработали свою награду. Но это не значит, что мы отпускаем вас!

Д о н К и х о т *(пажу)*. Мальчик, возьми эти деньги себе! *(Герцогу.)* Разрешите мне оставить замок, ваша светлость.

Откланявшись, направляется он к выходу, и вдруг придворные разражаются впервые за все время громовым, открытым хохотом.

Карлик прицепил Дон Кихоту на спину черную доску, на которой написано белыми буквами: «Дон Сумасшедший».

Д о н К и х о т. Эй, Фрестон! Довольно хихикать за спиной! Я сегодня же найду тебя, и мы сразимся насмерть! Санчо, Санчо, где ты?

И он выбегает из павильона.

Карлик соскальзывает с подоконника.

Идет томно, не спеша через толпу придворных.

Говорит первому придворному едва слышно, краем губ:

— Дай золотой, а то осрамлю!

1-й придворный. Сделайте милость, сеньор шут. Берите два!

Он сует деньги шуту в ладонь.

Крыльцо губернаторского дома.

Санчо восседает в кресле. Позади его свита. Зрители расположились полукругом впереди.

Санчо. Кто хочет правосудия, выходи!

Шум толпы прорезает, покрывает отчаянный женский визг.

— Правосудия! Правосудия! — вопит женский голос.

И, расталкивая толпу, к губернаторскому креслу бросается женщина. За руку волочит она молодого парня, по одежде — пастуха.

Женщина. Правосудия! Правосудия! Если вы не поможете мне, я доберусь до герцога, до короля, а они откажут — заберусь на самое небо.

Санчо. Тише, женщина! Говори прямо, в чем дело!

Женщина. Нельзя прямо, сеньор! Не позволяет женская скромность.

Санчо. Тогда подойди и расскажи мне шепотом на ухо.

Женщина. Весьма охотно, сеньор губернатор.

Она рассказывает. А Санчо слушает, и лицо его меняется по мере того, как женщина шепчет. Вот он захохотал. Но тотчас же лицо его приняло выражение ужаса и возмущения.

Санчо. Силком?

Женщина продолжает шептать.

С а н ч о. Безобразник, Эй ты, пастух! Ты обидел эту женщину? Признавайся!

П а с т у х. Нет, ваша милость. Все было с ее стороны, а с моей — одна только вежливость. Шел я по дороге да и свернул в поле, потому что сеньора меня окликнула. Ну и тут, конечно, вмешался в дело Сатана. Но все шло тихо у нас, мирно, пока не дернул меня черт похвастать, что продал я нынче четырех свиней. И потребовала сеньора, чтобы я отдал ей кошелек со всеми своими денежками. А я говорю: «Это еще что за новый налог?» А сеньора мне: «Болван, отдай, а то я тебя опозорю». А я говорю...

С а н ч о. Все понятно. Тише, дайте подумать.

Санчо думает. Народ хранит молчание.

С а н ч о. Пастух, отдай этой женщине кошелек.

Народ безмолвствует.

Пастух со слезами выполняет приказание.

Поклонившись губернатору, женщина уходит, скрывается в толпе.

С а н ч о. А ну, пастух, догони ее и отними свои денежки.

Пастух, не заставляя себя просить, бросается вдогонку.

Раздается отчаянный визг. Толпа волнуется. Людей кто-то вертит, толкает, расшвыривает. И вот появляется снова женщина. Она тащит за шиворот пастуха.

— Ваша милость! — вопит она. — Этот душегуб вздумал отнять у меня кошелек, который вы присудили!

С а н ч о. Удалось ему это?

Ж е н щ и н а. Да никогда! Скорей жизнь отнимет он у меня, чем кошелек. Ни клещами, ни молотками, ни львиными когтями — ничем на свете из меня не вытянешь кошелька. Скорей душу из меня вытряхнет, чем кошелек!

С а н ч о. Покажи-ка мне кошелек, почтенная дама.

Ж е н щ и н а. Вот он, сеньор губернатор!

Санчо берет кошелек и передает пастуху. Женщина делает было движение вперед, но губернатор восклицает:

— Ни с места! Вы попались, голубушка! Если бы защищали вы свою честь хоть в половину той силы, что обнаружили, спасая кошелек, с вами и великан не справился бы. Ступайте с богом или, вернее, ко всем чертям, не останавливаясь. Прочь с моего острова, а то я прикажу вам всыпать двести плетей. Живо беги, бесстыжая пройдоха!

Женщина исчезает. Народ вопит:

— Да здравствует губернатор!

С а н ч о. Приветствуете меня! Значит, понимаете, что судил я справедливо?

Т о л п а. Понимаем!

С а н ч о. Значит, различаете, где правда, а где неправда?

Т о л п а. Различаем!

С а н ч о. А если понимаете и различаете — почему сами не живете по правде и справедливости? Нужно каждого носом ткнуть, чтобы отличал, где грязно, а где чисто? Обошел я городишко! В тюрьме богатые арестанты живут, будто в хорошем трактире, а бедные — как в аду. На бойне мясники обвешивают. На рынке половина весов неправильна. В вино подмешивают воду. Предупреждаю, за этот последний грех буду наказывать особенно строго. Ох, трудно, трудно будет привести вас в человеческий вид. Главная беда: прикажи я вас всех перепороть — сразу помощники найдутся, а прикажи я приласкать вас да одобрить — глядишь, и некому.

Т о л п а. Да здравствует губернатор!

Сопровождаемый восторженной толпой, скрывается Санчо во дворце. И едва успевает он скрыться во внутренних покоях, как раздается отчаянный топот копыт и на площадь влетает герцогский гонец.

Соскочив со взмыленного коня, передает он мажордому запечатанный пакет.

Прочтя послание герцога, мажордом ухмыляется.

Народ с площади разошелся, и офицер, поддерживавший порядок, собирает свой караул, ведет во дворец.

М а ж о р д о м. Сеньор офицер, возвращайтесь в герцогский замок.

О ф и ц е р. Но губернатор...

М а ж о р д о м. Нет более губернатора. *(Протягивает герцогское письмо офицеру.)* Дон Кихот покинул замок вопреки просьбам герцога, и нам приказано весело закончить шутку с островом Баратория.

Санчо дремлет в кресле.

Грохот, вой, колокольный звон, свистки, гудки.

Санчо вскакивает.

Вся челядь губернаторского дворца ворвалась в опочивальню. Лакеи, пажи, повара размахивают шпагами и вопят: «К оружию, к оружию!»

Мажордом подкатывает к ногам Санчо два огромных щита.

М а ж о р д о м. Полчища врагов обрушились на остров. Вооружайтесь и командуйте, сеньор!

С а н ч о. Приказываю немедленно послать за господином моим Дон Кихотом! Он покончит с врагами одним махом! А где мои солдаты?

М а ж о р д о м. В бою!

С а н ч о. Вооружайте меня.

На каменной галерее, окружающей дворец, стоит сам губернатор. Два щита, огромных, прикрученных друг к другу веревками, — один на спине, другой на груди — превратили губернатора как бы в черепаху. Он и шага не может сделать в дурацком своем вооружении. Не может оглянуться. А дворцовая челядь свистит, воет, визжит за его спиной.

М а ж о р д о м. Вперед, сеньор! Ведите нас в бой!

С а н ч о. Не могу! Щиты не дают!

М а ж о р д о м. А вы прыгайте, прыгайте!

Санчо прыгает послушно. Бьют колокола. Свистят свистки. Орут люди.

Санчо валится на пол галереи, а дворцовая челядь пляшет на щитах, покрывающих его тело, и кувыркается, и прыгает через них.

М а ж о р д о м. Достаточно. Поднимите его!

Лакеи поднимают Санчо, освобождают от щитов.

С а н ч о. Ладно. Понял. Больше я не губернатор. Ухожу. Простому мужику всегда найдется дело. А куда денешься ты, мажордом, когда тебя выбросят со службы? Что ты умеешь, дармоед, лизоблюд? Назад!

Санчо взмахивает кулаком — и дворцовая челядь, которая было бросилась на него, отступает в страхе.

И вот он на своем Сером выезжает из города.

С а н ч о. Вперед, вперед, Серый, бедный мой друг и помощник в трудах и невзгодах! Воистину счастливы были мои часы, дни и годы, когда все мои мысли были заняты заботой о том, как бы починить твою упряжь да напоить твою утробу. Зачем научил меня бедный мой сеньор заботиться о людях? Вечно кончается это тем, что счастливые намнут тебе бока, а несчастные так и останутся при своих несчастьях.

Дон Кихот галопом вылетает в открытую холмистую долину, на которой расположен городок Баратория.

И в тот же миг Санчо выбирается на дорогу. Издали замечает он длинную фигуру своего рыцаря. Вопит во всю глотку:

— Сеньор! Отец родной! Сынок мой единственный! Я вот! Я нашелся. Я губернаторство проклятое бросил! Сеньор!

Д о н К и х о т. Санчо!

Друзья мчатся навстречу друг другу, спешиваются, обнимаются.

Росинант кладет голову на шею своего вечного спутника Серого в знак радости и приязни.

Д о н К и х о т. Довольно, довольно, Санчо! Не плакать надо, а радоваться! Вырвались мы с тобой на свободу. Свобода, свобода — вот величайший дар, посланный нам небом! Ради свободы можно и должно рискнуть самой жизнью, а рабство и плен — худшее из несчастий. На коней, Санчо, на коней! Фрестон бродит возле. Сразим его — и освободим весь мир. Вперед, вперед, ни шагу назад!

Дон Кихот скачет вперед. Санчо торопится следом, а с пригорка следит за друзьями Самсон Карраско в полном вооружении. Он далеко опередил рыцаря и оруженосца и теперь ждет их у дороги.

Но вдруг Дон Кихот натягивает поводья, останавливается в клубах пыли.

На холме завидел рыцарь ветряную мельницу, размахивающую крыльями:

— Ах, вот ты где!

С а н ч о. Кто, ваша милость?

Д о н К и х о т. Фрестон стоит на холме и машет ручищами. О, счастье! Он принимает вызов!

С а н ч о. Ваша милость, это мельница!

Д о н К и х о т. Стой на месте и не вмешивайся, коли не можешь отличить волшебника от мельницы. О, счастье! Сейчас виновник всех горестей человеческих рухнет, а братья наши выйдут на свободу. Вперед!

И Дон Кихот, разогнав отдохнувшего Росинанта, галопом взлетает на холм.

Санчо вскрикивает отчаянно.

Рыцарь сшибается с ветряной мельницей.

И крыло подхватывает его. И поднимает, и вертит, вертит мерно, степенно, словно не замечая тяжести рыцаря.

Но Дон Кихот не теряет мужества. Его седые всклокоченные волосы развеваются по ветру. Глаза широко открыты, словно безумие и в самом деле овладело рыцарем. Голос его гремит, как труба:

— А я говорю тебе, что верую в людей! Не обманут меня маски, что напялил ты на их добрые лица! И я ве-

рую, верую в рыцарское благородство! А тебе, злодею, не поверю, сколько бы ты ни вертел меня — я вижу, вижу! Победит любовь, верность, милосердие… Ага, заскрипел! Ты скрипишь от злости, а я смеюсь над тобой! Да здравствуют люди! Да погибнут злобствующие волшебники!

И с этими словами срывается рыцарь с крыла, падает в траву с грохотом доспехов.

И тотчас же встает, пошатываясь.

Карраско, скакавший к мельнице, придерживает коня.

Санчо, словно не веря глазам, ощупывает ноги и руки рыцаря.

С а н ч о. Сеньор, вы живы? Прямо говорите, не бойтесь огорчить меня! Вот чудеса-то! Верно говорят: храбрый что пьяный, его и гром не берет, не утонет утка — ее вертел ждет. Сеньор! Ну теперь видите, что это ветряная мельница?

Д о н К и х о т. Это мельница. А я сражался с Фрестоном. И он жив пока.

С трудом, с помощью Санчо, взбирается рыцарь на коня, спускается с холма на дорогу.

С а н ч о. Учили петуха молиться, а он все кукарекает. Научили медведя плясать, а упрямца не обтесать. Все-то вы ищете волшебников да рыцарей, а попадаются нам неучи да бесстыдники. Нет волшебников, сеньор, и, кроме нас с вами, во всей Испании не разыскать и завалященького странствующего рыцаря. Пресвятая Дева! А это кто же такой?

На дороге ждет наших путников рыцарь с опущенным забралом.

Он, как и Дон Кихот, вооружен с головы до ног.

На щите — изображение сияющей луны.

Завидев наших всадников, рыцарь провозглашает:

— О славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я жду тебя, чтобы с оружием в руках установить, чья дама сердца прекраснее. А ну, свернем на поляну!

С а н ч о. Сударь, сударь! Нельзя драться больным! Мы только что схлестнулись с мельницей. Мы еще нетвердо сидим в седле.

Д о н К и х о т. Замолчи! Для рыцаря лучшее лекарство — поединок. Ваше имя?

Р ы ц а р ь. Рыцарь Белой Луны!

С а н ч о. Из турок, что ли?

Д о н К и х о т. Замолчи, неуч! У тех на гербе не луна, а полумесяц. Выбирайте место, рыцарь, и начнем!

Рыцарь сворачивает на просторную поляну.

Разъезжаются.

И разом устремляются навстречу друг другу.

Росинант и трети поляны не прошел, когда сытый и статный конь Рыцаря Белой Луны, набрав полную скорость, налетел на него с разбегу всею грудью.

Отчаянный крик Санчо.

Росинант падает.

Дон Кихот вылетает из седла.

Санчо бросается к своему хозяину, но Рыцарь Белой Луны уже стоит над поверженным противником, приставив меч к его горлу.

Р ы ц а р ь Б е л о й Л у н ы. Сдавайся, рыцарь!

И Дон Кихот отвечает ему слабым и глухим голосом:

— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, я — самый несчастный рыцарь на свете. Но я не отрекусь от истины, хоть и нет у меня сил ее защищать. Вонзай свой меч, рыцарь!

Р ы ц а р ь Б е л о й Л у н ы. Пусть цветет во всей славе красота Дульсинеи Тобосской! Единственное, чего я требую, — это чтобы великий Дон Кихот удалился в свое селение на срок, который я укажу. Я победил, и по закону рыцарства вы не можете отказать мне в послушании.

Д о н К и х о т. Повинуюсь.

Рыцарь Белой Луны вкладывает свой меч в ножны. Санчо помогает подняться Дон Кихоту, Росинант встал

на ноги сам. Он пощипывает траву с обычным достоинством своим, забыв о недавнем поражении.

Победитель снимает шлем, и Санчо вскрикивает:

— Сеньор бакалавр!

И тот отвечает, смеясь во весь свой большой рот:

— Бакалавр Самсон Карраско к вашим услугам. Я победил вас по всем правилам. Домой, сеньор, домой! Скорее домой!

Седой, печальный, ссутулившийся, словно на несколько лет постаревший, Дон Кихот шагает по дороге, ведет под уздцы Росинанта.

Рядом Карраско. И он спешился. И он ведет своего коня.

Санчо, нахохлившись, едет шажком за своим повелителем.

Небо серое, накрапывает дождь.

Дон Кихот расстался со своими рыцарскими доспехами. Они навьючены на спину Росинанта.

К а р р а с к о. Сеньор! Будьте благоразумны. Кому нужны странствующие рыцари в наше время? Что они могут сделать? Давайте, сеньор, жить разумно, как все.

Некоторое время путники шагают молча.

Дождь все усиливается.

К а р р а с к о. Не грустите, сеньор! От этого, как установила наука, кровь приливает к становой жиле и вызывает мокроты! Что вас заботит?

Звон цепей.

К а р р а с к о. Надо жить, сеньор, как учат нас философы: ничему не удивляться. Достойно пожилого человека во всех случаях жизни сохранять философское спокойствие.

Каторжники, словно четки, нанизанные на бесконечно длинную цепь, двигаются по дороге навстречу путникам. Их не менее ста. Они так устали, что безразличны ко всему. Они и не глядят на Дон Кихота, а он не сводит с них глаз.

Карраско. Если ты выработаешь в себе философское спокойствие, то обретешь подлинную свободу.

Дело уже идет к вечеру.

Карраско. Сеньор, вы все грустите. Жизнь сама по себе — счастье! Живите для себя, сеньор!

Высокий дуб, простирающий ветви свои над дорогой. На каждой ветви дерева — повешенный.

Дон Кихот. Бакалавр! Ваше благоразумие — убийственней моего безумия.

Вечер.

На поляне при дороге горит, полыхает костер.

Дон Кихот сидит на пеньке. Санчо и Карраско возятся у котелка, из которого валит пар.

Санчо. Пожалуйте кушать, сеньор!

И вдруг из тьмы выбегает, оглядываясь, словно ожидая, что вот-вот его ударят, мальчик лет тринадцати.

Мальчик. Покормите бедного подпаска! Такой вкусный запах идет от вашего котелка, что я за пятьсот шагов почуял. Ах!

Бросается к Дон Кихоту, обнимает его ноги.

Дон Кихот *(радостно)*. Андрес!

Андрес. Да, это я, сеньор!

Дон Кихот. Гляди, Карраско! Нет, не напрасно я странствовал и сражался. Я освободил мальчика от побоев, и он не забыл этого, хотя и прошло столько времени с тех пор. Ты хочешь попросить меня о чем-нибудь, Андрес?

Андрес. Да, сеньор!

Дон Кихот. Говори, не бойся! О чем? Слушай, Карраско.

Андрес. Господин странствующий рыцарь! Не заступайтесь, не заступайтесь за меня никогда больше, хотя бы раздирали меня на части. Оставьте меня с моей бедой, потому что худшей беды, чем ваша помощь, мне не дождаться, да покарает Бог вашу милость и всех рыца-

рей на свете. Вы раздразнили хозяина да и уехали себе. Стыдно, ваша честь! Ведь после этого хозяин меня так избил, что я с тех пор только и вижу во сне, как меня наказывают.

Д о н К и х о т. Прости меня, сынок. Я хотел тебе добра, да не сумел тебе помочь. Дайте мальчику похлебки!

Дон Кихот встает и удаляется в темноту.

Зима.

Ночь.

Тяжелобольной Дон Кихот лежит на постели в своей спальне. За окном — дождь со снегом.

Вокруг больного собрались все его друзья и близкие.

Тут и племянница, и экономка, и священник, и Цирюльник. Бакалавр Самсон Карраско держит руку на пульсе больного.

Д о н К и х о т. Ну вот и все, сеньоры. Вспоминайте меня на свой лад, как просит ваша душа. Пусть останусь я в памяти вашей не Дон Кихотом Ламанчским. Бог с ним. Вспоминайте бедного идальго Алонзо Кехано, прозванного за свои поступки — Добрым. А теперь оставьте меня. Дайте мне уснуть.

Все вопросительно взглядывают на Самсона Карраско.

К а р р а с к о. Пульс не внушает опасений. Он поправится, поправится! Не для того я заставил сеньора Кехано вернуться домой, чтобы он умер, а для того, чтобы жил, как все.

Д о н К и х о т. Вот этого-то я и не умею.

К а р р а с к о. Сон принесет ему пользу. Идемте, идемте!

Комната пустеет.

Вдруг снежная буря прекращается.

Окно распахивается настежь.

Снега как не было. Цветущее миндальное дерево заглядывает в комнату.

Полная луна стоит в небе.

Тени от ветвей дерева бегают по полу и по стене, словно живые существа забрались в спальню больного. Раздается шорох, шепот.

И негромкий голос произносит явственно:

— Сеньор, сеньор! Не оставляйте меня!

Дон Кихот садится на постели:

— Кто меня зовет?

— Это я, Дульсинея Тобосская!

Рыцарь вскакивает, прижимает руки к сердцу и роняет, словно обессилев.

Перед ним в богатейшем бархатном и парчовом наряде, сияя серебром и золотом, сверкая драгоценными камнями, стоит Альдонса.

Дон Кихот. Спасибо вам, сеньора, за то, что приснились мне перед моей кончиной.

Альдонса. Я запрещаю вам умирать, сеньор. Слышите? Повинуйтесь даме своего сердца!

Дон Кихот. Но я...

Альдонса. Вы устали? Да? А как же я?

И по мере того как она говорит дальнейшие слова, меркнет сверкание драгоценных камней, исчезают парча и бархат. Альдонса стоит теперь перед рыцарем в своем крестьянском платье.

Альдонса. А как же я? Нельзя, сеньор, не умирайте. Простите, что я так говорю, простите меня, необразованную, но только не умирайте. Пожалуйста. Уж я-то сочувствую, я-то понимаю, как вы устали, как болят ваши натруженные руки, как ломит спину. Я сама работаю с утра до ночи, понимаю, что такое встать с постели, когда набегаешься до упаду. А ведь приходится! Не умирайте, дорогой мой, голубчик мой! Мы работаем, надрываемся из последних сил с детства до старости. Нужда не велит присесть, не дает вздохнуть — и вам нельзя. Не бросайте меня. Не умирайте, не надо, нельзя!

Дульсинея исчезает, и тотчас же в цветущих ветвях миндального дерева показывается красное лицо Санчо Пансы.

Санчо. Ах, не умирайте, ваша милость, мой сеньор! А послушайтесь моего совета и живите себе! Умереть — это величайшее безумие, которое может позволить себе человек. Разве вас убил кто? Одна тоска. А она баба. Дайте ей, серой, по шее, и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам! Пусть кукушка тоскует, а нам некогда. Вперед, сеньор, вперед! Ни шагу, сеньор, назад!

Дон Кихот оказывается вдруг в рыцарских доспехах. Он шагает через подоконник, и вот рыцарь и оруженосец мчатся по дороге под луной.

Широкое лицо Санчо сияет от счастья. Он просит:

— Сеньор, сеньор, скажите мне хоть словечко на рыцарском языке — и счастливее меня не разыщется человека на всей земле.

Дон Кихот. Сражаясь неустанно, доживем, доживем мы с тобою, Санчо, до золотого века. Обман, коварство и лукавство не посмеют примешиваться к правде и откровенности. Мир, дружба и согласие воцарятся на всем свете. Вперед, вперед, ни шагу назад!

Все быстрее и быстрее скачут под луной славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский и верный оруженосец его Санчо Панса.

МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА

Крошечное озеро правильной прямоугольной формы. Берега его заросли травой и цветами. Вода неподвижна, как зеркало. Но вот она вдруг приходит в движение, как бы закипает. Раздается негромкая музыка, в которой явственно слышится плеск воды, жужжание комаров. Из воды, как бы поднятое невидимой силой, вырастает, держась навытяжку, некое водяное существо. Оно ростом с человека, похоже на лягушку, одето в роскошные зеленые одежды. Существо это, коснувшись поверхности воды, прыгает на землю легко, как лягушка. Затем оно низко кланяется нам, подходит к озеру, берет его двумя руками за угол и легко поднимает его.

Теперь озеро стоит перед нами стоймя, занимая почти весь экран, как огромное зеркало. Вода его прозрачна. Мы видим спины рыб, спокойно плавающих в глубине его, видим водяных жуков, бороздящих гладкую его поверхность. Водяное существо говорит негромко и таинственно:

— Марья-искусница.

И тотчас же надпись «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» наплывает со дна озера и замирает на его поверхности.

— Сказка, — говорит водяное существо еще тише и таинственнее.

И многозначительно подмигивает нам. Вслед за этим водяное существо замирает неподвижно, как неживое, а на гладкой поверхности озера проплывают остальные, полагающиеся в начале картины надписи. Едва они успевают исчезнуть, как водяное существо кидает озеро на место.

— Кого, кого, кого мы увидим, кого, кого, кого мы услышим? — спрашивает водяное существо.

И берет неведомо откуда, с воздуха, целую кипу пергаментных свитков.

Разворачивает свиток, и мы видим портрет Водяного.

— Первый скороход, главный прыгун, доверенный посыльный по имени Ква-ква-квак!

И, самодовольно улыбаясь, водяное существо показывает нам свой собственный портрет.

— Марья-искусница!

Печально и безучастно смотрит на нас Марья-искусница.

— Сын ее — Ваня!

— Аленушка!

И наконец, разворачивает Квак свой последний свиток. Пожилой, но бравый солдат сурово и зорко глядит с портрета. Едва Квак успевает раскрыть рот, чтобы сообщить нам, кто изображен на портрете, как Солдат, оглушительно откашлявшись, оживает. Квак бросает свиток, как бы обжегшись. Исчезает. Но оживший портрет прочно стоит, не сворачиваясь в трубку.

— Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, — здравия желаю! — говорит оживший портрет.

Солдат запевает песню, поправляет ранец за плечами и пускается в путь по дорожке.

Я солдат
Отставной,
Я бы рад
Идти домой,
Да солдатское
Упорство
Шутки шутит
Надо мной.
Я шагаю,
Раз и два!

Распеваю,
Раз и два!
Я завижу
Людоеда —
Нападаю,
Раз и два!
Воля-волюшка
Моя —
Нападаю
Без ружья,
Без штыка
Одолеваю —
Вот в чем
Волюшка моя.
Я солдат
Отставной,
Я бы рад
Идти домой,
Но иду,
Иду, иду,
А туда
Не попаду!

И дорожка ведет его через поляны, покрытые цветами, мимо тихих озер, по некрутым холмам, через неглубокие овраги. Солдат оглядывается, радуется родным местам. Вдруг он слышит писк — громкий, жалобный, молящий о помощи. Прислушивается. Останавливается. Бежит на зов. И видит: белка мечется у дупла. Летняя рыжеватая ее шубка взъерошилась, дыбом встала шерсть от ужаса и ярости. Трехэтажный змей-желтобрюх стоит на хвосте, глядит немигающими глазами на белку. Медленно поворачивается его плоская башка к Солдату.

— Эй, ты! Разбойник! — окликает его Солдат сурово. — Ты что это задумал?

Змей шипит и свистит, зловеще, оглушительно, так, что листья дрожат на деревьях. Бросается на Солдата. Тот отклоняется чуть-чуть. Хватает змея за хвост. Встря-

хивает с силой. Кружит. Бьет его о траву, о ветки. Свист, грохот, качаются деревья, летят листья на землю. Несколько мгновений ничего не разглядеть за этим зеленым листопадом. Но вот затихает вихрь. Лежит змей на траве, завязанный в тройной узел, как морской канат. Бьется на месте, а распутаться не может.

— Вот тебе, змей-желтобрюх, наука! — говорит ему Солдат наставительно. — Не ползай по чужим лесам. Лежи тут, чтобы другим неповадно было.

— Отпусти, — шипит змей. — Не с-с-сам пришел.

— А кто же тебя послал? — спрашивает Солдат.

— Раз-з-звяжи, с-с-скажу, — шипит змей.

Солдат не отвечает, белка прыгает ему на плечо. Шипит что-то в самое ухо, и мы слышим вместе с ним:

— Спасибо тебе, Солдат, за моих бельчат. Сейчас я тебе орехов полный ранец насыплю.

— Не надо, хозяйка! — отвечает ей Солдат весело. — Я провиантом обеспечен. А скажи ты мне лучше — откуда этот змей взялся? Что-то раньше я в наших лесах таких чудищ не видывал.

И мы слышим, как пищит белка Солдату в самое ухо.

— В семистах прыжках да в семистах шажках стоит черный лес, молчит, не дышит, не качается. Хозяйничает в этом лесу зверь не зверь, змей не змей, а невидимое чудовище. Из этого леса идут сюда все напасти.

— Заглянем туда! — говорит Солдат.

— Не ходи! Не ходи! — умоляет белка. — Живым не выберешься!

— Да ладно уж! — смеется Солдат. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Не могу я по легкой дорожке да на печку.

Снова запевает Солдат свою песню... Шагает по дорожке. И вдруг он слышит: трещат кусты, шуршит трава. Останавливается Солдат. Два медвежонка выбегают из чащи. Бросаются к Солдату. Лижут руки. И вдруг разом, как по команде, валятся ему в ноги.

— Встаньте, ребята! — приказывает им Солдат. Медвежата вскакивают.

— Беда, что ли, какая приключилась? Ну, ведите, посмотрим, — говорит Солдат.

Медвежата бросаются в лес.

Солдат спешит за ними и видит: стоит медведь, покряхтывает. Задняя лапа его схвачена капканом. Солдат опускается на одно колено. Он разглядывает капкан и видит: это огромная щучья пасть. Хитро запрятана она в траве. Тугие пружины ловко прилажены к чудовищным челюстям. Покачав головой задумчиво, поворачивает Солдат костяные винты. Щелкают, открываются щучьи челюсти. Медведь с ревом подпрыгивает, встает на задние лапы. Отдает Солдату честь.

— Здорово, Миша! — говорит Солдат.

— Здравия желаем! — отвечает зверь тихо.

— Да ты никак устав знаешь? — удивляется Солдат.

— Так точно! — отвечает медведь. — Разве ты забыл меня, друг дорогой?

Он вдруг поднимает сук, лежащий на земле, и отчетливо и ловко показывает Солдату ружейные приемы. И на плечо берет, и на караул, и к ноге, и идет в штыки. Солдат хохочет.

— Да неужто это Мишутка-медвежонок, которого я в лесу подобрал, за полком водил, поил и службе учил, а потом на волю отпустил?

— Так точно! — отвечает медведь. — Теперь я своим хозяйством живу с семейством. Сейчас мы тебя отблагодарим, самым лучшим медом угостим. Эй, сынишки, просите гостя дорогого!

Медвежата становятся на дыбы, кивают Солдату головенками приветливо.

— Спасибо, Миша, но только меду мне не надо, — отвечает Солдат. — А скажи ты мне лучше — кто поставил этот капкан невиданный?

— Идем, покажу, откуда они, разбойники, к нам заползают, — говорит медведь.

И они отправляются в путь. Вот дорожка раздваивается. Один путь ведет прямо, тем же веселым, приветливым лесом, через поляны, заросшие цветами, мимо

тихих лесных озер, по некрутым холмам, через неглубокие овраги. Другой ныряет прямо в чащу — черную, зловещую, неживую. Она словно невидимой стеной отделена, как отрезана от соседнего леса. Рядом, в двух шагах, шуршат на деревьях листья, весело свистят птицы, а тут деревья замерли неподвижно в тумане. Травой зарос путь в чащу, никто не осмеливается ходить туда, в этот зловещий полумрак.

— Стоял лес как лес, а теперь я и то его стороной обхожу. Захватило его чудище невидимое. Из этого леса и идут на нас все напасти, — отвечает медведь негромко, вглядываясь в чащу, насторожив уши, встревоженно.

Медвежата робко жмутся к ногам Солдата. Он усмехается. Ласково треплет медвежат за уши.

— Ну, прощайте, друзья! — говорит он решительно. — Придется в лес этот свернуть.

— Друг, друг, опомнись! — пугается медведь. — Усмири ты сердце беспокойное, солдатское. Идешь ты домой, идешь — все не дойдешь. Не пора ли отдохнуть?

— Нет! — отвечает Солдат твердо. — На печку? Нет! Прощай!

— Молодец, бесстрашен ты! — рявкает медведь восторженно и отходит в сторону.

Подает знак медвежатам. Те становятся с отцом в ряд. Отдают Солдату честь. Солдат, весело улыбаясь, отвечает. Скрывается в лесу.

ЗАТЕМНЕНИЕ

Солдат шагает по лесу. Тихо-тихо в сумеречной чаще. Ветка не качается, лист не шелохнется. Никого вокруг. Только туман клубами бесшумно вьется меж деревьями. Солдат замирает на месте. У ног его глубокий овраг. Дно и склоны оврага густо заросли папоротником высоким, в рост человека. Вниз ныряет дорожка. В самую гущу папоротниковых зарослей.

— Седьмой день, — говорит Солдат, — седьмой день в этом лесу иду, а он все молчит, все молчит. Было тихо, а стало еще тише. Как перед грозой. Чует мое сердце — будет бой. Не тут ли, в овраге, и невидимое чудище? Эй, Солдат, марш вперед!

И он устремляется вперед, вниз по тропинке. Стеной окружает его папоротник. Все быстрее шагает Солдат, все решительнее, все суровее глядят его глаза. Папоротник вдруг расступается. Солдат невольно делает шаг назад. На сырой поляне в болотной траве спит маленький мальчик в беленькой рубашке. Огромные лягушки сидят вокруг, глядят на Солдата, не двигаются, не мигают. На траве возле спящего — самодельный лук и колчан со стрелами.

— Вот так чудище, скажи пожалуйста! — говорит Солдат, улыбаясь. — Кто ты такой, богатырь неведомый? А вы, лягушки, чего ждете, зачем его сторожите?

Громко квакают лягушки в ответ Солдату. Мальчик вскакивает разом. Хватает лук. Прицеливается в Солдата. Солдат улыбается весело. Стоит, не двигается. И мальчик медленно опускает свое самодельное оружие.

— Здорово! — говорит Солдат ласково. — Не бойся меня.

— Здравствуй, дядя Солдат! — отвечает мальчик спокойно. — Я тебя не испугался. Я на такое дело пошел, что бояться ничего не приходится. Ну, лягушки, в путь!

Лягушки послушно скачут по дорожке. Мальчик идет за ними.

— Экий самостоятельный! — бормочет Солдат. И, поглядев вслед мальчику, пускается вдогонку. Так и шагают они молча. Лягушки впереди, Солдат позади, а мальчик в белой рубашечке посередине.

— Куда ты спешишь? — спрашивает Солдат наконец.

— Матушку ищу, дядя Солдат.

— Кого, говоришь?

— Мою мать родную.

— Где же твоя матушка?

— А ее Водяной украл. Бородой опутал, клещами ущемил да и уволок с ведрами в реку, в свой терем подводный. Она ткать да вышивать мастерица.

Солдат глядит задумчиво на мальчика. А тот шагает, спешит, не оборачивается.

— А отец твой где?

— Его метель занесла, загубила, когда я еще маленький был. Я один у матери защитник.

И снова шагают они молча. Лягушки впереди. Солдат позади, а мальчик посередине.

— А где же тот терем подводный? — спрашивает Солдат наконец.

— А тут, недалеко.

— Кто сказал?

— Лягушки. Проводить обещали и недорого взяли.

— Что дал?

— Сто мух да сто сорок комаров.

— Переплатил... — качает головой Солдат.

Лягушки поднимают отчаянное кваканье.

— В таком деле скупиться не приходится, — возражает мальчик.

Лягушки замолкают разом, и опять шагают мальчик и Солдат по узенькой дорожке в зловещей лесной тишине.

— Как тебя зовут, сирота? — спрашивает Солдат наконец.

— Иванушка, — отвечает мальчик.

— Я с тобой пойду, Иванушка, — говорит Солдат решительно. — Вместе выручим из неволи твою матушку.

— Спасибо, но только я сам! — отвечает мальчик.

— Отчего так?

— Я не маленький, — отвечает Иванушка сурово.

— И я не мал, — говорит Солдат, — однако и в бою, и в работе сам друзьям помогаю и от помощи не бегу. Поверь Солдату — я дурному не научу.

Иванушка останавливается. Думает несколько мгновений, опустив голову. Затем поворачивается к Солдату. Улыбается. Протягивает руку.

— Ну, спасибо, дядя Солдат! — говорит Иванушка. — Оно и правда — с товарищем куда веселее. Лягушки — не подружки, они только квакают.

Теперь Солдат и мальчик идут рядом. Дорожка вывела путников на широкую поляну. Столетние сосны стоят вокруг угрюмо, неподвижно, как часовые. Ветка не шелохнется, шишка не качнется.

— Мы маму найдем? — спрашивает мальчик.

— Надо найти, — отвечает Солдат решительно.

— А мы ее спасем?

— Надо спасти, — отвечает Солдат.

И вдруг те сосны, что растут справа, оживают. Ветки их сгибаются, качаются, как будто невидимый кто-то прыгает с дерева на дерево. И слышится голос хриплый, негромкий, но очень внятный:

— Никого вам не найти, никого вам не спасти, да и самим не уйти.

Лягушки разом прыгают в траву и исчезают. Иванушка хватается за лук.

— Это кто же там по соснам прыгает? — кричит Солдат.

Но деревья снова замерли неподвижно. Никто не отвечает Солдату.

— Испугался. Молчит... — говорит Солдат громко.

И сразу оживают сосны слева от поляны. И невидимый голос хрипит негромко:

— Мне пугаться некого — я тут самый главный.

— А если главный, то чего прячешься? — спрашивает Солдат насмешливо.

Но сосны снова затихли. Нету Солдату ответа. Он смеется:

— Опять испугался?

И тотчас же трава на поляне склоняется под невидимой тяжестью. Ложится то справа, то слева, то вблизи

Солдата, то вдали от него. И голос, то приближаясь, то удаляясь, вопит:

— Я никого не боюсь. Я отчаянный. Твое счастье, что я нынче веселый. А то давно бы тебе конец пришел.

— Я понял. Ты леший! — спокойно говорит Солдат.

— Сказал тоже. Я куда страшней, — обижается невидимое существо.

— Ну, назовись тогда!

— Вот еще! Солдату называться! Сейчас я пастуха кликну. С ним и разговаривай. Он тебе ровня, — отвечает невидимый собеседник. И зовет негромко:

— Эй, пастух, гони сюда стадо.

— Тихо зовешь, — говорит Солдат.

— Ничего, услышит, — отвечает голос. — Скорей ты, демон! Мне не терпится! Хочется посмотреть, как людишки удивятся. Поглядите, гости дорогие, незваные.

И действительно, есть на что поглядеть. Мальчик невольно делает шаг назад. Солдат кладет ему руку на плечо.

— Не бойся, Иванушка, — говорит он ласково.

— Да уж тут бояться не приходится, — отвечает мальчик, глядя во все глаза на стадо, которое медленно плывет по воздуху между деревьями.

— Ну и стадо!

Караси, огромные, как коровы, разевают рты, машут лениво широкими хвостами. Ерш, как пес, мечется между карасями, кусает за хвост отстающих, гонит к стаду отплывающих в сторону. И вот что удивительно — ерш этот, не в пример прочим ершам, лает! Правда, негромко, но все-таки лает, как настоящий пес. Вслед за стадом верхом на щуке выплывает пастух. Борода у него зеленая, сапоги из рыбьей кожи с узорами, вместо шапки — раковина, вместо кнута — удочка, и на поясе ведерко.

— Здорово, пастух! — говорит Солдат спокойно.

Пастух останавливает щуку. Глядит на Солдата своими рыбьими белыми глазами без ресниц. Не то он не

слышал, не то он не понял, не то сердится, не то задумался. Разве такого поймешь?

— Здорово, пастух! — говорит Солдат громко.

Пастух молчит.

— Эй, пастух, ты воды в рот набрал, что ли? — спрашивает Солдат.

— Конечно, набрал, — отвечает пастух тенорком.

— Зачем? — удивляется Солдат.

— А нам без этого скучно, — объясняет пастух.

Сказавши это, пастух снимает с пояса ведерко и подносит к губам, видимо, опять собираясь набрать воды в рот.

— Стой! — приказывает Солдат. — Я с тобой поговорить хочу.

— Эх, принесла вас нелегкая, — сердится пастух. — Тут засохнешь с вами... Ступайте вы от меня подальше. А не то я на вас ерша натравлю.

— Попробуй натрави, — улыбается Солдат.

— Эй, Барбос! — зовет пастух.

Ерш, виляя хвостом, подплывает к пастуху, ласкается.

— Кусай их! — орет пастух. — Рви их, рыбаков-разбойников!

Глухо, но свирепо лая, бросается ерш на Солдата. Трава на поляне так и вьется кругом. Очевидно, таинственное невидимое существо пляшет на траве, заранее уверенное, что худо придется Солдату. Но Солдат хватает свирепую рыбу за хвост и швыряет ее прямо в небо. Ерш взвизгивает по-собачьи и летит, летит под самые облака.

— Ах, батюшки! — визжит пастух. — Выше облака забросил! Да ты силен.

— Как видишь! — смеется Солдат.

— С тобой, значит, потише надо разговаривать?

— Как знаешь, — отвечает Солдат.

Ерш винтом падает с неба. Только у самой земли удается развернуться. С визгом удирает в кусты. Пастух снимает свою шапку, низко кланяется Солдату.

— Здравствуйте, страннички-прохожие! — говорит он до крайности ласково. — Простите, если что не так сказал.

— Ничего, — отвечает Солдат.

— Позвольте мне, страннички-прохожие, воды в рот набрать да и в сторону, — просит пастух.

— Нет, брат, постой. Отвечай отчетливо: куда это мы забрели? — приказывает Солдат.

— А забрели вы, рыбки мои золотые, прямо в самое подводное царство к Водяному-владыке.

— Чего ты прохожих морочишь! Стыдно! Ведь это лес!

— Был когда-то лес, да наш Водяной его у лешего в камушки выиграл. Ну, мы, конечно, всех птиц, зверей распугали, на деревья страху нагнали — вон стоят, дыхнуть боятся, — и пользуемся леском. Карасей пасем, прохожих губим, ха-ха… Лягушек растим. Сырость разводим.

— Так, понятно, — говорит Солдат задумчиво. — А кто же с нами тут невидимкою разговаривал? Кто это там невидимкою скачет с ветки на ветку?

— А скачет с ветки на ветку наш поилец-кормилец могучий Водяной-батюшка, — отвечает пастух, сняв шапку.

Мальчик и Солдат переглядываются, а невидимый Водяной разражается хриплым смехом. Он так пляшет на соснах, что шишки градом летят на траву.

— Позвольте мне, страннички сердитые, набрать воды в рот, и в сторону, — умоляет пастух, низко кланяясь.

Солдат машет рукой.

— Назад, Машка! — кричит пастух и, поддев удочкой передового карася, заворачивает его в лес. — Куда ты, Васька! А ну, Барбос, дерни его за хвост. Назад!

И, набрав воды в рот, пастух вслед за стадом уплывает в лесную чащу. Лай ерша Барбоса замирает вдалеке.

— Ну что? — ликует невидимый Водяной. — Понял, на кого налетел?

— Так точно, Водохлеб! — отвечает Солдат лихо.

Пауза.

Очевидно, Водяной растерялся от солдатской дерзости.

— Водяной, а не Водохлеб! — ревет он наконец.

— Это нам неизвестно, — возражает Солдат спокойно.

— Сказал же тебе пастух!

— Сказать все можно.

— Ты меня не дразни! — вопит Водяной. — Все равно не покажусь.

— А это воля ваша, Водовоз, — отвечает Солдат.

— Ну, Солдат, раздразнил ты меня, — хрипит Водяной свирепо. — Теперь пеняй на себя. Вот он я! Гляди!

И в воздухе над поляной появляется полупрозрачное облако. Оно переливается всеми цветами радуги. Но вот зеленый цвет начинает побеждать. Облако зеленеет и зеленеет, сгущается и сгущается. Из зеленой мглы выступает косматая башка с круглыми свирепыми глазами. И вот перед Ваней и Солдатом вырастает великан — Водяной. Огромная спутанная зеленая его борода свисает до земли. Ее густые пряди шевелятся, колеблемые течением. Солдат не спеша подходит к великану. Разглядывает его спокойно. Так глядеть не полагается. Покупатель оглядывает так лошадь на ярмарке. Солдат проходит между ножищами Водяного невозмутимо, будто в ворота прошел. Потом он долго глядит из-под руки прямо ему в лицо. И, будто поняв, с кем имеет дело, говорит Солдат вежливо:

— Здравия желаем, Степа-Растрепа!

— Я не Степа-Растрепа, а подводный владыка, грозный Водяной. Страшен я? — вопит великан.

Солдат вместо ответа повторяет свой осмотр. Обходит чудовище со всех сторон, оглядывает, даже пробует ногтем, прочны ли голенища его сапог. Водяной вертит

головой. Таращит глазищи на дерзкого гостя. Кричит обиженно:

— Отвечай же! Страшен я?

Солдат подмигивает.

— Ты, я вижу, смел, — хрипит Водяной.

— Я, как говорится, Адам, привычный к бедам, — отвечает Солдат весело.

— За это тебе будет награда, — обещает Водяной.

— Чем пожалуешь?

— Убью, да не сразу.

— И на том спасибо.

— Раз ты такой отчаянный — давай силой мериться, — предлагает Водяной после некоторого раздумья.

— Это можно. Только дай ты мне слово, что, если я тебя осилю, будешь ты меня во всем слушаться, — отвечает Солдат.

— Ха-ха-ха! Даю слово! — кричит Водяной.

— Ну, тогда начинай!

— Сейчас я тебя, не трогая руками, буду на землю валить. Упадешь — я победил. Устоишь — ты победил. Идет?

Он подходит к мальчику.

— Сейчас, Ваня, — говорит Солдат, — стану я, как стоял часовым, — в дождь, в бурю, в снег, в град, под огнем, под пулями. Надо так думать, что устою.

— А мне какой будет приказ? — спрашивает мальчик.

— Ждать! — отвечает Солдат.

— Трудно это! Я лучше возле тебя буду. Устанешь — обопрешься.

— Не спорь! — говорит Солдат строго. — В бою слово старшего — закон. Поди, встань вон там, за соснами. Надо будет — кликну.

Иванушка уходит, вздыхая. Солдат становится смирно.

— Готов? — спрашивает Водяной.

— Так точно! — отвечает Солдат.

Водяной зовет негромко:

— Стань передо мной, как лист перед травой, первый мой скороход, главный прыгун, доверенный посыльный Ква-ква-квак!

И тотчас же Квак в своей обтянутой зеленой одежде вырастает как из-под земли. Кланяется Водяному почтительно.

— Видал, Солдат? — спрашивает Водяной. — У меня, брат, все на мой лад — не по-вашему. Эй, Квак!

— Ква, ква, к вашим услугам, — отвечает Квак.

— Воды! — кричит Водяной.

— Сколько прикажете?

— Три ручья!

— Слушаюсь.

Квак три раза кувыркается, трижды подпрыгивает, квакает во все горло — из травы фонтаном поднимаются три ручья. Разливаются озером у ног Водяного.

— А ну, подымись! — приказывает Водяной.

Озеро закипает, бурлит, подымается волною в человеческий рост.

Водяной бормочет негромко:

— Повали его, вода, закружи его, вода, погуби его, вода, задуши его, вода!

Волны устремляются на Солдата. Разбиваются в мелкие брызги, отступают, бьют вновь, все упрямее и ожесточеннее. Иванушка выбегает из-за сосен, где приказано ему было стоять, но вода сбивает его с ног. Он поднимается, кричит Водяному:

— Все равно маму найду!

Но Водяной не слышит. Он через брызги и пену вглядывается и видит: стоит Солдат, не падает.

— Стоишь? — ревет Водяной.

— Так точно! — отвечает Солдат спокойно.

— Худо тебе?

— Бывало и хуже.

Водяной подымает лапы к небу. Приказывает грозно:

— Стань, вода, седой, встань, вода, стеной, закружись столбами, разразись громами.

Налетает вихрь. Черные тучи спускаются все ниже и ниже. Гремит гром. Сверкает молния. Смерчи ходят столбами. Солдат исчезает во мраке. Иванушка отчаянно борется с бурей, перебегает от ствола к стволу, пробирается поближе к Водяному, который, светясь зеленым светом, явственно виден в тумане. Тщательно целится мальчик. Стреляет в Водяного из лука. Тот ловит стрелу на лету. Разглядывает недоумевающе. И разражается хохотом.

— Ха-ха-ха! — ликует Водяной. — Солдат в щепочки разлетелся. Спасибо, молодцы! Все по местам! Отдыхайте!

Тучи рассеиваются, смерчи рассыпаются водяной пылью, исчезает озеро у ног Водяного. Иванушка вскрикивает радостно. Пляшет, прыгает. Солдат стоит навытяжку. Он весел, спокоен. Мундир, амуниция в полном порядке, хоть сейчас на смотр.

— Стоишь? — ужасается Водяной.

— Так точно! — отвечает Солдат. — Рано Вавилу запрятали в могилу.

— Да еще и сухой никак?

— Так точно. Мы в огне не горим, в воде не тонем.

— Ты колдун, что ли?

— Нет, Водяной, я русский солдат. Ну, что скажешь? Кто кого осилил?

Водяной чешет затылок. Думает.

— Нет! — кричит он после некоторого раздумья. — Бороться так бороться. Я тебя не повалил. Верно. А ты меня повалил разве? То-то, брат. Повали меня, тогда твоя взяла.

И он выпрямляется во весь свой великолепный рост. Ухмыляется самодовольно.

— Ладно! — отвечает Солдат спокойно. — Это можно…

Водяной хохочет.

— Где стоять будешь? — спрашивает Солдат.

— Где и стою, — отвечает Водяной. — На камешке.

Он стоит на большом плоском камне. Посмеивается. А Солдат, быстро и ловко орудуя лопатой, роет под камнем яму. Достает из сумки мешок с порохом. Закладывает под камень. Тянет фитиль.

— Ха-ха-ха! — заливается Водяной. — Он меня, Водяного, поджечь хочет! Ах ты, карась…

Оглушительный взрыв. Водяной подпрыгивает и валится, оглушенный, на землю. Квак мечется вокруг, квакает растерянно. Вот Водяной становится на четвереньки. На колени. Подымается во весь свой огромный рост. Простирает негодующие руки. Глаза загораются зеленым пламенем. Мановением руки подзывает Квака:

— Что делать?

— Квак, квак, квак прикажете.

— Дурак!

— Квак, квак, квак прикажете.

В о д я н о й. Ну, что ж это, Солдат! Как ты меня растревожил! Со мной так еще не бывало. Хочу человека загубить, а он не дается. Да ты взгляни, чудачок! Ведь я страшен! Дрогни хоть капельку, а я тебя и прикончу. Сделай такую милость — перепугайся! А? Ласково тебя прошу, рыбка моя дорогая, золотая. Доставь мне удовольствие, задрожи!

С о л д а т. Не могу.

В о д я н о й. Почему?

С о л д а т. Не приучен.

В о д я н о й. Безобразник ты, братец!

С о л д а т. Ну и Водяной! Как говорится, собаке не верит, все сам. Ты мне зубы не заговаривай! Боролись мы с тобой? Боролись. Осилил я тебя? Осилил.

В о д я н о й. Пожалуйста, не напоминай.

С о л д а т. Должен ты меня слушаться? Должен. Ну и слушайся.

В о д я н о й. Сейчас, погоди. Дай успокоиться, утешиться. Эй, Квак.

К в а к. Ква, ква, к вашим услугам.

В о д я н о й. Боишься ты меня?

К в а к. Ох, боюсь.

В о д я н о й. И здорово боишься?

К в а к. Квак, квак полагается.

В о д я н о й. У!

Квак подпрыгивает.

В о д я н о й. Э!

Квак подпрыгивает и переворачивается.

В о д я н о й. Ну что? Где у тебя душа?

К в а к. В пятках, владыка подводный. Оттого я и прыгаю, квак, квак мячик.

В о д я н о й. Дрожи передо мной!

Квак дрожит.

В о д я н о й. Отчетливей!

Квак дрожит крупной дрожью.

В о д я н о й. Молодец. Из простых лягушек выслужился, а как разумен. Любишь меня?

К в а к. Квак, квак, квак родную маму.

В о д я н о й. Ну вот мне и полегчало. Нет, все-таки я грозен. Ужасен я! Ну, Солдат, говори, чего тебе надо.

С о л д а т. Ваня! Иди сюда, Иванушка.

В о д я н о й. Зачем это? Отойди, мальчишка! Подтяни брюки. Одерни рубашку. Волосы поправь. Держись ровненько! Не мигай!

С о л д а т. Да брось ты к нему цепляться. Он мальчик хороший.

В о д я н о й. Всех их топить надо! Ну, говори, чего тебе?

Мальчик храбро подходит к Водяному. Водяной отворачивается с отвращением. Квак в точности повторяет все движения своего повелителя.

И в а н у ш к а. Ты мою маму украл!

Водяной. Кого-кого?

Иванушка. Мою маму, Марью-искусницу.

Водяной. А вот и не украл!

Иванушка. Не обманывай, не обманывай! Ласточки видели!

Водяной. Это им привиделось! Они взад-вперед шныряют, ничего толком не разглядывают!

Иванушка. Ивы тоже сказывали.

Водяной. Это им приснилось. Они вечно над водой дремлют.

Солдат. Довольно, Водяной, сироту обижать! Гляди! *(Достает из ранца мешок пороха.)* Опять тебя свалю, если слова своего не сдержишь. Подавай сюда Марью-искусницу!

Водяной. Говорят вам — нет у меня такой.

Солдат. Веди нас в твою подводную избу.

Водяной. У меня не изба, а дворец!

Солдат. Это нам все равно. Идем в твой дворец. И собери всех своих слуг и служанок. И мы сами поглядим, не найдется ли среди них та, которую мы ищем. Ну! Решай! А то рассержусь!

Водяной. Ладно, карасики мои серебряные, быть по-вашему. Покажу я вам всех своих слуг и служанок. Узнаете Марью-искусницу — она ваша. А не найдете — заточу я вас в подводную темницу, такую глубокую, что камень туда полгода летит. Согласны?

Солдат. Ладно, там видно будет. Идем!

Водяной делает знак Кваку. Низко поклонившись, Квак ложится у самых его ног, лицом к противоположному краю поляны. Он принимается дуть, дуть, дуть. И вот трава и цветы начинают тускнеть, тускнеть, расплываться. Вместо цветущей поляны — темное озеро, неподвижное, как зеркало, появляется у ног Водяного и его гостей. Квак громко квакает. Рябь проходит по воде, и вдруг она начинает светиться изнутри. Водяной становится величественным. Он делает широкий жест, пред-

лагая гостям подойти к воде. Вода делается прозрачной. Широкая лестница из красных кораллов ведет вниз, в глубину открывшегося озера. Коралловые деревья стоят вдоль лестницы по ступеням.

— Ну, государи мои, гости мои драгоценные, — провозглашает Водяной торжественно. — Лесок, где мы подружились-познакомились, — это полчуда. А настоящие чудеса впереди. Видите лестницу?

— Видим, — отвечает Солдат.

— Коралловая! Из южных морей. У братца семиюродного выменял. Тысячу пудов осетровой икры за нее дал. Пожалуйте за мной, коли не боитесь по коралловой лестнице в самое подводное царство, в самую середину.

Водяной не спеша входит в озеро. Квак поддерживает его под локоть. Солдат улыбается:

— Как говорится: в боярский двор ворота широки, а со двора узки. Однако — храброму мужу и море — за лужу. Идем, Ваня.

Под водой светло, как на земле. На каждой площадке лестницы на хвостах большие светящиеся рыбы. Каждая из них светится на свой лад. У одной вспыхивают и гаснут глаза, как маяки. У другой на голове на длинном стебельке фонарики, похожие на грушу. Третья вся до хвоста сияет синим пламенем. У четвертой светятся плавники. И все они вспыхивают особенно ярко и низко-низко склоняются перед Водяным, когда он проходит мимо. Вот и подводное царство.

— Не двигайте ножками, не утруждайте себя, гости мои любезные, — хрипит Водяной. — Течение подводное — послушное, само отнесет вас куда следует.

И в самом деле, едва он успевает сойти со ступенек, как невидимая сила мягко подхватывает его и несет вперед над дорогой, вымощенной серебряной рыбьей чешуей. Квак старательно поддерживает его под локоть. Ваня и Солдат несутся следом. Дорога ведет через коралловый лес. Красные, розовые, белые кораллы разрослись,

переплелись. Они блестят и сияют над коралловой чащей. Строем, как часовые, ходят светящиеся рыбы. А из-под ветвей, из глубины коралловых зарослей, из зеленой мглы глядят на чужеземцев морские чудовища. Коралловый лес позади. Теперь дорога идет среди водорослей. Водоросли эти всех цветов — синие, желтые, красные, зеленые. Крошечные рыбки, разноцветные, легкие и веселые, как птицы, шныряют между подводными зарослями.

— А скажи, дядя Солдат, — спрашивает Иванушка, — ждет меня мама? Думает ли, что я так близко?

— Возможно, что и ждет. Материнское сердце — вещун, — отвечает ему Солдат.

Маленькая шторка.

Полутемная подводная пещера. Свет падает из маленького окна под потолком. Марья-искусница сидит, склонившись над пяльцами, работает усердно. На пяльцах — в узоре из листьев вытканное разноцветными шелками лицо Иванушки. Все оживает его лицо под искусными пальцами рукодельницы, все оживает, так и кажется, что он заговорит сейчас.

— Что молчишь, сынок? — спрашивает Марья-искусница. — Где ты? Уж не близко ли? Тревога с утра меня томит. Все чудится, что бродишь ты за стенами, зовешь мать, ищешь, и я не слышу. Ты здесь?

Или кажется это в мерцающем неверном свете, или в самом деле шевельнулись губы мальчика. Послышалось это матери, или в самом деле шепнул Иванушка:

— Я здесь.

— Иванушка! — воскликнула мать. — Неужто ты сам пробрался в эти края, холодные да сырые. Не дождался меня, сам за мной пришел?

— Да! — шепчет Иванушка.

Продолжая работать, не сводя глаз с Иванушки, заводит Марья-искусница песню:

Иванушка,
Сыночек мой,
Сторожат
Твою матушку.
Я раз ушла,
Я другой ушла,
И на семь замков
Меня заперли.
Но нет, не смирилась
Душа моя,
Людская душа,
Упрямая.
Мы пробьемся
В наш дом родной,
Иванушка,
Сыночек мой!

ШТОРКА

Водяной, Квак, Солдат, Иванушка летят по подводному царству. И вот вдали вырастает дворец Водяного. Он полупрозрачен. Он весь круглый, волнообразный. И кровля его поднялась волной — ровной, тяжелой, какие вздымаются во время мертвой зыби. И стены его выгнуты, как будто они сейчас движутся вперед, и башни его похожи на смерчи, замершие на месте. Когда течение подносит наших друзей ближе, они видят, что не из стекла и не изо льда построен дворец. Он из воды. Но вода эта едва колеблется. И от этого дворец, такой тяжелый издали, вблизи кажется зыбким. По его стенам, как по большому мыльному пузырю, широкие радужные полосы медленно и непрерывно ползут сверху вниз. Квак, обгоняя своих спутников, прыжками подлетает к воротам. Он хватает огромную трубу и громко трубит. И тотчас же весь дворец загорается синим цветом. Перед воротами вырастают огромные раки. Стоя навытяжку, они щелкают клешнями, приветствуя Водяного. В щелканье

этом есть некоторая музыкальность. Некоторое подобие марша. Закончив марш, который Водяной выслушал, держа лапы по швам, раки замирают неподвижно.

Водяной. Ну, Солдат, хороша стража?

Солдат. Хороша, да в бою попятится.

Водяной. А я их к врагам спиною ставлю. Они думают, что бегут, а сами наступают. Ун йавыркто аторов!

Солдат. На каком языке говоришь, Водяной?

Водяной. На рачьем. Слова у них те же, только их надо говорить, как рак ползет — задом наперед. По-вашему — раки, по-ихнему — икар. По-вашему — открывай ворота, по-ихнему — йавыркто аторов. Понял?

Солдат. Ляноп.

Водяной. Ун, икар!

Раки расходятся, тянут за собой зыбкие створки ворот. Ворота открываются с шумом, похожим на шум прибоя. Раздается музыка, в которой явственно слышится шипение змей, жужжание комаров, плеск воды, кваканье лягушат. Водяной со своими спутниками входит в длинный-длинный сводчатый коридор. Зеленоватые стены его чуть светятся. Тут нет углов, нет крутых поворотов — коридор тянется, вьется, как речка, изгибается, извивается. И не то он ведет путников в глубь дворца, не то кружит их и вертит на месте, словно омут. И множество полупрозрачных, словно стеклянных, а может быть, из особенной волшебной воды дверей, то закрытых, то настежь распахнутых, попадаются путникам. А за дверями все такие же извивающиеся, неведомо куда ведущие зеленоватые коридоры. Водяной поглядывает искоса на путников своих. И глаза его под нависшими, словно водоросли, бровями — начинают светиться по-кошачьему. Солдат оглядывается.

Солдат. Что отстаешь, Ваня? Или устал?

Ваня. Нет, дядя Солдат, не устал. А словно относит в сторону течение.

Солдат. Иду к тебе.

Он делает шаг к Ване.

Но Водяной вырастает до самого сводчатого потолка. Он простирает свои огромные ручищи, шевелит пальца-

ми и, словно вихрь, проносится по коридору. Ваню откидывает к стене. Но Солдат идет против вихря, согнувшись, идет прямо к Ване на выручку. Водяной рявкает:

— Туманы!

И тотчас же из всех дверей, из-за всех поворотов влетают, вползают толпой, вваливаются полупрозрачные белые существа, сонные, пошатывающиеся.

В о д я н о й. Разлучить гостей! Пусть поодиночке бродят!

И туманы послушно окружают, обволакивают Ваню и Солдата.

— Дядя Солдат! — кричит Ваня.

И туманы открывают свои огромные рты. И каждый из них повторяет Ваниным голосом:

— Дядя Солдат! Дядя Солдат! Дядя Солдат!

Со всех сторон слышит теперь Солдат зов мальчика.

— Иду! — отвечает Солдат.

И туманы повторяют его голосом множество раз, словно эхо:

— Иду, иду, иду, иду!

И Ваня сбивается с пути, бежит прочь от Солдата.

— Сюда! — зовет Солдат.

— Сюда, сюда, сюда! — повторяют туманы и уводят Ваню в самую глубь коридоров подводного царства.

Потерялся Солдат, исчез Ваня. Туманы рассеиваются. Водяной стоит, посмеиваясь.

В о д я н о й. Вот то-то и есть! С кем связались, мышки сухопутные! Бродите, бродите! В одиночку-то страшнее, авось станете посмирнее. Квак! Беги за ними следом. Трави, гони, пугай!

Ваня идет сводчатыми коридорами. Зовет:

— Дядя Солдат!

Тишина. Даже эхо не отвечает мальчику. Он останавливается, задумывается. Выдергивает из своего пояса цветную шелковинку.

— Шелковинки-то цветные, а глаза у Солдата острые. Он приметит, поймет, кто это тут проходил и ему знак оставил.

И он обвязывает шелковинкой камушек, лежащий на песчаном полу коридора. Через несколько шагов повторяет он то же самое. Коридор, которым идет Ваня, кончается тупиком. В тупике три двери. Они полупрозрачны. И на всех трех дверях надписи, выложенные из разноцветных ракушек.

Ваня *(читает)*. Дожди обложные.

Он заглядывает в дверь. И видит: низко-низко спустились тучи. И моросит, моросит дождь. Лужи тускло блестят под тучами. Ваня подходит ко второй двери. На ней надпись: ДОЖДИ ПРОЛИВНЫЕ. И ничего не разглядеть — сплошные потоки бегут по прозрачным дверям. Он подходит к третьей двери. На ней надпись: ДОЖДИ ГРИБНЫЕ. Ваня заглядывает. Весело блестят на солнце косые струи нечастого дождика.

Ваня. Вот куда пойду, все-таки солнышко!

Мальчик открывает дверь и входит в просторную пещеру. В сводах ее широкие окна — в них-то и светит солнце. Под высокими сводами пещеры ходят тучки. Мальчик бежит весело под дождем. Вдруг шевелится впереди земля, и из-под нее выглядывает красная шапка в белых лоскутах. Ваня останавливается. И перед ним вырастает мухомор с него ростом.

Ваня. Недаром говорится — растет как грибы. Смотри, какой быстрый.

Он поворачивается, чтобы обойти мухомор, но тотчас же перед ним вырастает второй. Он делает шаг назад — и едва не падает. Из-под самых его ног вырастает третий. И четвертый. И пятый. И шестой. И седьмой. Нет мальчику хода. Куда ни ступит — из-под земли поднимается ядовитый красноголовый гриб. Смеющаяся зеленая морда Квака, мелькнув между мухоморами, мгновенно исчезает.

В а н я. Вот беда какая! Эй! Хозяин грибной! Гриб боровик! Никогда я вашего брата не обижал! А когда брал, то корешок в земле оставлял, чтобы вы росли, не переводились. Помогите мальчику! Видите — сколько мухоморов на меня одного! Отравят они меня, бедного!

И тотчас же Ваня, словно чудом каким, поднимается в воздух. Он вглядывается под ноги и видит, что стоит на шляпе великолепного боровика, что пришел ему на выручку, вырос под ним и поднял вверх. И за красными в белых лоскутках шапками мухоморов Ваня видит второй боровик. Он прыгает прямо на него. Но едва он хочет перепрыгнуть на третий, как мухоморы вырастают вдруг чуть не с дерево. Вырастает и боровик. Ваня прыгает. И срывается. Но не успевает упасть на землю. Розовая сыроежка вырастает и подхватывает Ваню на лету. Гул, шум. Дрожит земля. Строем вырастают из-под земли подберезовики. За ними — подосиновики. Не дают пробраться мухоморам к Ване. Он бежит по проходу, что образовался между грибами-защитниками. Добегает до двери. Кричит:

— Спасибо, друзья!

И словно из-под земли отвечают ему негромкие голоса грибов-друзей:

— На здоровье!

Квак грозит боровикам кулаками. Снова бежит Ваня по коридору. Обвязывает цветными шелковинками то раковину, то камень, то выступ на стене. Мелькает за поворотом Квак. Он указывает на мальчика кому-то невидимому. Раздается негромкий двойной свист. Ваня оглядывается и видит, что за ним вдогонку мчатся две рыбы. Они останавливаются прямо перед Ваней, глядя на него своими круглыми глазами. И, вильнув хвостами, вдруг поворачиваются, уносятся обратно. Ваня идет дальше. Вдруг снова позади раздается двойной негромкий свист. Но теперь к нему прибавился низкий дрожащий тревожный трубный рев. Мальчик оглядывается — и бросается

бежать со всех ног. Две рыбки мчатся за ним в погоню и ведут за собой огромную акулу. Вот-вот, сейчас, сейчас нагонят они мальчика. Ваня бросается ничком на песчаный пол коридора. Преследователи с разгона пролетают мимо. А мальчик вскакивает и мчится в обратном направлении. Сворачивает в одну из раскрытых дверей. Попадает в новый коридор, во всем похожий на прежний. Снова раздается за его спиной двойной свист, трубный рев. Акула и ее лоцманы напали на след. А коридор кончается тупиком с одной дверью. И на двери этой — выложенная из разноцветных ракушек надпись всего в одно слово: ЛЬВЫ. Ваня открывает дверь решительно. Захлопывает ее за собой. Он в огромной подводной пещере. Куда ни глянь — скалы высятся на песке. У самой двери стоит, склонившись, большой камень. Склонившись в сторону двери, Ваня бросается на колени. Подрывает песок под камнем. Потом наваливается на него плечом. И камень повинуется. Падает всей своей тяжестью на дверь. И как раз вовремя. Акула уже тут. Ваня видит ее сквозь прозрачные створки. Квак появляется возле акулы. Пробует открыть дверь — но тщетно. А мальчик уже уходит, скрывается за скалами. Квак грозит ему кулаком вслед. Делает знак лоцманам. Уносится по коридору прочь огромными прыжками. Лоцманы и акула послушно летят за ним.

Солдат мерным, ровным, походным своим шагом шагает — раз-два, раз-два, раз-два по сводчатому коридору. И вдруг останавливается. Вглядывается. Замечает камушек, обвязанный цветной шелковинкой. Поднимает. Кивает головой. Шагает, глядя на пол, от шелковинки к шелковинке. Но вот след теряется с того места, где появилась акула. Солдат вглядывается в следы на песке. Бормочет:

— Вот тут он упал.

— А тут назад повернул!

— А тут бегом бежал!

И след приводит его к двери с надписью: ЛЬВЫ. Солдат наваливается на дверь всем плечом. Но и ему не открыть заваленной камнем двери.

— Что делать?

Оглядывается. Видит на песке большую раковину, блестящую, словно отполированную, с розовыми краями. Поднимает ее. Прикладывает ее к уху. И мы слышим вместе с ним то, что слышит любой, приложивший к уху раковину: ровный-ровный непрерывный шорох.

Солдат. Раковины, раковины-сестрицы! Я знаю — как бы вас ни разбросала судьба, вы всю свою жизнь между собой перешептываетесь. Вы знаете все, что в подводном дворце творится! Где мальчик Ваня? Ответьте, сестрицы.

Сначала слышит Солдат все тот же непрерывный шорох. Но вот в него вплетаются слова:

— Ты от всего сердца спросил, и мы тебе от всего сердца ответим. Слушай да шагай. Шагай да слушай. Раз-два! Раз-два!

Солдат послушно шагает.

Ваня идет по песку между скалами. Вздрагивает от всякого звука. Оглядывается. Никого не видно, ничего не слышно.

Ваня. Где же они, львы-то?

И сдавленный, хриплый голос отвечает ему:

— Мы тут!

Мальчик вздрагивает, оглядывается — никого! Неужели это ему почудилось? Но тот же хриплый, сдавленный голос повторяет:

— Поиграй с нами.

— А где вы?

Молчание.

— Где вы?

Голос. Не знаю, как сказать по-человечески. Поиграй с нами. Вот мяч.

И к ногам мальчика падает сверху туго скрученный, круглый, как мячик, ком морской травы. Ваня поднимает голову. На него со скалы глядят три черные лоснящиеся башки. Одна большая, другая поменьше, а третья — совсем маленькая.

В а н я. А где же львы-то?

И обладатель самой большой головы отвечает:

— Это мы. Я морской лев.

— А я морская львица! — отвечает средняя башка.

— А я морской львенок! — отвечает младший. — Поиграй с нами. Мы людей любим.

Ваня поднимает туго стянутый ком травы, превращенный неведомым каким-то мастером в мяч, швыряет вверх. И тотчас же морской лев отбивает его носом.

— Еще, еще! — просят звери.

Поиграв со львами, Ваня спрашивает:

— А не знаете ли вы, друзья, как найти мне друга Солдата?

— Не умеем сказать по-человечески, — отвечают львы хором.

В а н я. Ну тогда я сам пойду поищу. Прощайте.

Вдруг лев поднимает свое грузное туловище, вглядывается куда-то. То же делает и львица. Львенок стоит ровненько, как овечка. Он тоже что-то увидел.

Л ь в е н о к. Не бойся. Папа тут! Мама тут. При них нечего бояться.

Ваня взглядывает туда же, куда и львы, и невольно делает шаг назад. Между скалами двигается прямо на него огромный осьминог. Все его восемь ног обуты в сафьяновые сапоги. На голове вышитая шапка. Но чудовище не кажется от этого менее страшным.

Л е в. Скажи ему — «смирно»!

— Смирно! — кричит Ваня.

И к величайшему удивлению его, чудовище послушно останавливается.

Л ь в е н о к. Скажи ему — «служи»!

В а н я. Служи!

И, к величайшему удивлению, осьминог садится и поднимает четыре из восьми ног кверху.

Л ь в и ц а. Скажи ему — «на место»!

В а н я. На место!

Осьминог немедленно выполняет приказ и удаляется в ту сторону, откуда пришел.

В а н я. Осьминог-то ученый?

Л е в. Ученый.

В а н я. А кто его учил?

Л ь в е н о к. Наша подруга девочка Аленушка. Она и нас научила по-человечески.

В а н я. Откуда же здесь, в подводном царстве, девочка?

Л е в. Не умеем сказать по-человечески.

Л ь в е н о к. Еще не все слова затвердили. Поиграй с нами.

В а н я. И рад бы, да нельзя. Побегу дядю Солдата искать!

Мальчик бежит между скалами. Издали-издали доносится голос львенка:

— Приходи, поиграй с нами! Мы людей любим!

Вдруг на одной из скал появляется Квак. Он указывает на пробегающего мимо Ваню. И тотчас же раздается двойной свист и дрожащий трубный рев. Акула! Мальчик мечется между скалами, но всюду его находит огромная хищница. И вот оказывается он словно в ловушке. Налево и направо — скалы. Позади — стена. Не уйти Ване. Акула по разбойничьему своему обычаю поворачивается кверху животом, чтобы схватить жертву. И вдруг стена возле Вани приходит в движение. Камни, комья глины валятся на песчаный пол пещеры, и в образовавшийся пролом врывается Солдат с топором в руках. Он заслоняет собой мальчика.

С о л д а т. А ну давай сюда, кому жизнь не дорога!

Акула круто взмывает к сводам пещеры и исчезает. Квак прыгает со скалы, удирает огромными прыжками.

С о л д а т. Идем, Ваня. Я знаю теперь, как твою матушку разыскать!

Он уводит Ваню в сводчатый коридор прямо через пролом в стене. Подает ему раковину.

С о л д а т. Спроси, но только от всего сердца — где твоя матушка?

В а н я. Раковинка, раковинка — где моя матушка?

Сначала слышит мальчик то же, что любой приложивший раковину к уху: ровный непрерывный шорох. Но вот в шорох этот вплетаются слова:

— Ты нас от всего сердца спросил, а мы тебе от всего сердца ответим. Смелей иди, во все стороны гляди. Иди, иди, во все стороны гляди.

Ваня шагает, приложив раковину к уху. Солдат — за ним.

Огромная подводная пещера. Зеленоватые полупрозрачные своды ее поддерживаются множеством витых колонн, похожих на застывшие фонтаны. На возвышении стоит трон. Огромный ковер покрывает всю стену позади него. Водяной забрался с ногами на трон. Задумался. Почесывает затылок. Мигает своими зелеными глазищами, словно старается что-то вспомнить. Вбегает Квак. Валится в ноги Водяному.

В о д я н о й. Говори! Напугал их? Ну? Где Солдат? Где мальчишка?

К в а к. Разыскали друг друга, бегут прямо к Марье-искуснице.

Водяной вскакивает.

В о д я н о й. Бежим наперерез!

Солдат и Ваня спешат изо всех сил. А раковина торопит, торопит:

— Вперед, живей, а теперь правей, а теперь левей, живей, живей, как бы нас не обогнали!

Солдат и Ваня сворачивают в коридор. Он кончается тупиком. В тупике огромная чугунная тяжелая дверь, запертая висячим замком.

Р а к о в и н а. Стой, пришли!

Солдат достает из своего дорожного мешка топор. Замахивается обухом, ручища перехватывают его руку. Водяной выступает из мглы.

С о л д а т *(спокойно)*. Отойди, Водовоз, ушибу!

В о д я н о й. А зачем ты замок ломаешь? Он, чай, денег стоит!

С о л д а т. За дверью этой Марья-искусница.

В о д я н о й. Не верь сплетням! Эй вы, сестрицы-сплетницы! Прочь из дворца на берег, а то растопчу!

Шорох, шум, звон. Раковина вырывается из Ваниных рук, взвивается к сводчатому потолку, улетает. А за нею — все раковины, разбросанные по песчаному полу коридора.

В о д я н о й. Вот так-то у нас будет потише.

Он достает из складок одежды связку ключей.

В о д я н о й. Никого за этой дверью нет. Гляди!

Он отпирает висячий замок. Дверь распахивается с печальным протяжным звоном. Ваня вбегает в подводную темницу. Пяльцы стоят посреди пещеры, но исчез Ванин портрет. Исчезла и Марья-искусница.

Солдат обходит пещеру. Никого. Пропала узница. Водяной глядит на Солдата во все глаза.

В о д я н о й. Вот задал ты мне задачу. Что мне с тобой делать? Убить разве?

С о л д а т. Только попробуй. Проведают об этом друзья мои, старые солдаты, и такое с тобой сделают, что тебе небо покажется с овчинку. А земля с горошинку.

В о д я н о й. Чего же ты от меня хочешь?

С о л д а т. Забыл?

В о д я н о й. Забыл. Так ты меня озадачил, что у меня ум за разум зашел.

С о л д а т. Должен ты показать нам всех своих слуг и служанок. Узнаем мы Марью-искусницу — наше счастье. Не узнаем — твоя взяла.

В о д я н о й. Ну, делать нечего. Будь по-вашему. Идем!

Водяной, входит в свою пещеру с троном, витыми колоннами, огромным ковром позади трона. Солдат и Ваня следом. Водяной усаживается на трон. Квак вырастает перед ним, ждет приказаний.

В о д я н о й. Ну что ж, рыбки мои золотые, гости мои дорогие. Давайте слуг моих смотреть. Авось найдете, что ищете. Квак! Зови моих слуг всех по очереди, по старшинству. Да смотри, никого не пропускай, а то гости обидятся!

Квак исчезает в зеленой полутьме и возвращается, сопровождаемый стариком в зеленых очках. На ногах у него богатые, обшитые жемчугом сапоги, но сшиты они так, что пальцы ног выглядывают наружу.

В о д я н о й. Вот первый мой слуга, главный казначей Алтын Алтынович! Сколько у меня, Водяного, сундуков с золотом?

Казначей считает, орудуя пальцами рук и ног. И сообщает:

— Невесть сколько да сверх три штучки.

В о д я н о й. А посуды золотой и серебряной?

К а з н а ч е й. Огромное количество с половиной.

В о д я н о й. Видали? Мудрый старик. Все науки превзошел. Все знает. Эй, старик! Сколько будет семью восемь?

К а з н а ч е й. Много!

В о д я н о й. Правильно! Ну, Солдат — этого слугу ты у меня требуешь?

С о л д а т. Оставь его себе.

В о д я н о й. Ступай, Алтын Алтынович. Нужно будет — позову. Квак! Зови следующих!

Алтын Алтынович исчезает. Появляются существа, у которых вместо пальцев рыболовные крючки, вместо носа гарпуны.

В о д я н о й. А вот мои охотнички! Все доморощенные, из оборвавшихся крючков да потерявшихся гарпу-

нов я их вырастил. Объясните, охотнички мои цепкие, в чем ваша сила.

О х о т н и к и *(негромко, хором)*. От нас никакая добыча не уйдет. У нас на каждую увертку особый крючочек найдется. Кто к нам попал — тот пропал.

В о д я н о й. Слышал? Ну, Солдат? Эти ли слуги тебе нужны?

С о л д а т. Оставь их себе, Водяной.

В о д я н о й. Ступайте, охотнички. Нужно будет — позову. Квак, зови следующих!

Перед троном вырастает большой белый цветок. В пещере становится все светлее и светлее. Музыка, звон колокольчиков, журчание ручья. Цветок раскрывается. То, что казалось его лепестками, — на самом деле крошечные, с мизинец величиной, девочки в белых платьицах. Смеясь, они то склоняются низко и снова превращаются в цветок, то откидываются и оживают. Музыка делается веселей, громче, свет вспыхивает еще ярче. Девочки соскакивают на гладкий, словно стеклянный, пол пещеры, пляшут, высоко взлетая.

В о д я н о й *(умиленно)*. Ну, что скажешь? Каковы мои русалки доморощенные? Я их сам своими руками вырастил из бабочек, что летом падают в воду. Играют русалочки, смеются, танцуют, домой не просятся. Им и тут славно. Видишь, непослушный мальчишка, как себя хорошие дети ведут. Играют, да и только. Да ты оглох, что ли? Тебе говорю! Ванька!

Но Ваня вскрикивает вдруг так, что Водяной подпрыгивает на своем троне, а русалочки сбиваются в беспорядочную толпу. В пещере стало светло, ясно виден теперь ковер, висящий позади трона.

В а н я. Глядите, глядите, люди добрые! Это мама ковер соткала! Вон наш домик! Вот наш садик! Люди добрые, помогите! Мама моя тут, возле. Мама, мама, где ты! Отзовись!

— Музыка, играй! — кричит Водяной.

И тотчас же [музыка] начинает играть, звенят колокольчики. Снова заводят русалочки свой веселый танец. Ваня бросается к ним.

В а н я. Русалочки, вы ведь тоже дети — помогите! У меня мама пропала! Я рядом с вами просто великан. Вы маленькие, вы здешние, вы везде проскользнете! Помогите! Разыщите мою маму.

Русалочки удивленно пересмеиваются, не бросают своей веселой пляски.

В а н я. Девочки, да неужели вы не понимаете меня?

И тогда одна из русалочек, покрупнее других, говорит жалобно.

— Не мучай ты нас, мальчик! Мы бы и рады тебя понять-пожалеть, да не можем. Ведь мы не люди, а бабочки, что с нас возьмешь.

— Русалочки — домой! — приказывает Водяной строго.

И тотчас же русалочки покорно бегут к широкому зеленому стеблю, с которого соскочили, и, взявшись за руки, превращаются в цветок. И он исчезает, и замолкает музыка, и в пещере снова воцаряется полумрак.

В о д я н о й. Вот вам и все. Всех вы моих слуг и служанок видели. И довольно.

С о л д а т. А вот не довольно. Подавай нам мастерицу, которая тебе соткала этот ковер.

В о д я н о й. Ковер я в прошлом еще году купил на подводной ярмарке в Ледовитом океане.

В а н я. А вот и неправда! В позапрошлом году мама дома была!

С о л д а т. Довольно с нами шутить, Водяной! Ты показал нам слуг своих доморощенных. Показывай пленницу, что на тебя работает, а то худо тебе придется.

В о д я н о й. Ну, делать нечего. Будут вам вечером и пленницы.

С о л д а т. Что так нескоро?

В о д я н о й. Я пленниц возле дворца не держу. Беспокойно. Они у меня разосланы по дальним болотам, по

глубоким трясинам. Пока их во дворец пригонят, вы отдохните, гости дорогие. Эй, Квак, проводи гостей.

Квак ведет гостей коридорами. Охотники с крючковатыми ручищами, раки с огромными клешнями провожают их.

С о л д а т. Это для чего же ты столько стражи пригнал?

К в а к. А квак, квак, квак же иначе! Для почету.

Все шествие останавливается у двери, такой прозрачной, словно ее нет вовсе. Квак отпирает дверь. Вводит гостей в просторную горницу, убранную по-людски. Тут и изразцовая печь с лежанкой, и стол, покрытый вышитой белой скатертью, и скамейки. Только пол песчаный. На столе пироги, горячие блины — пар идет. Кувшины с квасом.

К в а к. Отдыхайте, гости дорогие, блины кушайте, кваква-квас пейте.

С о л д а т. Спасибо. Блин — не клин. Брюхо не расколет. Да ты что — никак нас на ключ хочешь запереть?

К в а к. А квак же иначе? Акулы заплывут, они блины любят. Осьминог заползет — он до пирогов охотник. Обидеть могут!

И щелк, щелк, щелк — запирает Квак гостей на семь оборотов и исчезает.

Водяной сидит на кресле. Казначей и охотники почтительно стоят перед ним.

В о д я н о й. Ну, слуги мои верные, сами видите, каких гостей нам течением занесло. Страхом их не возьмешь. Думайте, думайте, как горю помочь! Говори ты, казначей Алтын Алтынович! Ты все науки превзошел!

К а з н а ч е й. По-моему, их надо озолотить.

В о д я н о й. Как так — озолотить?

К а з н а ч е й. А пустить их в нашу сокровищницу. Выбирайте, мол, что хотите! Они не удержатся. Набьют карманы жемчугами, кораллами — и готовое дело. Разбогатеют — присмиреют. Это уж как дважды два — пять!

В о д я н о й. Ишь ты какой! Чай, мне жемчуга жалко!

К а з н а ч е й. И мне жалко! Я до сих пор и грошика из лап не выпустил. Забыл вычитание и деление, а знал только сложение и умножение. Однако делать нечего. Сначала дадим, а потом авось и отнимем.

В о д я н о й. Ладно, попробуем, так уж и быть. Ну а коли это не поможет? А если они разбогатеют и рассвирепеют?

К а з н а ч е й. И это случается.

В о д я н о й. А тогда что делать будем?

К а з н а ч е й. Думать надо.

В о д я н о й. Ну, думайте, думайте, только поживей. Времечко-то бежит! Думайте. Думайте!

К а з н а ч е й. Ладно, давайте. Ну, охотнички, охотнички, давайте думать. Раз-два, дружно! Раз-два, взяли!

Все слуги Водяного под команду Казначея сгибаются и выпрямляются, словно волокут какую-то невидимую тяжесть. Думают, все думают, надрываются.

К а з н а ч е й. Ну, ну, охотнички, давайте, давайте, давайте! Еще разик! Еще раз. А вот пошла, пошла, пошла — придумали!

Охотники выпрямляются, утирают вспотевшие лбы.

О х о т н и к и *(хором).* А придумали, Водяной ты наш батюшка, вот что: уж больно ты нам трудную дал задачу. Нам с нею не справиться.

В о д я н о й. Казню!

О х о т н и к и. Не вели нас казнить, а вели слово молвить. Нам с этой задачей не справиться. Надобно тебе в подземное озеро нырнуть. К самому Карпу Зеркальному. Он все сказки знает, какие есть на земле. Седьмой раз их перечитывает старик.

В о д я н о й. Не люблю я его. Он добрый.

О х о т н и к и. То и хорошо, что добрый, не откажет, посоветует.

В о д я н о й. Ну, быть по-вашему. Нырну. Откройте колодец.

Охотники упираются своими носами-баграми в пол. Поднимают большую четырехугольную плиту посреди пещеры. Оттуда идет пар.

В о д я н о й. Ох, не люблю, признаться, ключевой воды, то ли дело мутная!

Он ходит вокруг колодца, как купальщик по речному берегу. Ежится, пожимается, похлопывает себя под мышками. И, наконец, охнув, бросается вниз головой.

В подземном озере у Карпа Зеркального светло, как на земле. Разве только отливает свет синим, словно прошел через чистую ключевую воду. Куда ни глянешь — навалены книги, да какие — с хорошего человека ростом, все в кожаных переплетах, толстые-претолстые, с бронзовыми застежками. Кованые сундуки громоздятся у стен. На узорных деревянных подставках друг против друга две книги. Между книгами замер неподвижно огромный старый карп, читает обе разом, перелистывая страницы плавниками. Левым глазом читает он веселую книгу. Смеется. А правым — печальную. Плачет. Водяной опускается плавно сверху, становится прямо против Карпа.

В о д я н о й. Здравствуй, Карп Карпович...

К а р п. Погоди, дай до точки дочитать. *(Читает одним глазом. Всхлипывает.)* Ох-ох-ох! До чего же печальная у этой сиротки судьба. Одно только утешение, что сказка эта каждый раз, сколько ее ни перечитываешь, кончается хорошо. *(Читает другим глазом.)* Ха-ха-ха! Ай да Иванушка-дурачок. А эта сказка — каждый раз весела, сколько ни читай. Ну, на сегодня довольно. Здравствуй, Водяной!

Закрывает обе книги движением плавников.

В о д я н о й. Здравствуй, Карп Карпович, добрый мудрец, ученый старик.

К а р п. Не так уж я стар. Всего девятый век доживаю!

В о д я н о й. Все-таки не мальчик уже!

К а р п. Ну, это как сказать!

В о д я н о й. Давно я у тебя не был.

К а р п. Ну, как давно. Всего сто лет и три месяца.

В о д я н о й. Никак у тебя с тех пор книг еще прибавилось.

К а р п. А как же! Какие сказки ни приключаются на свете, сейчас же их в книжку да ко мне.

В о д я н о й. Кто же это для тебя старается?

К а р п. Сказку о рыбаке и рыбке знаешь?

В о д я н о й. Как не знать.

К а р п. Так эта рыбка — мне внучка. Она и старается. Балует деда. Ну, а теперь поговорили, вокруг покружили — правь прямо. Зачем я тебе, злодею, понадобился.

В о д я н о й. Какой же я злодей! Я за последние сто лет до того присмирел, что на мне хоть веду вози.

Карп. Правда?

В о д я н о й. А как же! Конечно!

К а р п. Ты смотри, не обманывай меня! Я до того добрые вести люблю, что рад любой поверить.

В о д я н о й. Верь смело, Карп Карпович! Радуйся.

К а р п. Вот это сказка! Спасибо, друг, что нырнул ко мне, порадовал старика. Чем же мне за это отплатить?

В о д я н о й. Нет, нет — ничем.

К а р п. А все же?

В о д я н о й. Вот разве что советом.

К а р п. Говори, что у тебя за беда.

В о д я н о й. Приплыл ко мне из южных морей мой братец семиюродный, чудо-юдо морское.

К а р п. Слыхал о таком. Злой.

В о д я н о й. Куда уж злей. Проведал он, что я добр стал. Пришел и кричит: «Отдавай сейчас же твою любимую служанку Марью-искусницу, пусть она на меня работает». Что тут делать? Я слезы лью, Марья-искусница — плачет. Одно только я и выторговал: привезу я ему всех своих слуг и служанок. Пусть он среди них Марью-искусницу сам разыщет. Узнает — его счастье. Не узнает — мое. Что делать?

К а р п. Сейчас подумаем, Водяной.

Он взмахивает хвостом, шевелит плавниками, и книги, лежащие в разных углах подводной пещеры, приходят в движение. Покорные своему хозяину, закрываются книги на узорных подставках, застегиваются их бронзовые застежки, и они уплывают. Новые книги взлетают на их место. Раскрываются. Новые книги все с картинками, и картинки эти живут. Вот мы видим витязя, размахивающего мечом. Змей Горыныч, извергая из ноздрей пламя, носится над ним.

Витязь (*с картинки*). Здравствуй, Карп Карпович! Гляди, сейчас со змеем-злодеем расправлюсь!

Карп. И поглядел бы, да некогда. Надо Водяного из беды выручать.

Он шевелит плавниками, и страница переворачивается. На новой картинке летят гуси-лебеди, несут мальчика высоко над озером.

Мальчик. Здравствуй, Карп Карпович! Погляди, как гуси-лебеди несут меня домой!

Карп. И поглядел бы, да некогда. Водяной, бедняга, помощи ждет.

Снова перелистываются листы книги. И вот открывается картинка: девочка — веселая, смелая, глядит прямо на Карпа Карповича.

Карп. Гляди, Водяной, — узнаешь, кто это?

Водяной. Что ты, что ты! Откуда мне ее знать.

Карп. А в сказке говорится, что ловил отец ее рыбу. А ты сети со всем уловом к себе уволок. Рыбак плачет: «Верни мне сети». А ты: «Верну, коли отдашь мне то, чего дома не знаешь».

Девочка на картинке. А дома как раз я родилась, Аленушка. И забрал меня Водяной на дно. И выросла я у Водяного в подводном царстве.

Карп. Вот видишь! А говоришь — не знаю!

Водяной. Ахти мне — запамятовал! Это Аленушка непослушная.

Карп. Опять не так! Ее зовут Аленушка — золотые руки.

В о д я н о й. Ну, будь по-твоему.

К а р п. Аленушка тебе поможет.

Взмахивает плавниками. Книги закрываются.

К а р п. Замечал, небось, человек отражается в воде, как живой.

В о д я н о й. Тебе видней, Карп Карпович, ты у нас ученый.

К а р п. Отражается, отражается, поверь мне. Аленушку — золотые руки вода любит. Пошли ее с Марьей-искусницей на берег озера. А остальное скажу тебе на ушко. А то злодеи подслушают. *(Шепчет на ухо неслышно.)*

В о д я н о й. Вот это славно! Спасибо, Карп Карпович! Бегу!

Водяной поднимается было вверх, но останавливается на полпути. Снова спускается перед Карпом Карповичем.

К а р п. Что забыл?

В о д я н о й. Уж как мы с тобой побеседовали хорошо — подари мне что-нибудь о нашей встрече на память.

К а р п. Ладно. Люблю дарить, я добрый. Чего же тебе хочется?

В о д я н о й. Что пожалуешь.

К а р п. Открой тот сундук, возле которого стоишь. Бери, что понравится.

Водяной открывает сундук. Достает из него связку ключей. Все они серебряные, а один золотой.

В о д я н о й. Что это за ключи?

К а р п. А Синей Бороды. Его жена на память мне подарила. Бери себе.

В о д я н о й. Спасибо. Они мне ни к чему. *(Достает из сундука сапоги.)* А что это за сапоги?

К а р п. А Кота в сапогах. Ему хозяин новые справил.

В о д я н о й. А что это за прялка?

К а р п. А Спящей красавицы. Укололась она об эту прялку да уснула.

В о д я н о й. И что в этой прялке — сила еще осталась?

К а р п. Конечно, вещица подержанная, но все-таки. Усыпить не усыпишь, а ошеломить человека может. Будет человек бродить, словно сонный, ничего не видя, ничего не слыша.

В о д я н о й. Вот это мне и надо. Попробую злодеев я моих усыпить.

К а р п. Попробуй. Помни только: Спящая царевна проснулась, когда ее жених поцеловал. Воин проснется, едва услышит боевую трубу. Работника — работа разбудит. А мать — коли ее сын, погибая, на помощь позовет.

В о д я н о й. Вот спасибо, что научил. Подари мне эту прялку.

К а р п. Делать нечего — бери!

Квак стоит у колодца, ждет. Водяной с прялкой в руках мячиком вылетает из колодца.

В о д я н о й. Ха-ха-ха! До чего же я дураков люблю — это просто удивительно! Научил, надоумил, растолковал и не взял за это ни копеечки!

К в а к. Ха-ха-ха!

В о д я н о й. Нечего смеяться без толку, время терять. Бери прялку, беги к Марье-искуснице. Прикажи ей прясть. Да подтолкни под руку, чтобы укололась.

К в а к. Бегу!

В о д я н о й. Стой! А по пути пришлешь ко мне Аленушку.

К в а к. Она не послушается!

В о д я н о й. А не послушается — я с тебя голову сниму! Беги!

Квак убегает огромными прыжками.

Водяной шагает нетерпеливо среди витых колонн. Квак влетает галопом, кланяется Водяному в ноги.

В о д я н о й. Ну?

К в а к. Как сказано, так сделано.

В о д я н о й. А где Аленушка?

К в а к. Не идет.

В о д я н о й. Силком тащи!

К в а к. А с ней разве справишься?

В о д я н о й. Осьминогу прикажи!

К в а к. Прикажешь! Она его приучила.

В о д я н о й. Как приучила?

В е с е л ы й г о л о с о к. А очень просто!

Водяной вскрикивает и подпрыгивает чуть ли не до потолка.

В о д я н о й. Что это?

Аленушка выходит из-за колонн.

А л е н у ш к а. Это я тебя колючкой уколола.

В о д я н о й. Да как же это ты посмела?

А л е н у ш к а. Сердита я на тебя!

В о д я н о й. Вот я тебя сейчас запру в чулан!

А л е н у ш к а. Только попробуй. *(Зовет.)* Вась, Вась, Вась!

В о д я н о й. Кого зовешь?

А л е н у ш к а. Восьминожка моего ручного. Я ему на каждую ножку скроила по сапожку, на головушку — шапочку. Гляди! Вася, сюда бегом!

Появляется осьминог.

А л е н у ш к а. Служи!

Осьминог повинуется.

А л е н у ш к а. Вася, дай дяде лапку.

Осьминог двигается прямо на Водяного. Водяной прыгает на трон. Подбирает ноги.

В о д я н о й. Убери его! Я этих чудищ привозных не люблю.

А л е н у ш к а. То-то! Вася — на место.

В о д я н о й. Где пропадала-то?

А л е н у ш к а. Работала! Все озеро прибрала, все ручьи подмела, морским конькам привозным корму за-

сыпала, морским котам молочка налила. Сто золотых рыбок вызолотила, а пятьсот пескарей посеребрила.

В о д я н о й. Хорошо! Хоть ты и норовиста, а работница. За то и держу тебя.

А л е н у ш к а. Держи! Сама живу до поры до времени, потому что выросла тут. Жалею вас, нерях. Вы без меня тиной зарастете. Не тряси бородой!

В о д я н о й. В своем доме я не могу уж и бородой потрясти?

А л е н у ш к а. Не можешь! Я знаю: когда ты бородой трясешь, значит, какую-то хитрость замышляешь!

В о д я н о й. Какая там хитрость! Не до того. Беда у нас. Пришел ко мне из южных морей мой братец семиюродный, чудо-юдо морское. И еще сына привел, наследника. И требует в уплату, чтобы я ему Марью-искусницу отдал.

А л е н у ш к а. Марью-искусницу? Да никогда! Да ни за что! Матушку мою приемную — и вдруг отдавать? Она меня уму-разуму учит... Без нее я тут вовсе одичаю. Да за ней скоро Иванушка, ее сын, придет.

В о д я н о й. Еще чего?

А л е н у ш к а. А я говорю, что придет. И я с нею на землю уйду.

В о д я н о й. Ай-ай-ай, видишь, как получается нескладно. Придется тебе поработать. Тогда авось мы и выручим Марью-искусницу.

А л е н у ш к а. Опять бородой трясешь?

В о д я н о й. Так это я с горя.

А л е н у ш к а. А ну покажи мне братца твоего семиюродного и его сына. Иначе не будет тебе помощи от меня.

В о д я н о й. Ладно, покажу. Идем!

Водяной с Аленушкой подходят к покоям гостей. Не доходя до прозрачной двери, Водяной осматривается.

— Погоди! — шепчет он. — Я погляжу, чего они там делают.

Водяной подкрадывается на цыпочках к двери. Заглядывает и видит: Солдат гладит Ваню по голове, хлопает по плечу, успокаивает, утешает. Водяной шепчет едва слышно:

— Помоги мне, кривда-матушка! Прямое покриви, а кривое распрями. Водяной тебя просит, друг твой верный.

И тотчас же гладкая прозрачная дверь, подчиняясь неведомой силе, приходит в движение, колеблется, покрывается волнами и вновь застывает неподвижно. Дверь прозрачна по-прежнему, но застывшие волны искажают, словно кривое зеркало, все, что мы видим за нею. Водяной зовет Аленушку.

— Иди, полюбуйся!

Она подбегает к двери. Смотрит. Солдат утешает Ваню, расспрашивает его, наклоняется к нему. Аленушка не слышит ни слова, но видит настоящих страшилищ. И Солдат и Ваня чудовищно изменяются при каждом движении. Солдат гладит Ваню.

— Гляди, гляди, — хихикает Водяной. — Отец сына за волосы дерет.

Аленушка отходит от прозрачной двери.

А л е н у ш к а. Ну и чудища. Ты — хорош, но они еще страшней. Говори, что делать. Как будем Марью-искусницу спасать!

В о д я н о й. Замечала, небось, человек отражается в воде, как живой.

А л е н у ш к а. И не только человек — все отражается.

В о д я н о й. Нам до всего дела нет. Поведи ты Марью-искусницу на берег озера. И там... Остальное на ухо скажу. А то злодеи подслушают.

Водяной шепчет Аленушке на ухо признание свое и при этом разводит руками, вертит глазищами и трясет вовсю бородой.

В о д я н о й. Все поняла?

А л е н у ш к а. Все, как есть.

В о д я н о й. Беги скорей.

Аленушка убегает.

В о д я н о й. Квак, беги за ней следом, гляди, чтобы все было в порядке, а как дело будет сделано, гляди, не пускай Аленушку в мои покои. Пусть приведет она кого надо, и все тут. Ее не пускай, а то голову сниму. Беги!

Квак убегает огромными прыжками. Водяной посмеивается.

— Молода еще ты против меня, — бормочет он. — Ловко обманул девчонку. Лихо очернил гостей. Против кривды никто не устоит. Спасибо тебе, кривда-матушка.

Дверь снова делается плоской и гладкой. С милостивой улыбкой открывает Водяной замок.

В о д я н о й. Здравствуйте, осетры мои благородные! Отдохнули, детки?

С о л д а т. Отдохнули! Сил набрались. Пора бы и за работу. Веди нас к Марье-искуснице.

— Всему свое время, рыбки мои серебряные, — отвечает ласково Водяной. — Потерпите маленечко, и Марья-искусница сама к вам придет. Сердишься, Солдат?

— Сержусь, Водяной!

— Ах ты, мой конь морской, норовистый! — улыбается Водяной. — Ты сердишься, а я добр. Идем в мою сокровищницу.

Водяной, Солдат и Ваня входят в сокровищницу. Казначей низко кланяется. Сундуки с золотом и драгоценными камнями стоят бесконечными рядами, скрываются в зеленой мгле. Золотые и серебряные блюда, кувшины, чаши стоят на полках от потолка до пола.

— Видишь, Солдат, какой я великолепный Водяной! — хрипит он. — Ходи не спеша, выбирай подумавши. Все твое — чего ни пожелаешь.

Солдат не спеша идет по сокровищнице. Возьмет золотое блюдо, постучит — звон пойдет по сокровищнице.

И положит на место. Возьмет горсточку драгоценных камней, перебросит с ладони на ладонь — блеск пойдет по сокровищнице. И высыпает Солдат камни обратно в ларец. Казначей удивляется.

Аленушка в темной подводной пещере. Здесь теперь спрятана Марья-искусница. Марья-искусница сидит за прялкой посреди пещеры. Глаза полузакрыты. Она и не глядит на пришедшую.

А л е н у ш к а. Матушка! Что с тобой сталось? Ты больна?

М а р ь я-и с к у с н и ц а. Как будто и не больна.

А л е н у ш к а. А ты меня слышишь?

М а р ь я-и с к у с н и ц а. И слышу, и нет. И что ни час — то темнее.

А л е н у ш к а. Квак, что вы с ней сделали?

К в а к. Это не мы! Это чудо-юдо морское околдовало ее, чтобы она стала послушней.

А л е н у ш к а. Ничего, моя родная, ничего, ничего. Мы тебя разбудим, спасем!

Она берет Марью-искусницу за руку, тащит ее к выходу. Та идет покорно. По коралловой лестнице выходят они на землю. Тропинка вьется между огромными дубами. Аленушка ведет Марью-искусницу по тропинке. Квак прыгает следом. Аленушка и Марья-искусница становятся на самом берегу. Они отражаются в спокойной воде ясно, как в зеркале. Аленушка наклоняется над водой. Она плавно поводит руками. Тихий гул. Глухая негромкая музыка.

— На берегу Марья, — говорит Аленушка, — и в воде Марья.

И она показывает на отражение женщины в воде.

— На берегу Марья живая, а в воде Марья водяная. Вода, вода, отдай, что взяла. Оживи, Марья водяная, выйди на берег! Раз, два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Будет!

И, повинуясь заклинанию, семь раз оживают отражения, семь женщин поднимаются из пруда на берег, одна за другой. Все семеро похожи друг на друга, как семь капель воды. Они становятся возле Марьи-искусницы.

Солдат и Ваня идут по сокровищнице.

— Обижаешь, Солдат! — говорит Водяной вкрадчиво. — Ничего не берешь! Выбирай, приказывай!

Солдат вдруг останавливается. Пристально смотрит в темный угол. Там стоит простой некрашеный деревянный стол. На большом этом столе лежат гусли, полотенце и деревянный гребень. Разглядывает гусли внимательно. Потом тщательно, как хорошая хозяйка на рынке, рассматривает, ощупывает полотенце. На полотенце вышит серебром косой дождик и над ним, шелком, радуга. Проверяет на свет гребень.

— Беру! — говорит он решительно.

Водяной переглядывается с Казначеем.

— Да ты что, батюшка, надсмехаешься! — кричит Казначей. — Эти вещички меньше полушки стоят! Они у меня на левом мизинце значатся, да и то на самом ноготке! Старье! Лежат тут две тысячи лет, неведомо откуда взялись! Выбросил бы, да скупость проклятая не позволяет. Возьми лучше золото!

— Эти вещички мне нужны! — отвечает Солдат. — Ведь это гусли-самогуды. Они кого хочешь развеселят. А гребень да полотенце всегда в дороге пригодятся.

И Солдат вешает гусли на пояс, а гребешок и полотенце укладывает в ранец.

С о л д а т. Идем! Ничего больше не возьму!

В о д я н о й. Экий ты, братец, несговорчивый. Ну, будь по-твоему. Идем.

Водяной торжественно входит в свою пещеру. Усаживается на трон. По знаку его входят охотники. Алтын Алтынович садится на ступеньки трона. Солдат и Ваня становятся рядышком. Раки строем вползают в пещеру. Окружают своего повелителя.

В о д я н о й *(торжественно)*. Готовьтесь, готовьтесь, гости дорогие. Эй, Квак!

Квак влетает вприпрыжку.

В о д я н о й. Приблизься!

Квак подбегает вплотную к трону.

В о д я н о й *(тихонько)*. Привел?

К в а к. Квак, квак, квак велено, так и сделано.

В о д я н о й. Ну, слушайте, гости дорогие мои! Привел Квак последних моих служанок. Смотреть их смотрите, но только молча. Они голоса человеческого невесть сколько лет не слыхали. Могут помереть. Согласны?

С о л д а т. Ладно, будь по-твоему.

В о д я н о й. Впускай.

Квак громко квакает. Двери отворяются настежь, и появляется не спеша, словно никого не видит она и ничего не слышит, — Марья-искусница, окруженная своими отражениями. Кто из них настоящая Марья-искусница, а кто призрачная? Солдат делает шаг назад, пораженный. Водяной ухмыляется. Ваня вскрикивает было: «Мама!» — но тут же закрывает рот рукой.

В о д я н о й *(торжествующе)*. Вот то-то и есть! Глядите, глядите, пескарики мои простенькие. Глядите, да руками не трогайте и не зовите! Помереть могут!

Ваня бросается к Марье-искуснице и ее спутницам. Мечется от одной к другой. Протягивает руки и отдергивает в ужасе, боясь, что нечаянным прикосновением может и в самом деле убить несчастную свою мать. Вдруг кто-то дергает Ваню за рукав. Аленушка прячется за витой колонной.

А л е н у ш к а. Ваня! Слушай меня во все уши. Иди тихо-тихо мимо всех них. У твоей мамы дыхание теплое, а у всех остальных холодное. Так ты и узнаешь Марью-искусницу.

Ваня повинуется. Тихо-тихо идет он мимо замерших неподвижно женщин. И останавливается вдруг. И вскрикивает радостно:

— Вот моя мама!

И тотчас же остальные с легким звоном расплываются в воздухе, исчезают, как тени.

— Ура! — кричит Солдат оглушительно.

Водяной мигает своими зелеными глазищами. И вдруг разражается таким страшным ревом, что все его слуги с Кваком во главе валятся с ног.

В о д я н о й. Не пущу! Не согласен! Не позволю! Забрать Марью-искусницу — и в подводную темницу!

Аленушка бросается к трону.

А л е н у ш к а. Ты слово дал!

В о д я н о й. Я дал, я и взял. Я своему слову хозяин. Забрать.

С о л д а т. Не спеши, друг наш Водохлеб. Не сердись. Лучше попляши.

В о д я н о й. Ах ты дерзкий! И его забрать!

С о л д а т. Сказать-то легко, а кто первый с места двинется? Выходи под музыку!

Солдат поводит рукой по струнам, и Водяной и слуги его подпрыгивают.

В о д я н о й. Что это такое?

С о л д а т. Я же тебе сказал — попляши. Вот ты и слушаешься.

Снова проводит по струнам рукой. Водяной и слуги его подпрыгивают еще выше.

С о л д а т. Ребята, берите Марью-искусницу за руки. И в путь. Я вас догоню.

Аленушка и Иванушка повинуются. Водяной с ревом бросается за беглецами, но Солдат заводит плясовую. Небыструю, степенную, но до того завлекательную, что Водяной останавливается посреди пещеры. С крайним удивлением глядит на свои ножищи.

В о д я н о й. Эй, ты! Нога! Правая нога — тебе говорю! Стой!

Вместо ответа правая нога, переступая с носка на каблук, лихо пускается в пляс, а за нею и левая. А гусли переходят с пляски медленной и степенной на быструю и отчаянную. Присвистнув и хлопнув ладонью по

голенищам, взлетает Водяной чуть не до потолка. Лицо его при этом выражает крайнюю растерянность.

В о д я н о й. Солдат, а Солдат! Положи гусли!

С о л д а т. Будь по-твоему.

Кладет гусли на пол, а они продолжают играть сами собой.

В о д я н о й. Это еще что такое?

С о л д а т. А гусли-самогуды и без меня справятся. Играйте, гусли, не уставайте, Водяному отдохнуть не давайте, в погоню за нами не пускайте! Прощай, Водяной, счастливо оставаться!

Солдат уходит, а Водяной со всеми своими слугами пляшет, прыгает, остановиться не может.

Течение несет Солдата, Ваню, Аленушку и Марью-искусницу прямо к лестнице. Вот взбираются они по коралловым ступеням. Вот бегут, спешат по тропинке между дубами. А Водяной и слуги его пляшут, кто вместе, кто поодиночке.

В о д я н о й. Придумал я, что делать. Сейчас я эти гусли раздавлю.

Он прыгает ногами вперед, прямо на струны, но гусли, словно живые, выскальзывают из-под ног Водяного. Тогда Водяной пытается сесть на гусли всей своей тяжестью, но они тут же спасаются бегством и начинают играть еще веселее, еще неудержимее.

— Помогите! — орет Водяной. — Помогите! Пропадаю! Люди добрые! Помогите!

Каменная плита над колодцем, ведущим к Карпу Карповичу, приходит в движение. Откидывается. И старик выглядывает из колодца.

К а р п К а р п о в и ч. Ты чего на помощь зовешь-то?

В о д я н о й. Помоги, голубчик! Спаси! Останови гусли-самогуды!

К а р п   К а р п о в и ч. Остановить их не могу. Они волшебные.

В о д я н о й. Ну меня научи, как остановиться.

К а р п   К а р п о в и ч. Не стану. Я на тебя сердит. Ты меня вчера обманул, а я это только сегодня понял. Такую обиду простить невозможно.

В о д я н о й. Карп Карпович! Я больше никогда не буду!

К а р п   К а р п о в и ч. Опять, наверное, обманываешь!

В о д я н о й. Ей-право, не обманываю. Помоги. Видишь — я плачу даже, значит, раскаялся.

К а р п   К а р п о в и ч. Ну, так уж и быть, научу я тебя, как остановиться. Заткни свои уши, да и только.

Плита закрывается, и Карп уходит в свое подземельное жилище. Водяной и все его слуги затыкают уши. Останавливаются, задыхаясь.

В о д я н о й. Слушайте мое приказание. Немедленно бегите в погоню за Солдатом.

Слуги Водяного стоят неподвижно.

В о д я н о й. Я вам что говорю?

Слуги не двигаются.

В о д я н о й. Что это они? Взбунтовались, что ли? Ох! Понял! Они меня не слышат. В погоню! В по-го-ню!

Он пытается изобразить пальцами, что, мол, надо бежать туда, за беглецами, но никто не хочет его понять. Тогда Водяной подходит к охотникам и силком отнимает их руки от ушей. И тотчас же охотники пускаются в пляс.

— Заткнуть уши! — орет Водяной.

Охотники повинуются и перестают плясать. Но зато и не слышат больше своего повелителя. Водяной ревет оглушительно, так что дрожат своды пещеры. И при этом пляшет так весело, будто он и не разгневан вовсе, а весел, как на свадьбе.

В о д я н о й. Эй, вы! Дожди обложные, проливные и грибные! Отпускаю вас на волю!

Распахиваются двери, за которыми скрывались дожди. Вылетают облака. Блестят частые дождевые струи. И во мгле раздается свирепый голос Водяного:

— Лейтесь, лейтесь, не уставайте, не уступайте. Пусть ручьи станут речками, речки — озерами, а озера — морями. Не выпускайте гостей моих из лесу! Оставьте им островок в три шага длины да в три — ширины. А я, наплясавшись, сам к ним приду.

Рассеивается мгла. Крошечный островок. На нем стоят, прижавшись друг к другу, Ваня, Аленушка, Солдат и Марья-искусница. Льет проливной дождь.

В а н я. Дядя Солдат! Что же делать будем! Мы до самых косточек промокли.

С о л д а т. Ну коли промокли — полотенце поможет!

Он открывает ранец. Достает полотенце, на котором серебром вышит дождь, а шелками — радуга. Взмахивает им широко. Музыка. Радуга, вышитая шелками, растет, солнышко проглядывает через струи проливного дождя, серебрит их. И вот чудо. Радуга стала над озером, что бушует вокруг островка, как море. Один конец радуги упирается в землю, у ног путников, — другой — в едва видный противоположный берег.

С о л д а т. За мной! Только держитесь зеленой полосы. Она мягкая, как весенняя трава. Не ходите на синюю — она скользкая, как лед.

Из ранца своего он добывает веревку. Дает спутникам. Ступает на крутую радугу первым. Спутники его, держась за веревку, — следом. Все выше поднимаются беглецы, все выше. Озеро бушует далеко внизу. Иванушка взглядывает вниз. Скользят его ноги по гладкой синей полосе радуги. Он вскрикивает. Вздрагивает Марья-искусница. Но Ваня повисает на веревке, и Солдат успевает подхватить его. Вот путники на самой верхушке.

С о л д а т. А теперь по синей полоске — вниз, как с горки!

Он достает из ранца кусок полотна. Стелет на синей полоске. Садится впереди. И путники весело скатываются вниз на куске полотна, как на санках, на противоположный берег.

Путники идут по степи. Дождь все не прекращается.

А л е н у ш к а. А ну-ка, постойте! Дождевые струи что-то говорят! Я их язык понимаю! Недаром прожила столько лет в водяном царстве.

Она вслушивается.

— Аленушка, Аленушка, пропала ты, Аленушка! Мы все плотины размыли. Летит на вас вода стеной! Уж так тебя водица любит, а потопит! Она своей воли не имеет!

А л е н у ш к а. Дядя Солдат, летит на нас стеной водяной вал! И никто его не остановит! Гляди — вон он!

По степи за беглецами двигается стена воды.

С о л д а т. Надо с гребнем расставаться.

Он достает из ранца гребень. Швыряет высоко вверх. Жужжа, взлетает гребень до самого неба. Но обратно не падает. Он растет, растет — и совершается чудо. Водяной вал разбивается о его подножье и, обессиленный, отступает. Тучи рассеиваются, выглядывает солнце, путники шагают по дороге.

Перед нами тот самый домик, что видели мы вышитым на ковре за троном Водяного. Пусто. Никого не видно в садике. Прихрамывая, оглядываясь, появляется у забора Квак. Свистит тихонечко. Чей-то голос отвечает ему:

— Ква-ква! Кто меня зовет?

К в а к. Это Квак, ква, ква, к вам на поклон прискакал!

Из-под дома вылезает жаба. Прыгает Кваку на плечо.

Ж а б а. Радость какая! Племянник мой родной! Да какой же ты стал большой!

К в а к. Да уж лучше бы поменьше быть. Так дела обернулись, что надо скрыться!

Ж а б а. Хромаешь, никак?

К в а к. Захромаешь тут — целый месяц плясал без устали! Где Солдат?

Ж а б а. По ягоды ушел с Аленушкой.

К в а к. А Иванушка где?

Ж а б а. Дома. Сегодня его очередь пол мыть.

К в а к. А Марья-искусница где?

Ж а б а. Бродит все вокруг да оглядывается. Силится вспомнить, бедняга, где она да что с ней. Сейчас по роще бродит.

К в а к. А далеко роща-то?

Ж а б а. А прыжков с тысячу.

К в а к. Вот это нам и надо. Пойду доложу!

Квак исчезает. Из дому выбегает Ваня с ведром в руках. Он откидывает крышку колодца. Наклоняется над ним. И вдруг косматая башка Водяного бесшумно вырастает над срубом. Он хватает мальчика за руки. Ваня отбивается отчаянно. Марья-искусница не спеша бредет по березовой роще. Глаза ее смотрят сонно и безучастно. И вдруг издали доносится отчаянный зов.

— Мама!

Марья-искусница вздрагивает, словно проснувшись.

— Мама! — зовет Ваня еще громче.

Марья-искусница, как ветер, мчится на зов сына. А мальчик уже изнемог в борьбе. Ноги его скользят по влажной земле.

— Мама!

И Марья-искусница бросается на помощь сыну. Она хватает Водяного за руки, Ваня — за бороду, тянут, тянут — и вот чудовище уже лежит на траве. Ваня захлопывает крышку колодца. Вбегают Солдат и Аленушка.

Бросают на траву кошелки с ягодами и грибами. Окружают Водяного.

В о д я н о й. Квак, Квак, Квак — на помощь!

Квак выглядывает из-за забора. И тут же прячется.

К в а к. Ну уж нет! Довольно! Не желаю больше служить такому злодею, которого вытащили за ушко да на солнышко. Пойду обратно в лягушки.

И Квак уменьшается на наших глазах, уменьшается, пока не превращается в обыкновенную лягушку. Уползает в сторону.

В о д я н о й. Братцы! Я больше не буду! Правду говорю!

Никто не отвечает Водяному, и он делается все меньше да меньше, расплывается и исчезает, как будто его и не было.

С о л д а т. Вот и нет больше Водяного. Одно мокрое место осталось.

— Иванушка! Аленушка! — зовет Марья-искусница. Обнимает детей.

— Иванушка! Аленушка! Вот мы и вместе!

С о л д а т. Нет такой злой напасти, которую не победила бы материнская любовь.

А л е н у ш к а. И дружба.

С о л д а т. Да не забудьте еще про мое солдатское упорство!

М а р ь я-и с к у с н и ц а. А теперь устроим мы пир на весь мир. Эх, давно я по хозяйству не работала! Соскучилась!

Г о л о с а. А мы-то как соскучились, а мы тоже, а мыто как рады!

Звон, стук, гул. Окна распахиваются, двери открываются. Деревянный стол выбегает из дверей, ласкается к хозяйке, словно пес. За ним бегут табуретки, как щенята.

С о л д а т. Хозяйка ожила — весь дом ожил!

Скатерть вылетает из окна. Опускается на стол. Катятся по траве тарелки. Прыгают ножи, вилки.

М а р ь я-и с к у с н и ц а. Друг ты наш, Солдат. Голос у тебя звучный, зови гостей. Вот уже и печка сама затопилась. И пироги в духовку прыгают. Зови скорей.

С о л д а т. Слушаюсь!

И вот он перед нами крупным планом.

С о л д а т. Друзья, друзья, пожалуйте к нам, к нам на праздник. Как пройти? А очень просто! Шагайте все прямо, прямо, не сворачивая, прямо безо всякого страха. Бойтесь только кривых путей. Прямо да прямо — глядишь, вот вы и у нас на празднике. А пока всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, желаю радостного дня и спокойной ночи.

Дневники

ИЗ «ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ»

1955

19 января

Хотел затеять длинную работу: «Телефонная книжка». Взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказывать. Так и сделаю.

Акимов. О нем говорил не раз: ростом мал, глаза острые, внимательные, голубые. Всегда пружина заведена, двигатель на полном ходу. Все ясно в нем. Никакого тумана. Отсюда правдивость. Отсюда полное отсутствие, даже отрицание магического кристалла. Через него в некоторых случаях художник различает что-то там неясно. Как это можно! Жаден до смешного в денежных делах. До чудачества. Даже понимая, что надо потратиться, хотя бы на хозяйство — отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок. Знает за собой этот порок. Однажды я осуждал при нем скупую женщину.

20 января

И он возразил: «Не осуждай, не осуждай! Это страсть. Не может человек заставить себя расстаться с деньгами — и всё тут». Так же, говоря о ком-то, признал: «Он, как умный человек, позволяет себе больше, чем другие». И то и другое высказыванье — нечаянное признание. Я не раз замечал, что художники скуповаты. Возможно, оттого, что уж слишком связаны с вещью. Но Акимов жаден

еще и до власти, до славы, до жизни и, как человек умный, позволяет себе больше, чем другие. Жаден до того, что не вылезает из драки. Есть множество видов драки. Теперь в театральных кругах победил вид наиболее мучительный для зрителя: вцепившись в противника когтями, разрывая пальцами рот, ударяя коленом в пах, борец кричит: «Необходима творческая среда!», «Без чувства локтя работать немыслимо!», «Социалистический реализм!», «Высокая принципиальность! », «Не умеют у нас беречь людей!», — и так далее.

Акимов в драке правдив, ясен и смел до того, что противник, крича: «Мир хижинам, война дворцам!» или нечто подобное, — исчезает. Охлопков[1] любит говорить, что наше время подобно эпохе Возрождения: сильные люди, борьба страстей и так далее. Эта поэтическая формула разрешает ему куда больше, чем позволяет себе умный человек. Единственный боец, на которого я смотрю в этой свалке с удовольствием, — Акимов. Он не теряет чувства брезгливости, как безобразник эпохи Возрождения, не кричит, кусая врага: «Прекрасное должно быть величаво!» (или «Призрак коммунизма бродит по Европе») — и, наконец, он чуть ли не единственный имеет в своей области пристрастия, привязанности, обнаруживает чуть ли не гениальное упорство. Правдив, правдив! Любит он и женщин. Иной раз кажется мне, что, помимо всего прочего, и тут сказывается его жадность — к власти, к успеху. Любит и вещи, как Лебедев[2], но с меньшей строгостью, традиционней. Я с ним никогда, в сущности, не был дружен — мы несоизмеримы. Я отчетливо, и он, думаю, тоже, понимает всю противоположность наших натур. Но жизнь свела нас, и я его чувствую как своего и болею за него душой.

21 января

В случае удач его мы встречаемся реже, потому что он тогда занят с утра до вечера, он меняет коней — то

репетирует, то делает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, то пишет портрет, обычно с очень красивой какой-нибудь девушки. И свалить его с ног могут только грипп или вечный его враг — живот. Вот каков первый из тех, что записан в моей телефонной книжке. Среди многих моих друзей-врагов он наносил мне раны, не в пример прочим, исключительно доброкачественные, в прямом столкновении, или прямым и вполне объяснимым невниманием обезумевшего за азартной игрой банкомета. Но ему же обязан я тем, что довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороге. И не одну. А как упорно добивался он, чтобы выехали мы в блокаду из Ленинграда. Впрочем, бессмысленно тут заводить графы прихода и расхода. Жизнь свела нас, и, слыша по телефону знакомый его голос, я испытываю сначала удовольствие. И только через несколько минут — неловкость и скованность в словах и мыслях, — уж слишком мы разные люди.

Вторым на букву «А» записан *Альтман*. Прелесть Натана Альтмана — в простоте, с которой он живет, пишет свои картины, ловит рыбу. Он ладный, желтолицый, толстогубый, седой. Когда еще юношей шел он пешком по шоссе между южнорусскими какими-то городами, навстречу ему попался пьяный офицер, верхом на коне. Заглянув Натану в лицо, он крикнул вдруг: «Япошка!» И в самом деле в лице его есть что-то дальневосточное. Говорит он с акцентом, но не еврейским, без напева. В отличие от Акимова пальцем не шевельнет для того, чтобы занять подобающее место за столом баккара. Во время эвакуации только, находясь в Молотове, сказал задумчиво: «Я до сих пор не придавал значения званиям и орденам — но с тех пор, как это стало вопросом меню...» Причем это последнее слово он произнес, как природный француз. Там же ловил он тараканов в своей комнате и красил их в разные цвета. А одного выкрасил золотом и сказал: «Это таракан-лауреат».

22 января

А потом подумал и прибавил: «Пусть его тараканиха удивится». Есть во всем его существе удивительная беспечность, заменяющая ту воинствующую независимость, что столь часто обнаруживают у гениев. Натан остается самим собой безо всякого шума. Когда принимали в союз какую-то художницу, Альтман неосторожно выразил свое к ней сочувственное отношение. И Серов, громя его, привел это неосторожное выражение: «Альтман позволил себе сказать: на сером ленинградском фоне...» — и так далее. Отвечая, Альтман заявил: «Я не говорил — на сером ленинградском фоне. Я сказал — на нашем сером фоне». И, возражая, он был столь спокоен, наивен, до такой степени явно не понимал убийственности своей поправки, что его оставили в покое. Да, он какой есть, такой и есть. Всякий раз, встречая его, — а он ездит в Комарове» ловить рыбу, — угадывая еще издали на шоссе его ладную фигурку, с беретом на седых — соль с перцем — густых волосах, испытываю я удовольствие. Вот подходит он легкий, заботливо одетый (он даже трусы заказывает по особому рисунку), на плече рыболовные снасти, в большинстве самодельные и отлично выполненные; как у многих художников, у него — золотые руки. Я люблю его рассказы — их прелесть все в той же простоте, и здоровье, и ясности. Как в Бретани жил он в пансионе, вдруг шум за стеной. За каменной стеной сада, где они обедали. Натан взобрался на стену — все селенье, включая собак, копошилось и шумело возле. Прибой — нет, — прилив на этот раз был силен, дошел до самой стены пансиона и, отходя, оставил в ямах множество рыбы. «Тут и макрель, и все, что хочешь. И ее брали руками». И я вижу и стену пансиона, и берег. Стал этот незамысловатый случай и моим воспоминанием. Так же, услышав о реке Аа, вспоминаю, как поехал Натан летом 14 года на эту речку ловить рыбу. И едва началась война, как пристав его арестовал. «Почему?» А пристав отвеча-

ет: «Мне приказано, в связи с войной, забирать всех подозрительных лиц. А мне сообщили, что вы футурист».

23 января

Альтман — со своей ладностью, легкостью, беретом — ощущается мною вне возраста. Человеком без возраста, хотя ему уже за шестьдесят. Козинцев[1] как-то сказал ему: «Слушайте, Натан, как вам не стыдно. Вам шестьдесят четыре года, а вы ухаживаете за девушкой». — «Это ее дело знать, сколько мне лет, а не мое», — ответил Натан спокойно. <...> Как он пишет? Каковы его рисунки? Этого не стану определять. Не мое дело. Я знаю, что он художник, и не усомнился бы в этой его породе, даже если бы не видел ни его декораций, ни книг, ни картин.

28 января

Далее в телефонной книжке идет фамилия, попавшая на букву «А» по недоразумению. Катя думала, что фамилия нашего бородатого сердитого, безумного и острого комаровского знакомого пишется «Арбели». Он живет летом в академическом поселке.

29 января

Знакомы сначала, с давних времен, мы были с Тотей — она же Антонина Николаевна — живая, близорукая, привлекательная, скорее высокая, тощенькая. Знали мы, что она альпинистка, искусствовед, умная женщина. Была замужем за историком Щеголевым, овдовела. Я сомневался в ее уме. В интеллигентских кругах возле искусства выработался свой жаргон, и женщины, овладевшие им, легко зачисляются в категорию умных. Особенно их много возле театра, жаргон тут беднее эрмитажного, но зато непристойнее и веселее. Тут женщины, овладевшие им, называются не умными, а остроумными. Попугаи, повторяющие чужие слова, обнаруживаются просто.

Но попугаи, схватывающие чужой круг идей, числятся людьми. Поэтому я с недоверием принял утверждение насчет Тотиного ума. Несколько лет назад вдруг вышла она замуж за своего начальника академика ***Орбели*** и родила мальчика. Ей было за сорок, мужу за шестьдесят, и вот в этот период жизни познакомились мы с ней ближе, а с Иосифом Абгаровичем — заново. Прежде всего я, не без удовольствия, убедился в том, что Тотя и в самом деле умная. Она любила своего мальчика до полного безумия и однажды определила это так: «Смотрю на пейзаж Руссо. Отличный пейзаж, но что-то мне мешает. Что? И вдруг соображаю: воды много. Сыро. Ребенку вредно». Прелестно рассказала она о собрании в академическом поселке перед его заселением. Собрались будущие владельцы или их жены. В те дни неизвестно еще было — в собственность получат академики дачи или в пожизненное владение. Это особенно волновало членов семьи. И вот, сначала иносказательно, стали выяснять, что будет, так сказать, по окончании владения, — если оно только пожизненное. Куда денут иждивенцев? А потом, по мере того как страсти разгорались, вещи начали называть своими именами. Все академики были живы еще, но ораторши говорили: «Вдовы, вдовы, вдовы». И никого это не пугало.

Иосиф Абгарович слегка сутуловат. Огромная седая борода. Огненные глаза.

30 января

Огненные глаза. Одет небрежно, что, впрочем, у академиков и ученых в обычае. Люди, работавшие с ним, вспоминают эти годы с ужасом: трудно объяснить его отношение к тебе на сегодняшний день, и когда произойдет взрыв, угадать нельзя. Он из людей, которым власть необходима органически, без нее им и жизнь не в жизнь. За годы работы своей в Эрмитаже он, словно настоящий завоеватель, распространил власть свою на залы

Зимнего дворца, забрав покои, так называемые исторические комнаты — личные аппартаменты царей — и Музей революции. Когда началась война, то он с удивительной быстротой и отчетливостью эвакуировал весь музей — все у него было подготовлено. Славилось его умение выискивать и приобретать картины, пополнять эрмитажные коллекции — так говорили о нем в городе. Я был далек от Эрмитажа — повторяю то, что говорилось. А видел я своими глазами, как исторические комнаты исчезли и Музей революции впал в совершенное ничтожество. Видел, как на премьерах, на торжественных заседаниях появлялся спокойно, по-хозяйски академик Орбели, с большой своей бородищей, с академической шапочкой на редеющих волосах. В Комарове узнал я его поближе. Я сторонюсь людей властных, умеющих раскаляться добела чистой и беспричинной ненавистью. И я особенно остерегаюсь сановных людей. Не чиновников, а знатных людей. Однако вышло так, что стали мы иной раз встречаться. И отчасти потому, что я детский писатель, а Иосиф Абгарович страстно, не меньше, чем Тотя, а может быть, и отчаянней, любит сына. И когда тот пошел в школу, академик вошел в родительский совет. И ходил вместе с мальчиком знакомиться к Бианки, когда Виталий жил в Доме творчества. Итак, мы стали иной раз встречаться, и я разглядывал Иосифа Абгаровича с глубоким любопытством. Я, болея, сомневаюсь и, радуясь, сомневаюсь, имею ли я на это право.

31 января

Уверенность в законности и даже обязательности собственных чувств у него доходила до живописности. Были чувства эти сплошь отрицательные. Точки приложения — бесконечно разнообразные. Однажды, например, говорил он с ненавистью о молодой луне. В молодости работал он где-то на раскопках. И в небе в те дни, когда у Орбели были очень тяжелые переживания, стоял

точно такой серп. И Орбели возненавидел луну, правда, только в этой фазе. От силы его чувств пострадал однажды целый коллектив. В Москве собирались пересмотреть зарплату эрмитажных работников. Сильно увеличить ее, как только что увеличили в академических театрах. Увидев штатное расписание и новую смету, Орбели обнаружил, что какие-то особо и безумно ненавидимые им сотрудники будут получать более двух тысяч в месяц. И он задержал утверждение нового порядка зарплаты. И весь коллектив пал жертвой его ненависти к двум людям. Вскоре после того, как Иосиф Абгарович придержал увеличение зарплаты, его сняли с директорства. А новый не поднимал этого вопроса, так все и осталось, и два ненавистных сотрудника, а с ними и весь коллектив остались при старой зарплате. Снят с работы Орбели был по причинам стихийного порядка, с его личностью не связанным. Тут я особенно часто встречал его в Комарове — времени-то у него прибавилось. И я оценил его главное и основное свойство — талантливость. Все, что я рассказывал, — мелкие подробности. Пена, брызги, грохот, летят доски — разбило корабль — все это только признаки моря. Да, море имелось в наличии. И со всей своей стихийностью и чудачествами Орбели вызывал уважение. Правда, маленький Саша Козинцев, увидев его огромную бороду, разражался каждый раз горьким плачем. Однажды его уговорами и приказаниями заставили поздороваться с Иосифом Абгаровичем. Но едва тот ушел, как мальчик повалился на песок, рыдая. И повторяя: «Мама, ну разве он не ужасный!»

2 февраля

Следующая фамилия в телефонной книжке — ***Адаманис***. Ветеринарный врач. До войны было у нас двое: кот и кошка — Венечка и Пышка. До Венечки и Пышки жила Васёнка, дымчатая ангорская кошка, мать Венечки, строгая, умная и несчастливая кошка. В детстве своем

отличалась безумной веселостью. Умела открывать двери — прыгала на ручку и повисала всей тяжестью. Бродила по всей квартире на Литейном. И то влезет к соседу-художнику и до черноты вымажется в пыли. (Художник по сложности характера никогда у себя не прибирал.) То у мамы проползет на животе мимо бидона.

3 февраля

И по несчастливости своей все ходила на краю гибели. Ведь проползти через керосиновую лужу для кошки гибельно. И Васёнка обожглась, проползая через лужу у бидона. Отопление на Литейном было печное. Зажег я однажды щепки под березовыми дровами, закрыл дверцу и вдруг через минуту-другую в печке грохот, как будто упал кирпич. Я заглянул в дверцу и увидел по ту сторону дров круглые от ужаса Васюткины глаза. Она глядела на меня через пламя. И прежде, чем я успел подумать, что же делать, кошка одним прыжком перелетела через пламя ко мне — и рысцой через комнату, отфыркиваясь. Слюна тянулась изо рта. Дымчатая шерсть опалилась. Самые кончики шерсти. Но через полминуты она уже гоняла свою любимую игрушку — плетеный из соломы лапоток, а мы все еще не могли отдышаться. Уже на новой квартире, здесь, на Грибоедова, придя домой, увидел я плачущую Катю с окровавленными руками и Васёнку в судорогах на полу. Она стала играть с ниткой, а кончилось тем, что проглотила иголку. Я схватил ее — и был разом исцарапан тоже. Но как — и сейчас не пойму, — заметила Катя ушко иголки в самой кошкиной гортани и одним махом вытащила. И опять Васютка мгновенно успокоилась и отправилась к блюдечку своему пить. А мы еще только возились со своими исцарапанными руками и переживали происшедшее. Но трудней всего дались нашей несчастливой кошке ее роды. Из шести котят трое околели. Двое родились мертвыми, а один серебристо-дымчатый, в мать — тоже оказался несчастливым и погиб

на третий день своего рождения. Вот тут в первый раз, не в той, которой я пользуюсь, а в довоенной телефонной книжке, появились телефоны ветеринарных врачей. Васютка так долго мучилась родами, что пришел доктор. Матерью оказалась она, как и все кошки, страстной. Домработницу нашу тогдашнюю, когда не было нас дома, не пустила в комнату, где лежала с котятами. Прыгала на высоту ее лица и орала дурным голосом, и домработница позвонила нам.

4 февраля

Но вырастив своих двух котят, она так и не оправилась. Все хворала. Из необыкновенной веселости и храбрости сохранила она одну храбрость, когда жили мы на даче, держала она в строгости всех собак. Катюша слышала в Разливе, как дачница говорила своему псу: «Ну, куда, куда ты лезешь! Мало тебе вчера досталось». Котенком любила она очень, если к нам приходили гости. Она тогда ныряла: бросалась на ковер на стене вверх и мягким, ныряющим движением вниз. И так бесконечно, по многу раз. В первые годы, живя на даче, боялись мы ее отпускать. И в Сестрорецке она сама убегала, прыгала с нашего чердака в сад и на дерево. Сидит на суку, скрывается в листьях, глядит на меня своими зелеными глазищами, загадочно и как бы вызывающе и вместе с тем — с особым, кошачьим, племенным несокрушимым спокойствием. Когда попала Васютка за город в первый раз, то спокойствие изменило ей. Она попросту струсила. Сделала несколько шагов по дорожке, шагая словно горожанка, впервые рискнувшая пройти босиком, и взобралась поскорее ко мне на плечо. Но дня через два-три уже совсем одичала. Даже, ползя по траве, пыталась поймать, поддеть лапкой коровий хвост. Та паслась на лужке возле дачи. Любила Васютка подползти, распластываясь, к семейству гусей — и вдруг сесть, не скрываясь, в полный рост, и глядеть на переполох своими загадочными глази-

щами, по-кошачьи, — до наглости, до отрицания твоего существования, — спокойными. И вот веселая наша Васютка в четыре года принесла первых котят. И все таскала их с места на место. Беспокоилась. На ночь отправлялась она с ними двумя на нашу постель, перенесет одного, другого, побежит к корзинке, и вид опустевшего логова приводит ее в отчаянье. И она поднимает плач. Что творилось в ее круглой башке? Видимо, ощущала она, что котят было много больше, а осталось два.

5 февраля

И после котят, как рассказывал я уже, ушла, исчезла веселая, отчаянная Васютка. Преобразилась в мрачную, больную кошку. То она дремлет, то, открыв свои зеленые глазища, пристально вглядывается в угол, словно там стоит ее болезнь, несчастная ее судьба, то вскакивает и уходит торопливо в соседнюю комнату, в кухню или в ванную, прячется от боли. Пропала она в несчастнейшее лето 38 года на даче во Всеволожской. Она и на даче все искала убежища и однажды так и не вернулась домой. Боюсь этому верить, но один мальчишка рассказывал, что ее утопил в пруду некий дачевладелец. Васютка пряталась от своих болезней в куче хвороста на его участке. Ошалевший от убытков, и налогов, и старости, хозяин решил, что кошка подстерегает там его цыплят. И швырнул ее в воду, и, бросая палки, не давал ей выбраться на берег. А она металась по воде, пока не погибла. И опять я этому верить не хочу. В то страшное лето потерял зрение папа. И все было затемнено этим горем. Я не хотел больше никаких несчастий. Кроме рассказа о пруде и палках, были и другие, обнадеживающие. Кто-то видел Васютку у дачников по ту сторону Всеволожской, за эту версию я и уцепился. Но так или иначе, прожив у нас семь лет, — Васёнка исчезла. Сын ее и знаменитого в Ленинграде кота Апельсина — Венька совсем не походил на мать. Сохраняя все кошачьи особенности: загадочность

и безразличие взгляда, склонность к свободе, пристальное разглядывание чего-то неподвижного, занимающего точное место в комнате, но невидимого нам, и так далее и прочее — обладал он своим особенным характером. Был сдержан и благороден. Дети друзей таскали его на руках, хватали за лапы, но он, несмотря на молодые свои годы, только хмурился, как старый кот. Терпел. Никого не поцарапал за всю свою жизнь. Однажды поймал он птичку на даче.

6 февраля

И ему так влетело за это от Кати, что навсегда он, непривыкший к наказаниям, забыл о птицах. Но и мышей не трогал, полагая, что и это запрещено. Глядел на них и нежно говорил «мурр», не двигаясь с места. Но этот степенный, чуть сонный кот превращался в дикого зверя, едва встречал другого кота. Папа рассказывал, что глядел он на Венечку, бредущего к террасе, и думал, какое вялое, безразличное животное. И вдруг, без малейшего перехода, он с маха рванулся куда-то в сторону, вопль, и клубок из двух сцепившихся котов взвился под гамаком, где дремал сосед. Тот вскочил в страхе, а Веня уже гнал побежденного соперника прочь со двора. Или во Всеволожской. Прибегают мальчишки: «Идите скорее, ваш кот дерется на участке за дорогой». Я бегу. Первое впечатление, что здесь щипали курицу: вся полянка — в серых перьях. И тут же я вижу, что это клочья шерсти светло-серого кота. В драке — перерыв. Наш темно-рыже-серый стоит против своего белесого врага. У того от ненависти скошены глаза, неправдоподобно перекошена вся башка, по-змеиному. Я кричу, чтобы разнять котов. Чужой кот отступает, а Венечка, поняв так, что это я подоспел к нему на помощь, бросается на отступающего. Я хватаю Веньку на руки, улучив подходящее мгновение. На зубах у него клочья шерсти. Нос и морда в крови. Но, попав ко мне на руки, он подчиняется, за-

бывает всю свою дикость, не рвется. Дома Катюша смывает кровь, и мы убеждаемся, что она не Бенина, а вражеская. На морде нашего — ни царапинки. Белёсый кот появлялся не раз, и Катя, увидев его перекошенные глаза и неестественно выгнутую башку, решила сначала, что он бешеный. Пышку подарили нам в 39 году. Она очень походила на Венечку, отличаясь живостью ума, характера и крайним любопытством. Провалились в мостик задние колеса грузовика. Стоит народ, смотрит, а впереди сидит Пышка. Чтобы заманить ее домой, я перед дачей крутил веревку или прыгал каким-нибудь особым образом, и Пышка прибегала поглазеть.

7 февраля

Она обладала редкой для кошек особенностью: любила ходить гулять с хозяевами. На кошачий лад: обгоняя. Идем, — вдруг едва слышный шелест в кустах, и галопом на дорожку перед тобой вылетает Пышка. И глядит прямо тебе в лицо кошачьим, нагловато-спокойным манером. Любила она играть в лапту с ребятишками, но по своим правилам. Лежала в засаде, пропускала три-четыре удара и вдруг летела стрелой, обгоняя всех, первая подлетала к мячу и опрокидывалась возле него, когтила всеми лапами. И эти наши кошки погибли в блокаду. Уезжая, оставили мы их заведующей столовой. Дали денег на их прокормление и обещали вдвое, если кошки выживут, но они не выжили. У меня есть одно, связанное с Веней, воспоминание, к которому не могу привыкнуть. Он с самых малых лет терпеть не мог спать под одеялом. Пышка — напротив, все забиралась поближе, под самый бок тебе, так, чтоб голова ее лежала на подушке. И вот в последнюю ночь, когда уложены уже были вещи и дом был в полном беспорядке — наш кот что-то угадал. Проснувшись, увидел я, что Венька забрался ко мне под одеяло, забыв свой страх, словно понимая, что происходит. В эту последнюю ночь он подобрался как

можно ближе к человеку, чтобы его не забыли. Долго думали мы, что никогда не заведем больше кошек. Венька назван был в честь Каверина. У них была кошка по имени Катька. И Катюша сказала им, шутя, что в отместку назовет Васёнкиных котят: Венька и Лидка. Так мы и сделали. Лидку отдали, а Венька прожил у нас семь лет. Кошки замкнуты и несообщительны, но входят в твою жизнь, в жизнь семьи не главной, но заметной составной частью. У них нет чувства привязанности к человеку, врожденного, как у собаки. Оно, чувство это, деформируется из любви котенка. К человеку привязаны они, как в детстве к кошке. Тем более что он их кормит. Это особенно заметно, пока коту меньше года. Или кошке.

8 февраля

Знание о людях, которое таят они в глубине существа, больше, чем мы предполагаем. Венька будил меня на даче мягкой лапкой, осторожно ударяя по векам. Угадывал, что дело в глазах. Глаза открыты — значит человек не спит. Поразили нас они в день объявления войны. Выпускали мы их с утра, и только к вечеру с трудом соглашались они после долгих упрашиваний и хитростей вернуться домой. И кормили мы их в садике. Мы, услышав речь Молотова, сразу стали собираться в город. И кошки без зова вернулись домой и улеглись на веранде, словно боясь, что мы их забудем. Новый наш кот живет у нас уже одиннадцать лет. Мы его взяли в Москве для Письменских, а они тем временем в Ленинграде достали другого котенка. И мы оставили кота у себя с радостью, потому что успели к нему привыкнуть. Думая, что мы у него хозяева временные, не дали мы ему никакого имени. Так он и откликается на имя Котик до сих пор. В гостинице «Москва» прославился он своим умением ловить мышей и опрятностью. Месяцам к восьми достиг он своего великолепного роста, но по-прежнему, когда уходили мы, он протестовал и кричал, как маленький.

Мы слышали его мяуканье даже на лестнице. Принадлежал он к породе ангорской, отличался пышностью, хвостом в ширину спины. Бакенами. Привязан был к нам редкостно, а к месту — равнодушен. И в поезде, когда переезжали мы в Ленинград, он держался, как дома, раз хозяева возле — все в порядке. В Ленинграде опрятность его дошла до того, что научился он пользоваться человеческой уборной, по-человечески. Переехав в Комарове, он одичал. В самой даче был он кроток и рассудителен, но, выйдя на природу, превращался в зверя, почуяв кошку или кота. Преображался, как Венька. Но тот трезвел, едва возьмешь его на руки, а этот совсем дичал. Покусал однажды Катюшу, Мотю, потом меня. Пришлось пускать его только на чердак или под дом. На одиннадцатом году стал он прихварывать. Идет и вдруг падает.

9 февраля

И сейчас день мой начинается с того, что слышу я пронзительное, жалобное мяуканье. Наш кот по имени Котик бродит по квартире — по крошечной нашей квартире в 23 с дробью квадратных метра. И вопит. И вопли его с одинаковой силой врываются мне в уши, куда бы он ни забрел. И я угадываю: он чувствует, что плохо его дело. Дело идет к вечеру. Если окликнешь его, вопли прекращаются и кот отвечает негромко и жалобно. Чувства котенка, чувства кота — простейшие и ограниченные в своей мощи — не усложнились настолько, чтобы он со всей ясностью чувствовал, что дело идет к вечеру. Но все-таки тревожно. И кричит он, чтобы его взяли на руки. И тут он, как маленький котенок, мгновенно успокаивается и укладывается, как привык, лапы человеку на плечо. И мурлыкает. И перебирает когтями, как в детстве, когда сосал. Собака у нас первая. В истории наших животных. Других не было. Бывали — приходящие, а живущая — одна за двадцать пять лет, что мы прожили с Катей. Это черная нескладная Томка с башкой — хоть

куда, хоть на выставку, как сказал ветеринар, регистрируя ее, но с ногами коротковатыми и наклонностью к полноте. Привыкнув иметь дело с кошками, был я удивлен ясным и чуть ли не главным ее свойством: чувством человека. Упрямая любовь к своему и упрямая ненависть к чужому. Пойди уговори ее перестать лаять на незнакомого гостя. В детстве перебывало у меня множество собак, но я успел забыть силу их привязанности и все удивлялся на Томку. Главная ее задача — следить за нами: как бы не ушли мы без нее. Домработниц она слушается и даже любит их, пока они у нас. Уважает, так сказать, место, а не человека. Когда Шура, ушедшая от нас, попыталась взять ее, как бывало, на руки, Томка огрызнулась на нее. Скупа. Вечно прячет и перепрятывает свои запасы, зарытые в грядках. Ей влетает за то, что она с корнем вырывает клубнику, но скупость пересиливает. То и дело появляется она с носом, черным от земляных работ.

10 февраля

Или мы видим: идут гости, знакомые Томке, а она бежит впереди с костью в зубах. Чтобы не вздумали эти гости покуситься на Томкино богатство. И при всей покорности своей даже мне не отдаст она кости без протеста. Даже зарычит иногда тенорком. Когда шла борьба с бешенством, бродячих собак в Комарове убивали. Стреляли в них. Убивали заодно и не бродячих, если поблизости не было хозяев. Даже собак, сидящих на цепи: борцы получали зарплату поштучно. Томку оберегали мы тщательно. Но либо она видела, как стреляли в собак, либо поняла смысл далеких выстрелов, но с той зимы стала она неудержимо бояться пальбы. Ее ничем не успокоить, когда начинается артиллерийское учение на кронштадтских фортах. И еще больше боится она грозы. Забивается под диван с плачем. Потом выползает и глядит в окно, положив лапы на подоконник. Удар грома — и снова, скуля тоненько, как бы флажолетом,

забивается она под кровать. А однажды убежала в лес и пропадала там два часа, пока небо не прояснилось. Она следит за нами, чтобы не ушли мы без нее. Но вот Томка видит, что берем мы маленький чемодан, с которым всегда ездим в город. И все ее существо переполняется скорбью. Она лежит неподвижно и хвостом не вильнет, когда с ней заговоришь. Но когда мы возвращаемся, визжит она и задыхается, радуется до страдания. Если нам надо взглянуть, чтобы понять, котам достаточно услышать. Вот слушает наш Котик, что происходит в кухне. И встает с места, когда из-за окна достают мясо и начинают резать его маленькими кусочками. Томка, когда мы гуляем, восстанавливает в своем представлении все, что произошло на дороге за день, с помощью обоняния. Томка с детства научилась считать Котика существом высшим, чем-то вроде человека. А Котик срывает на ней дурное свое настроение: бьет лапой по голове. А Томка валится в отчаянии на пол.

11 февраля

Много раз удивляла меня загадка. Собака — вся отдает себя человеку, служит ему изо всех своих сил, до самой смерти. Кошка живет при человеке, привязываясь к нему, но работая для себя. Изредка разложит задушенных крыс возле хозяйской кровати. Покажет. А уважают куда больше кошку. Если собака забежит в алтарь, церковь осквернена. Если кошка — ничего. «Кошка» — слово ласкательное, а собачьим именем ругают. Почему? Видимо, по наружности. По физическому отвращению к запаху псины, который не заставишь забыть ни любовью, ни работой.

12 февраля

Следующая фамилия уж очень трудна для описания. ***Ольга Берггольц***. Познакомился я с ней году в 29-м, но только внешне. Потом, в 30-х годах, поближе, и только в

войну и после перешли мы на «ты». Говорить о ней, как она того заслуживает, не могу. Уж очень трагическая это жизнь. Воистину не щадила она себя. И со всем своим пьянством, и любовью, и психиатрическими лечебницами она — поэт. Вот этими жалкими словами я и отделаюсь. Я не отошел от нее настолько, чтобы разглядеть. Но она самое близкое к искусству существо из всех. Не щадит себя. Вот и все, что могу я из себя выдавить.

22 февраля

Дальше идет снова фамилия человека, которого уже нет на свете — это ***Бонди Алексей Михайлович***. Был он одарен богато и во многих областях. Хорошо писал, играл на виолончели, рисовал шаржи. Но считал он себя профессиональным актером, хоть в этой области был слабее всего. Очевидно, вся его душа была приспособлена к этому именно делу. Конституция его. Если не шла его пьеса, он огорчался. Но если не получал роль, о которой мечтал, то впадал в особое актерское отчаянье, доходящее до умопомрачения. Коренастый, с грудной клеткой сильно развитой, с большим ртом, крупной головой, длинными руками, спокойной манерой речи... как только дело доходит до умерших, мне еще труднее оживить их. Все верно и все не так. Сказал: коренастый, с широкой грудной клеткой, и сразу рисуется силач. А у него фигура была вполне интеллигентская. Был он интеллигентен глубоко и начисто лишен дара обижать. Даже впадая в священную актерскую ярость, не обижал, но обижался свыше всякой меры. Говоря о нем, невозможно умолчать о Нурм. Его жене. Это могучего дарования актриса. Ее прибалтийское, чухонское лицо делается прекрасным, когда играет Нурм на сцене. Один из признаков таланта. Но увы. Нет темперамента актерского, нет силы дарования в чистом виде. В особенности у актрис. И она столь же темпераментно обижается на жизнь, на погоду, на друзей, как играет на сцене.

А Нурм еще имела основание обижаться. Она играла удивительно. Глядя на нее, понимал я, как за одну фразу, далее одно слово, устраивали артистам овации. И ей удивительно не везло при этом. И она сердилась. Могуче. Темпераментно. Отлично играть и не иметь успеха, подобающего успеха, не получать подходящих ролей — поди-ка перенеси. Впрочем, я, дойдя до необходимости рассказывать о Бонди и связанный его смертью, теряюсь и сбиваюсь. Начнем еще раз.

23 февраля

Попробую распутать тот клубок, что возникал, едва я встречал Бонди или слышал его имя. Легко всплывал он в сознании и был настолько понятен, что я не распутывал его. Состоял клубок из уважения и неуважения, из вещей определимых и неопределимых. Уважал я его за то, что был он интеллигентен. И за это же и не уважал. У него за этим ощущалась вера в некоторые нормы. Но досталась она ему по наследству. Вера. И нормы тоже. Я предпочитал опыт, добытый лично. И некоторую беспощадность при исследовании веры и установлении норм. Пусть даже доходящую до юродства, как у Хармса, да и у всех них[1]. В нем ощущалась некоторая слабость — вот главная причина того, что в клубке связанных с ним чувств и представлений присутствовала доля неуважения. А кроме того, в театре ужасно о нем сплетничали. А от этого всегда что-нибудь остается. Его там за что-то не любили. И в самом деле, уж больно он был сложен. По сути актер, а на деле писатель. И не было в нем простоты. Так было до Сталинабада[2]. В Сталинабаде познакомились мы гораздо ближе, так близко, как случается в эвакуации. И оказался он проще, чем я ощущал до сих пор. Мы вместе ходили по гостям раз в неделю, образовалась традиция. И он читал записки Гусакова — вымышленный персонаж, придуманный им. Акимов чувствовал себя в Сталинабаде одиноким. Он вытащил

Бонди из Театра сатиры, где тот до сих пор служил. (До войны работал он в Комедии.) И Бонди, оставивши там жену, послушно приехал в Сталинабад. Зажил степенно, в правительственном доме европейской стройки, в том же, где Акимов. Ходил на рынок, готовил сам себе завтраки. Говорил, что мечта его дойти до такой степени богатства, чтобы жарить свиное сало на сливочном масле. А пока жили небогато. Ходили на рынок продавать. То нам выдадут накомарники — марлевые одеяния, и мы идем их продавать на рынок, то выдадут изюм. Этот, последний, впрочем, мы не продавали.

2 марта

В Москве получилось так, что встречались мы редко. Бонди написал там свою обработку «Льва Гурыча Синичкина» и много беспокоился, что никто не понимает, что сделал он, в сущности, самостоятельную пьесу. А так оно и было. И я писал, как завлит, разъяснения по этому поводу в Управление авторских прав. И в конце концов нужные инстанции признали «Льва Гурыча» пьесой самостоятельной. И спектакль очень удался, и вот здесь я был поражен удивительной игрой Нурм. У нее каждое слово было словно золотое. И словно колдовство — никто не понимал этого. То есть — недостаточное количество людей. Словно колдовство или проклятье не пускало ни Бонди, ни Нурм дальше известности в узком кругу. Написал он комедию, очень хорошую, но ее не пропустили. Написал пьесу для Образцова «Обыкновенный концерт» — и тут исключительный успех спектакля привел к тому, что автора просто забыли. И он обижался, но так как никого при этом не обижал, то считались с его полными достоинства протестами мало. Да в случае с Образцовым и протестовать-то не приходилось. За все это время я был у Бонди в гостях только однажды. С Акимовым. За столом с нами ужинала худенькая девушка с чуть-чуть слишком полными, негритянскими губа-

ми и огромными влажными робкими глазами. Совсем молоденькая, дочь каких-то друзей Бонди или Нурм, танцовщица. И была она влюблена в Акимова, не сводила с него глаз. И театр переехал в Ленинград. И мы снова здесь подружились. Однажды у нас сыграли они, сидя за чайным столом, скетч, написанный Бонди. Захотелось им проверить, смешной он или нет. И я еще раз удивился — как хорошеет Нурм, играя. Тут никакого грима не надо. Словно освещается лицо. Вот уж — божественная сила, творящая чудеса.

3 марта

Но я забыл рассказать о среде, о Ленинграде тех дней, 45—47 года. Стену нашей квартиры, пробитую снарядом в феврале 42 года, заделали, квартиру отремонтировали, и мы поселились на старом месте. Из жильцов напротив уцелело только семейство в четвертом этаже, где мальчишки вечно свисали из окон, собирались выпасть. Увидев Катюшу у окна, жильцы забегали, принялись звать кого-то из глубин своей квартиры. Узнали. Все окна напротив казались ослепшими: вместо стекол — фанера. Письменские жили в помещении Института усовершенствования учителей. Внизу, как войдешь, висело на дверце объявление: «Гардероб. Раздеваться обязательно». Но, открыв дверцу, видел ты бочки с цементом, доски и козлы, забрызганные известью. Город начинал, только начинал оживать. Нас преследовало смутное ощущение, что он, подурневший, оглушенный, полуослепший, — еще и отравлен. Чем? Трупами, что недавно валялись на улицах, на площадках лестниц? Горем? Во всяком случае приезжие заболевали тут фурункулезом какой-то особо затяжной формы. Странное чувство испытали мы, возвращаясь от Письменских в девять часов вечера. Июль. Совсем светло. Мы идем по Чернышевскому переулку, переходим Фонтанку по Чернышеву мосту, потом переулком мимо Апраксина двора. Потом мимо Гостиного

выходим на канал Грибоедова. И ни одного человека не встретили мы по пути. Словно шли по мертвому городу. Светло, как днем, а пустынно, как не бывало в этих местах даже глубокой ночью. И впечатление мертвенности усиливали слепые окна и забитые витрины магазинов. Вся почти труппа Театра комедии жила в гостинице, в «Астории» или в «Октябрьской» — все так или иначе потеряли свои квартиры. Родной город принимал своих блудных поневоле сынов, как и подобает существу больному, оглушенному — ему было не до нас. Бонди и Нурм поселились в «Астории». В телефонной книжке записан этот их номер.

8 марта

Дальше в телефонной книжке идет фамилия ***Бианки***. Его я знаю около 30 лет.

9 марта

Вот я вижу себя молодым и легким, не легче, чем теперь, впрочем. Я говорю о весе. Только что выбрался я из болота на дорожку и до того был счастлив по этому поводу, что никуда и не шел, а стоял на месте. Обсыхал. И, как я вижу теперь, всех и уважал, и не уважал. Радовался каждому новому знакомству в новой моей среде — и на каком-то внутреннем беспощадном измерителе отмечал безжалостно всё, что смущало меня в них, в новых знакомых. Я не глядел на показатель этого внутреннего измерителя, но помнил всегда, что он есть. И при неуверенности, так же в глубине — был крайне беспричинно уверен в себе. Скромность моя поддерживалась только одной мыслью, что никто ведь не видит еще, какой я молодец. Бианки я увидел в первый раз у Маршака. Внутренний измеритель отметил сурово, что у этого молодого человека маленькая голова и что-то птичье в круглых черных глазах. Я вежливо поклонился незнакомцу. Он ответил мне отчужденно. «Конечно, он

не знает, что я за молодец, но все же надо было бы почтительнее», — подумал я. Но скоро, при дальнейших встречах, первое впечатление рассеялось. Увидел я, что Бианки здоров, красив, прост до наивности. Звание писателя им тогда еще не ощущалось, как теперь, как бы некое призвание. Возник он тогда с первым вариантом «Лесной газеты». И выносил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник. Не образовалось у него тормозов, как у Пантелеева и Будогоской. Прост был и здоров. Однажды он тяжело меня обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирал рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с беспричинным безумным оживлением, что, бывало, нападало на всех нас тогда, вбежали Бианки и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так, не давая вывернуться. Как я обиделся! Долго не мог прийти в себя. Я не был слаб физически, но тут сплоховал. Обидно!

10 марта

А главное — сила показалась мне грубой и недоступной мне по своим границам. Бессмысленное, похожее не то на зависть, не то на ревность неведомо к чему, чувство. Не сразу оно прошло. Постепенно я привык и даже привязался к Бианки. Он оказался в том отряде хороших знакомых, у которых не бываешь, которых встречаешь редко, но всегда с открытой душой. Он был прост и чист.

27 марта

Последняя фамилия на букву «В» — ***Венгеров***. Это очень тихий человек, небольшой, с лицом не по фигуре правильным, но тоже нескладным. Не вполне живым. Напоминающим валета. Ему сильно за тридцать. Молодой режиссер. Когда я занимался мучительнейшим делом, на которое потратил два года с ничтожнейшим результатом — переделывал роман Ликстанова в сценарий и

пьесу[1], — появился у нас на даче Венгеров. Среди киношников не видал я человека, столь беззащитного и тихого. И на студии ощущали в нем существо другой породы. И все рычали на него, оскалив зубы, и если не кусали, то потому лишь, что он не отлаивался. Скромный, тихий, не вполне заполняя коричневый свой костюм, широкий, коротконогий и тощий — появлялся он и кротко выслушивал, знакомился с результатами моих мучений. И помалкивал. Не возражал. Он только что снял благополучно какую-то пьесу[2], но ему не засчитывали это. Только начальство, а не общественное мнение. В общем он, несмотря на кротость свою и хорошее ко мне отношение, сбежал, улизнул от моего сценария. И поставил фильм «Кортик» и опять имел успех. Во время съезда встретил я его вдруг в ресторане «Москва». Он сидел нескладный, тощий, с плечами одного сорта, плоской грудью — другого, ужасно некомплектный, с лицом валета, — но я обрадовался, увидев его. Вся нескладность его носила отпечаток порядочности. И я, поговорив с ним, утешился.

29 марта

Гернет Нина Владимировна возникла в суете редакций «Чижа» и «Ежа» — не могу вспомнить когда. Вероятно, в конце 20-х, а то и в начале 30-х годов, а то и ближе к середине. Нет, раньше. Я помню, что маленькая, четырехлетняя, Наташа заставляла меня бесконечное количество раз перечитывать повесть Гернет о лагере октябрят. Книжка вышла давно, сильно потрепалась — значит, уже вышла в свет в начале 30-х. Приняли мы Гернет, как всех в то время, как самих себя: весело, но не придавая значения. И скоро стала она составной частью той пестрой и шумной толпы художников и писателей, что собиралась каждый день вокруг детских журналов. Мы и знали и не знали друг друга. Каждый был до того занят решением своей судьбы, достаточно сложной, что остальных воспринимал как фон. Поглядывая на них между делом, —

постольку — поскольку. К работе товарищей в те годы относились мы недоверчиво и строго. Требования Маршака — с одной стороны, и Житкова — с другой еще были в полной силе. Поэтому на книжки Гернет, как, впрочем, и на свои, поглядывал я без уважения. Разглядел я, на ходу, что человек она в общежитии не трудный. Что в свои способности верит. Что соединяются в ней избалованность прошлых лет и воспитанность особая, заставляющая ее высоко держать голову и все острить, — воспитанность, заработанная горем и неудачами. Скоро узнали мы, что есть у нее ребенок, мальчик. А мужа нет. С годами выяснилось, что работник она полезный, особенно в журнале. Так мы и жили, а толпа вокруг журналов все редела. Незадолго до войны вышла Гернет замуж: за Салье злого, [одно слово нрзб], хромающего на обе ноги. Он был великим знатоком арабского языка. Оставил для Гернет жену. Но с войной распался их брак. Сын Гернет вырос. Женился. Она хворает, лечится, но, повинуясь воспитанности своей, все держит голову высоко.

4 апреля

Далее идет ***Гарин Эраст Павлович***. Тут надо мне будет собраться с силами. Тут я не знаю, справлюсь ли. Это фигура! Легкий, тощий, непородистый, с кирпичным румянцем, изумленными глазами.

5 апреля

С изумленными глазами, с одной и той же интонацией всегда и на сцене, и в жизни, с одной и той же повадкой и в двадцатых годах, и сегодня. Никто не скажет, что он старик или пожилой человек — всё как было. И кажется, что признаки возраста у него — не считаются. И всегда он в состоянии изумленном. Над землей… У него есть подлинные признаки гениальности: неизменяемость. Он не поддается влияниям. Он есть то, что он есть. Самое однообразие его не признак ограниченности,

а того, что он однолюб. Каким кристаллизовался, таким и остался. Он русский человек до самого донышка, недаром он из Рязани. Он не какой-нибудь там жрец искусства. Разговоры насчет heilige Ernst* просто нелепы в его присутствии. Он — юродивый, сектант, старовер, изувер в своей церкви. Он проповедует всей своей жизнью. И святость веры, и позор лицемерия утверждает непородистая, приказчицкая его фигура с острым и вместе вздернутым носом и изумленными глазами. Чем выше его вдохновение, тем ближе к земле его язык, а на вершинах изумления — кроет он матом без всякого удержу. Как многие сектанты его вида, строг к людям. И восторжен. Когда ставил он пьесу Юры Германа «Сын народа», отрицал он резко меня. Теперь я у него в мастерах. Эти страстные поиски людей не для себя, для церкви, привлекательны, когда числит он тебя в мастерах. А когда он тебя отрицает, замечаешь особую его деспотичность. Родовую. Про него нельзя, собственно говоря, рассказывать, не сказав ничего о Хесе, тощей, словно великомученица. С подозрительностью и мнительностью, порожденной первым ее театром[1]. С великодушием и добротой. Она дрожит над Эрастом, мучается.

8 апреля

Наташа Грекова — существо сложное, нежное и отравленное, словно принцесса какая-нибудь. Дом, где она живет с детства, — на углу улицы Достоевского и Кузнечного переулка. Нет, второй или третий от угла. В самом рыночном, суетливом, с лотками, пьяными инвалидами — месте. А входишь в подъезд — попадаешь в мир, которого нет. И это тревожит, как будто вошел в комнату, где лежит покойник. Слишком широкие сени. Выложенная кафелем надпись «Добро пожаловать» по-латыни или французски: все рассчитано было на жильцов, которые уже не живут на свете. Единствен-

* Святой серьезности *(нем.)*.

ная квартира уцелела тут с доисторических времен и при этом мало изменилась и сохранила прежних обитателей — квартира в бельэтаже, где проживал много-много лет Иван Иванович Греков. Был он широко известный профессор, хирург. Славился в литературных кругах как человек своеобразный, резко выраженного характера. Дружил с его семейством и с ним особенно — Федин[1], но после романа «Братья» — разошлись. Показалось Грековым, что семья их изображена в романе и при этом не так, как следует. С Наташей мы познакомились в Коктебеле. Тоненькая, с лицом в самую меру длинным, как полагается девушкам этой породы, черные волосы, светлые глаза, едва заметный пушок на верхней губе, крошечный рот. Угадываешь сразу, что она из хорошей семьи. Но тут же чувствуешь ее обреченность. Или отравленность, как я уже говорил. Каким ядом? А тем, что одинаково губит детей академиков, генералов, королей. Невидимые оранжерейные яды. Итак, познакомились мы с Наташей в Коктебеле и осенью 32 года вошли в дом на улице Достоевского. Двери открыл нам Иван Иванович. Как всегда бывает в огромных семействах, на звонок долго никто не шел, каждый надеялся на другого, пока, рассердившись, сам профессор не отпер нам двери.

9 апреля

Мы увидели большую темную переднюю с зеркалом, столиком, картиной в овальной рамке, такой же темной, как стены, стулья с высокими спинками, пол с ковром. Иван Иванович показался мне старым, старше, чем ждал я по рассказам. Стариковская посадка белой головы, сутулость, седые усы вперед, прямо на тебя, словно бы для того, чтобы отстранить, бородка. Глаза небольшие, строгие, по-стариковски беловатые. Но все же, не глядя на возраст, на белизну сильно поредевших волос, он существовал, уж он-то был весь в настоящем, не в пример дому и передней, где, как я узнал со временем, полагалось

ждать пациентам. Иван Иванович считался одним из первых в стране хирургов. И завоевана была эта слава не случайно. Сразу угадывал ты человека недюжинного, нашедшего себя. И по-русски не раздувающего этого обстоятельства. Он, например, терпеть не мог, когда называли его профессором. Хотя имел это звание. Он знал себе цену. Но знал и цену славе. Не хотел ей верить. Он был серьезный человек, вот в чем дело. И он существовал. А у вещей и у стен вокруг вид был неуверенный, словно ожидали они с минуты на минуту, что попросят их присоединиться к их племени, ушедшему на тот свет много лет назад. По длинному коридору прошли мы в огромную и тоже неуверенную в праве своем на существование Наташину комнату. Принцесса тоже была не уверена в себе, не уверена в нас и все поглядывала на отца — как мы приняты. А тот все отодвигал, отстранял меня усищами, чтобы отодвинуть подальше и разглядеть. Но вскоре отношения стали много проще. Он обожал Наташу и поэтому скоро признал нас. Им я восхищался, а Наташу обижал. Ее нежность, уязвимость, особое, вечное беспокойство по поводу того, как относятся к ней друзья, рассеянность, слабость были мне очень уж знакомы по мне самому. И я вечно придирался к ней, был попросту жесток. Но у Грековых любил бывать. Признаки времени, двух времен выступали там.

10 апреля

И меня трогала приязнь человека в этом направлении не слишком щедрого, во всяком случае разборчивого. По мере того как открывалась нам комната за комнатой — все отчетливее выступала призрачность обстановки. Она умерла, но не сдавалась. В столовой и комнате хозяйки висели картины, все небольшие, в золотых рамках. На рамках — таблички с фамилиями художников. Когда-то были они, вероятно, ценимы, эти художники, почему-то все больше французы, — но умерли

и вымерли и ценители, и они сами. А главное, умерла и школа. И страшновато было, когда ты вдруг понимал, что всех этих покойников принимают за живых. А они умерли настолько недавно, что запах тления еще носился вокруг них. Самая большая комната — кабинет Ивана Ивановича был темноват по тонам. И носил подчеркнуто полемическо-русский характер: кресло, письменный прибор. И это очень, очень русскому Ивану Ивановичу — не слишком шло. Как не нужно ему было звание профессора. Национальность угадывалась по признакам более драгоценным, как и его мастерство...

11 апреля

...Следующей за столовой была комната матери семейства Елены Афанасьевны. Женщина высокая, в меру полная, скорее осанистая, с очень ясными следами замечательной красоты. Она была членом Союза писателей. По старому, еще дореволюционному уставу — автор, выпустивший в свет книгу, имел право войти в Союз. У Елены Афанасьевны вышла некогда книга рассказов. Каюк? Кто знает. Дома о них не говорилось. И у нее в семейной жизни не все ладилось. И у нее выражение лица было обиженным. И кроме того, ошеломленным. Она все откидывала голову гордо и при этом глядела с таким выражением, будто не совсем ясно понимает, что ей говорят. Где-то в недрах квартиры обитала древняя, совсем белая немка, гувернантка, вырастившая грековских детей. Двигалась она медленно, плавно. Ведала хозяйством. Подходила к телефону и вместо «я слушаю» говорила «я сюсю».

12 апреля

Однажды за столом, задетая какой-то невинной шуткой Ивана Ивановича, она разразилась длинной тирадой. Она сообщила нам, что в этом доме ее уже ничто не может удивить. Однажды она даже встретила в коридоре

церковь. И молча поклонилась ей, и прошла дальше. Иван Иванович отнесся к этому заявлению весело, а Елена Афанасьевна заподозрила тут какое-то неуважение к ней. Беспомощно сказала: «Иван Иванович — ну что это она!» — и гордо откинула назад голову. Но ошеломленное выражение сняло всю надменность позы. Гости у Грековых бывали трех видов: ученики и коллеги Ивана Ивановича, знакомые дочерей и, наконец, самый близкий к призрачной, засидевшейся посмертно обстановке их — круг хозяйки дома. Тут бывал некогда известный актер и автор пьес, шедших в «Кривом зеркале» — Урванцов. Бывали вдовы некогда известных художников. Бывала известная поэтесса Изабелла Гриневская, страшная, рослая, очень старая, с лицом, сохранившим какую-то тень миловидности. Выражением своим несколько ошеломленным напоминала Елену Афанасьевну. Мне казалось, что вызвано выражение возрастом — никак не может поэтесса к нему привыкнуть. Бывал некто, которого называли пушкинистом — человек вечно пьяный, вечно смеющийся, с заплетающимся языком. Он, этот пушкинист, заявил однажды, что няня Пушкина пережила его на много лет. А на возражение ответил: «Ну, не знаю, только я сам видел на кладбище ее могилу». Знакомые Ивана Ивановича были много интересней. Среди них самым любопытным показался мне Сперанский[2]. Квадратный солдатский затылок, умышленная грубость речи. Тогда только что заговорили о его блокаде[3]. Шишков спросил, в чем смысл этого открытия. И Сперанский ответил резко: «Смерти боитесь? Нет уж, бессмертия не дождетесь». Но почувствовав, что добряк Шишков только удивился его грубости, сразу смягчился и стал говорить.

13 апреля

Говорил убедительно и ясно. Медицина, старейшая из наук, а до сих пор не имеет теории. Все чистейшая эм-

пирика. Мы пробуем создать эту теорию — и так далее. И это был человек русский, очень русский. Он не в силах был начать говорить, не разрушив, не наказав свирепо половину, по крайней мере, своих предшественников. Да нет — что я говорю — всех, за двумя-тремя исключениями. И жил он свирепо — все нападал, и поучал, и казнил. У Ивана Ивановича в Обуховской больнице ставил он опыты свои по блокаде, и на этот период времени был у него Иван Иванович — в исключениях. Он признавал блокаду — значит принадлежал к той же церкви...

14 апреля

Бывал у Грековых терапевт, профессор Горшков, тоже усатый, с бородкой, белый, тоже с общим ощущением талантливости, но менее характерный, более мягкий, чем Иван Иванович. Бывали его ученики и среди них Петя Сиповский, о котором рассказывал я, вспоминая Сталинабад. Остальных молодых врачей не запомнил, бывали они редко, от случая к случаю. Однажды Иван Иванович подмигнул на одного из них, сидящего скромно за стаканом чая. Подмигнул глазом и усом добродушно и удовлетворенно и сообщил вполголоса: «Он сегодня сделал первую операцию на сердце». В обыкновенные дни, когда не было гостей, Иван Иванович выходил к столу и выносил графинчик с петухом внутри. До самого гребня был покрыт петух разведенным спиртом. Был с нами Иван Иванович ласков и внимателен. Однажды — в тот день почему-то ужинали мы у Наташи в комнате — он почистил собственноручно кильки для Кати. И мы удивились ловкости и быстроте, с которой совершили это его золотые руки. О нем говорил кое-кто из хирургов весело, а кое-кто с раздражением, что моет он руки с меньшим педантизмом и меньше времени, чем положено. А он возражал на это, что для асептики, кроме чистоты, нужна быстрота. Сколько времени открыта полость — дело первейшей важности. И он разработал

технику какой-то операции желудка, сведя ее к двадцати с чем-то минутам вместо часа с чем-то. Впрочем, вероятно, я неточно говорю. Так запомнилось. Две операции, кажется, разработал он. В те дни, когда у Ивана Ивановича были гости званые, занят был весь огромный стол. Однажды Елена Афанасьевна распустила волосы и все с тем же ошеломленным выражением еще красивого лица продекламировала гостям «Письмо женщины» Апухтина. И все хлопали. А поэтесса Изабелла Гриневская сказала: «Я ненавидела это стихотворение. Женщина не должна так писать мужчине. Унижать себя. Но вы примирили меня с ним вашим исполнением. Браво!»

25 апреля

Мы, несмотря на вечную войну, уже воцарившуюся в детской ленинградской литературе, жили, в сущности, еще довольно тесной семьей. За нами потянулись к Грековым Олейников[4] и Хармс — еще пестрее стало в грековском доме. Олейников попал в большой день, когда собрались гости Елены Афанасьевны во всей своей силе. Призраки, но при этом из мяса, костей и крови, что делало их куда более пугающими, чем классические полупрозрачные. Олейников со свойственной ему впечатлительностью даже рассердился на меня, что не предупредил я его о том, что ждет его в доме с выложенной кафелем надписью «Добро пожаловать» по-латыни или по-французски. Точнее, он заподозрил, что я не заметил всей мрачности этого зрелища и обрушился на меня со всей язвительностью своей. Но вскоре он притерпелся. Особенно ему пришелся по характеру Иван Иванович. Они разговаривали охотно друг с другом. Однажды Иван Иванович спросил Олейникова: «Какая школа в медицине, по-вашему, лучше, — немецкая или французская?» «Желая ему сделать приятное, я ответил — немецкая, — рассказывал потом Олейников. — Мне почему-то показалось, что она должна ему нравиться больше. А он

даже рассердился на меня! Оказывается, немцы считают, что боль вреда не приносит. А французы — что она развивает в организме яды и борются с нею. Не боятся наркотиков. И они правы!» Нравился Ивану Ивановичу и Хармс. Так и шли дни за днями. А дела у Наташи Грековой не ладились. Работала она у профессора Лондона, по биохимии, но все опаздывала в лабораторию. Печально и неуверенно своим высоким, чуть дрожащим голосом жаловалась она, что не подняться ей утром! Кто-то из физиологов советует, проснувшись, сделать несколько резких движений ногами. Это усиливает кровообращение, вызывает бодрость. Но у нее не хватает энергии и на эти несколько движений.

16 апреля

Бедная царевна понимала, что надо менять *жизнь.* То есть менять себя, — а как? Легко сказать.

В 34 году была премьера «Клада»[5]. Я позвал Ивана Ивановича с Наташей. На генеральную репетицию. В те дни шел в ТЮЗе ремонт фойе. Зрителей задержали перед началом репетиции на лестнице. Я вышел из-за кулис и ужаснулся. В толпе стоял у перил Иван Иванович с лицом серым, ссутулившись больше обычного, с мертвенным взглядом. Возле Наташа, встревоженная и беспомощная. «Мне бы сесть, голубчик, только бы сесть!» Я бросился к Брянцеву, и мы проводили Ивана Ивановича в кабинет директора. Летом я встретил в Сестрорецке профессора Горшкова с дочерьми. И он отвел меня в сторону и попросил, чтобы объяснил я как-нибудь семье Ивана Ивановича, как тяжело тот болен. Не хотят они этого понять, а он все время — на волосок от гибели. За ним надо смотреть.

17 апреля

Но никто не хотел верить, что Иван Иванович болен так тяжело. Не верил этому и сам он. Иной раз исчезал

он, скрывался от гостей в своей спальне. Лежал и читал «Историю» Соловьева, но чаще оставался среди гостей. Я очень любил неторопливые, негромкие его рассказы. Так, однажды рассказал он, как поступил сначала на филологический Московского университета. И пробыл там год. И вот пришло время экзаменов. И греческий язык сдавал он в темном, полуподвальном помещении. Холодно, сыро. «И напала на меня, голубчик, тоска. Выхожу — просто идти не могу от тоски. Что же — это, значит, на всю жизнь? В гимназии греческий, тут греческий. Не могу дышать, взял извозчика. Приехал домой. Измерил температуру — 40! Воспаление легких. Тяжелое. Увезли меня после болезни на Дон. А когда вернулся — не могу учиться на филологическом.

Опротивел он мне. И поступил я на медицинский. И на первой операции, которую увидел, потерял сознание». Рассказывал с удовольствием он о разных течениях по обезболиванию и как пострадал он сам однажды на этой почве. Пришел в клинику с сильнейшей зубной болью и попросил выдернуть зуб. И молодой доцент взмолился: «Позвольте я сделаю это!» Три точки он определил, при вспрыскивании в которые наступало полное обезболивание. Иван Иванович согласился... После удаления зуба доцент спросил: «Ну, как?» — «Больно было, голубчик! » — «Какой вы терпеливый человек! — сказал доцент с уважением. — Профессор такой-то по всему саду от меня бегал, а я за ним со щипцами». О своих успехах, о своих операциях — никогда ни слова не говорил Иван Иванович. А был он всегда и прежде всего в работе. В ее сути. Тут не потянет хвастать. Однажды сказал он дочери: «Никогда бы не согласился на операцию. Такая страшная встряска всего организма!» Он стоял перед самым делом с его трудностями и задачами, которые еще не решены.

18 апреля

Люди подобной породы, которым, на мой взгляд, цены нет, не то что лишены честолюбия. Но видя свое дело во всей сложности, они понимают всю относительность собственных успехов. Успех им приятен, но основные желания, их настоящая жизнь проходит в другой сфере. Наташа рассказывала, что когда он был еще молодым хирургом, то сделал очень сложную операцию какой-то женщине. Операцию ноги. И пациентка Ивана Ивановича, поправившись, ехала на пароходе, где познакомилась с Чеховым. И Чехов, узнав, какая была операция, сказал, что делал ее, несомненно, хороший хирург. Об этом рассказала Наташа, о других успехах и победах Ивана Ивановича — ученики и друзья, а он молчал о деле своем. Нет, о своем участии в деле. Был он человеком могучего самообладания. Обыкновенно врачи избегают лечить близких людей. Даже диагноз не решаются поставить. А Иван Иванович оперировал старшую дочь от первого брака. У той был рак груди. Спасти ее не было почти возможности. Один шанс из тысячи. Уж очень запущенный был случай. Никто не соглашался на операцию, а Иван Иванович не мог отказаться хотя бы от тени надежды. И провел операцию с обычным своим блеском. Но было уже поздно. Держался он всегда спокойно до строгости, отстраняя усищами и взглядом неугодного, но холоден не был. И была у него обостренная впечатлительность, отзывчивость, доходящая до слез, что смешит людей без памяти и воображения. Задевшее его слово или представление, не снимая его суровости, вызывало, как это бывает со старыми людьми с душой, разработанной до глубины и вполне до глубины живой, — слезы на глазах. Так вот он и жил, окруженный людьми, которых сам избаловал донельзя и за которых болел теперь душой, подчиняясь колее, которую сам создал. Щедро отдавая все, что зарабатывал. А с Наташей мы все ссорились. Я ненавидел в ней те силы, или,

точнее, ту слабость, что знал и за собой. Но я раздражался. В ненависти есть некоторое уважение, а я все ругался. Безжалостно.

19 апреля

Однажды я имел жестокость сказать, что приду к ней в гости, только если Иван Иванович будет дома. И она по слабости и нежности своей пожаловалась отцу. Ей нужно было, чтобы боль прошла немедленно, сейчас же, чтобы ее утешили и погладили. По тем же душевным свойствам своим, не уходила она, когда я бранился, а оставалась у нас, искала немедленного утешения у Катерины Ивановны. Или приходила на другой день и поглядывала тревожно и внимательно, старалась понять, не перестал ли я учить ее, не понял ли, что надо ее сейчас же утешить. А в доме у них становилось все тревожнее, никто не хотел верить, что нависла гроза над темными его коридорами и просторными темными комнатами. В именины Ивана Ивановича, — а может быть, произошло это в день его рождения? — собрались мы у них, как ни в чем не бывало, а вместе с тем чувствуя, что этого не следовало бы делать. Уже с неделю Наташа через свою горечь чувствовала и холод, и страх — понимала, как болен отец. Но сил отказаться от праздника не нашлось. Собрались мы все сначала в Наташиной комнате. Здесь мы с Олейниковым написали Ивану Ивановичу поздравительные стихи:

Я пришел вчера в больницу
С поврежденною рукой.
Незнакомые мне лица
Покачали головой.

Закрутили, завязали
Руку бедную мою.
Положили в белом зале
На какую-то скамью.

Вдруг профессор в залу входит
С острым ножиком в руке,
Локтевую кость находит
Лучевой невдалеке.

Плечевую удаляет
И, в руках ее вертя,
Он берцовой заменяет,
Улыбаясь и шутя.

Молодец профессор Греков —
Исцелитель человеков.
Он умеет все исправить,
Хирургии властелин!

Честь имеем Вас поздравить
Со днем Ваших именин!

Сначала не решались мы передать имениннику стихотворение, казалось нам, что слова «Молодец профессор Греков» звучат больно уж фамильярно, но Наташа сказала, что ничего, и пошла к отцу. Известно было, что чувствует он себя настолько плохо, что к гостям не выйдет. Скоро и меня потребовали к нему, и увидел я еще одну комнату.

20 апреля

В те годы странно было видеть, что работает человек в одной комнате, а спит в другой, но квартира Грековых была таинственно поместительна. Я до сих [пор] не уверен, что побывал во всех ее комнатах. Несомненно, не побывал: я не видал ни разу, где скрывается Ваня со своим странным лицом человека, спящего с открытыми глазами. Спальня Ивана Ивановича оказалась тесноватой, скромной. Мужской. На одеяле лежал томик «Истории» Соловьева. Глядел на меня Иван Иванович одобрительно, глаза за густыми бровями весело поблескивали, усы не были нацелены на меня, а разошлись широко — он улыбался. Он остался очень доволен нашим стихотворением. «Какой-то процесс описан», — сказал Иван Иванович и усмехнулся. Понравились ему и строчки:

Он берцовой заменяет,
Улыбаясь и шутя.

«Да, уж тут пошутишь», — сказал он весело. Скоро мы услышали, что Ивану Ивановичу лучше. Однажды я увидел его днем на Владимирской у трамвайной остановки. Он одет был всегда не то что неряшливо, а без заботы об этой стороне своего быта. Заговорившись, не заметил, что отходит нужный ему номер, и большими шагами, почти бегом, догнал вагон и вскочил на переднюю площадку. «Нет, он еще поживет», — подумал я. Через несколько дней пришли мы в гости к Ивану Ивановичу. И Хармс с нами. Иван Иванович появился в столовой веселый, обычная бледность исчезла. Я даже подумал, что он после ванны. Оказалось, что нет. «Как вы хорошо выглядите, Иванович», — сказал я. «Не знаю, почему, голубчик! Может быть, потому, что я прямо с похорон хирурга?» Оказывается, пришел Иван Иванович с гражданской панихиды по Вредену. Там ему стало нехорошо, один из его учеников, молодой врач, увел его в какой-то из кабинетов клиники, усадил, и Иван Иванович отдышался и повеселел. И сказал: «Стыдно врачу признаваться, а ведь я не верю, что умру». Об этом случае узнали мы через несколько дней. Иван Иванович не рассказал домашним о своей дурноте. Был оживлен на редкость. Даже чуть возбужден.

21 апреля

Как бы праздничен. И вечер прошел весело. Наташа смеялась своим высоким, надтреснутым смехом. Хармс достал белые целлулоидные шарики, с которыми не расставался, и со своим обычным спокойным видом, словно ничего он особенного не делает, стал показывать фокусы. И это оценил Иван Иванович. Глаза его весело заблестели за густыми бровями, и дрогнули усы. Мы весело простились с ним. А на другой день прибежала к нам Ирина Сиповская и, едва успел я открыть ей дверь, сказала, что

Иван Иванович умер. Что делать? Идти сейчас к Грековым? Но после такого страшного удара дом представлялся изменившимся, непонятным, разрушенным, как после взрыва. Сейчас там не до чужих. Ирина рассказала, что был Иван Иванович в Институте усовершенствования врачей. Шел по коридору под руку с приехавшим из Москвы Розановым и еще каким-то хирургом, фамилию которого забыл. Был он весел — обоих этих людей он очень любил. После заседания они собирались пообедать вместе. И Иван Иванович сказал: «Что это мы всё заседаем, заседаем — надоело!» — и вдруг опустился на пол. Умер. Двадцать минут бились с ним друзья, вспрыскивали, что положено, все не хотели верить тому, что произошло. На гражданскую панихиду в Обуховской больнице пришли мы с Сиповскими какими-то боковыми входами. Переполненный зал. Иван Иванович суровый лежит высоко в гробу. Поставлены кресла для семьи. Мы задержались в маленькой полутемной комнатке, здесь формировали четверки почетного караула. Попал в такую четверку и я. И едва занял я место у гроба, как Наташа вскрикнула горестно и тоненько: «Женя!» — и заплакала вся грековская семья. Всем припомнилось, как встречались мы до сих пор и вот как встречаемся мы теперь. Начались речи. Карпинский, тогдашний президент Академии, кроткий, до того старый, что вели его под руку, маленький, говорил с детской простотой, как ему жалко Ивана Ивановича. «Мы не были знакомы домами, но я знал, какой он хороший человек, какой ученый».

22 апреля

И когда Карпинского увели и одевали, он все оглядывался кротко, как добрый ребенок, и казалось, что от седин его исходит свет. Говорил на панихиде и Павлов. У этого старость была стальная. Высокий. Надежный — сам поддержит под локоть, при случае. Такого вести не требуется. И речь свою начал так: «Великий учитель человечества,

Христос, сказал: «Возлюби ближнего своего», — и зал зашевелился и зашелестел, пораженный, но тихонько, не нарушая похоронного чина. На похороны мы не пошли, все по той же ошеломленности, особой застенчивости. Народу собралось множество — огромная толпа проводила Ивана Ивановича до кладбища. И кто-то из знакомых рассказал мне, что есть такое поверье: покойник встречает на том свете каждого, кто проводил его до могилы. И я подумал с огорчением, что меня Иван Иванович, значит, не встретит. Через несколько дней позвали нас к Грековым, и Елена Афанасьевна просила не оставлять дом, собираться, как в дни, когда Иван Иванович был жив. И Сперанский за ужином сказал речь с бокалом в руке, сердитую речь по отношению к живым, смеющим полагать, что мог бы Иван Иванович прожить дольше, веди он более осторожный, осмотрительный образ жизни. «Прожил Иван Иванович ровно столько, сколько мог. И умер стоя, как римский император». В этот вечер впервые заметил я на маленьком столике кабинетную фотографию — Иван Иванович с маленьким Ваней на руках. На стуле, в свободной и легкой позе, придерживая легко мальчика, молодой, чернобородый, весело глядел он вперед и весь был полон той игрой, тем оживлением, что вспыхивало в его глазах до последнего дня. И я вдруг подумал: «Теперь я могу, вспоминая, выбирать любого Ивана Ивановича. Того, что на карточке, не существует больше. Но нет и того, что неделю назад жил среди нас, то задыхаясь, то приходя в себя. На этой карточке он счастлив, и легок, и весел. И вот о таком и буду думать сегодня. Он прожил целую жизнь — а я из нее выберу, чтобы утешиться, Ивана Ивановича молодым.

23 апреля

Без Ивана Ивановича сборища у Грековых стали догорать, дымить. Наташа еще некоторое время у нас бывала, но постепенно, постепенно этот период жизни переменился. Грековы исчезли, погасла беспокойная

дружба с Наташей. Не могу вспомнить, как совершилось это замирание. Вскоре вышла Наташа замуж. Грековская бесконечная квартира смирилась, уплотнилась. С Грековыми совсем разошлись наши дороги году в тридцать пятом. А года три-четыре назад передавали по радио записанную на пленку мою встречу с детьми во Дворце пионеров. Там читал я сказку. Минут через пять после конца передачи — звонок. И нетерпеливый детский голос спрашивает: «Ну, а куда она ушла? Жаба?» — «А кто это говорит?» — «Ваня говорит. Куда она потом пропала? Зазвонил телефон, они выключили радио!» Тут раздался знакомый высокий надтреснутый смех, началом тридцатых годов пахнуло на меня — Наташа Грекова взяла трубку. Ее сынишка Ваня потребовал, чтобы вызвали к телефону меня, раз уж помешали дослушать передачу. Елена Афанасьевна умерла. Нелли и Наташа только и оставались в старой квартире. Ваня работал где-то на периферии. Все это я знал, но, слушая Наташу, представлял я себе тот же бесконечный грековский дом и не в силах был представить себе другого. Увидел я потом и мальчика. Красивый, крепкий, глаза синие, немножко уж слишком независимый. На меня он поглядывал с удивлением, не лишенным насмешки. В прошлом году увидал я на площадке электропоезда Наташу. Ваня, уже школьник, стал прихварывать, приходится жить с ним в Зеленогорске. И такой отчаянный, такой непослушный! Наташа жаловалась не на прежний лад — ей, в сущности, нравилась определенность характера мальчика. Виски у Наташи чуть поседели, стал заметнее пушок в углах крошечного рта. Она работала в какой-то лаборатории в каком-то институте. Мне казалось, она — принцесса в изгнании — скорее довольна жизнью. Я записал ее телефон — вот откуда он в послевоенной книжке.

3 мая

А следующий телефон уже на букву «Д». ***Дом кино.***

4 мая

Когда попал я туда, в Дом кино, он был еще молод, и своей самоуверенностью и элегантностью чисто профессиональной раздражал и вызывал зависть. Для утешения я придумал, что разница между писателем и киношником такая же, как между обтрепанным и сомневающимся земским врачом и процветающим столичным зубным. Как зубной врач, имеющий свой кабинет на Невском, выходит в рассуждениях своих далеко за полость рта: «Рассказ делается так: сначала завъязка, потом продолжение, потом развъязка» — так и киношники судили обо всем на свете, не сомневаясь в своем праве на то. Любимая поговорка их определяла полностью тогдашнее настроение племени. Начиная вечер, ведущий спрашивал с эстрады ресторана: «Как живете, караси?» И они, элегантные, занимающие столики с элегантными дамами, отвечали хором: «Ничего себе, мерси!» Приблизившись к Дому кино, обнаружил я, что настоящие работники кинофабрики «Ленфильм» появляются там не так часто. И не они создавали тот дух разбитного малого, что отличал толпу Дома. Скромен, хоть и отлично одет, был Козинцев. Тихо держались братья Васильевы. Шумно и уверенно держалась безымянная толпа, что питается возле процветающего дела. А «Ленфильм» был на подъеме. Только что грянул успех «Чапаева», словно взрыв. Бабочкин, Чирков, Васильевы, Варя Мясникова подняты были волной до неба, стали разом, в один день, знамениты на всю страну. И картина имела, кроме официального, настоящий массовый успех. Имели успех и картины «Юность Максима», и «Возвращение Максима», и «Выборгская сторона». Прославился «Великий гражданин» Эрмлера. Этот режиссер держался тоже скромно, хотя и необыкновенно значительно, как мыслитель. «Ленфильм» широко славился. И вокруг столпились, слетелись, зажужжали самые предприимчивые люди города. А может быть, и страны. Кроме картин вышеупомяну-

тых, выпускала фабрика и картины второстепенные, имеющие успех у своего зрителя. Совсем уже небрежно одетый Адриан Пиотровский[1] был владыкою сценарного отдела.

5 мая

Считали они себя самым искренним образом самыми главными на земле. Был такой поэт по фамилии Тиняков, человек любопытный. Он просил на улице милостыню по принципиальнейшему и глубокому отрицанию каких бы то ни было принципов. И кто-то из Дома кино сказал: «Слыхали? Тынянов-то! Пока работал у нас, человеком был, а теперь на улицах побирается». Мало того что Тиняков и Тынянов звучало для них одинаково. Они понятия не имели, что у Тынянова вышли романы, наделавшие шуму[2]. (Не знала, впрочем, народная чернь, режиссеры знали.) А чернь смутно помнила, что, когда начинали ФЭКСы, Тынянов что-то там для них делал. После войны Дом кино сильно присмирел. Да и слава «Ленфильма» поблекла. Беда в том, что нет сплошной и непрерывной истории театров, писателей, кинофабрик. «Ленфильм» получил имя киностудии, но не принесло это ему счастья. Ввиду отсутствия непрерывности, этот прежний «Ленфильм» терпел некоторые неудачи. Нет. Та история оборвалась. Образовалась пропасть между прежним, отличным, и новым, порицаемым, «Ленфильмом». Старые режиссеры рассматривались как новые, за которыми нужен глаз да глаз. И Дом кино соответственно изменился, стал менее разбитным и гораздо более склонным к теории. Там начались по средам семинары с просмотрами картин. Я не люблю ходить в театр. День, когда мне предстоит посетить спектакль знакомого режиссера или знакомого автора, полон тягостного ощущения несвободы. Любое другое времяпрепровождение кажется мне куда более привлекательным. А кино — люблю. В эти среды старался я заранее во что бы то ни стало

освободить вечер. У меня была особая книжечка, дающая право посещать эти семинары, и я шел туда, в Дом кино, и стоял в очереди, чтобы мне отметили места в просмотровом зале.

12 мая

Следующий после Детгиза — ***Деммени Евгений Сергеевич***. Томный, раздражительный, с неопределенным, уклончивым выражением губ и порочным, и вызывающим. Он стал во главе Кукольного театра что-то очень давно. Раньше Брянцева[1]. Еще в Народном доме поставил он «Гулливера» Елены Яковлевны Данько. Как всегда, вокруг театра подобного рода, подобрался тут вокруг Деммени народ особенный. Люди, не знающие, куда деть себя. Это состав переменный.

13 мая

Есть люди, которых жизнь свела с тобой близко, они как бы в фокусе, а есть такие, которых видишь боковым зрением. Я не знаю ни дома, ни родных Деммени. Как будто припоминается седая, достойная дама, худощавая, с взглядом, как и у Деммени, тревожным и надменным, — его мать. Как будто я видел, как он с ней почтителен и ласков, — именно как люди его толка. А может быть, это просто обман бокового моего зрения. Я начал вчера и оборвал рассказ о составе его труппы, характерной для театров подобного рода. Обычно подбираются тут три вида актеров. Первый — как я уже сказал — состоящий из людей, по той или другой причине не нашедших себе применения. Второй — наиболее мной уважаемый — вечные дилетанты, от преувеличенного уважения к искусству. Словно мальчики, вечные мальчики, сохраняющие невинность оттого, что слишком уж влюблены. Они идут в кукольный театр не из любви к нему, а чтобы стать поближе к искусству, прикоснуться к самым его скромным формам. Иные, приблизившись,

столкнувшись с театром, угадывают, что искусством можно овладеть, и приближаются к третьему виду кукольников. Но большинство так и замирает во втором. Ибо почтительная любовь к искусству не всегда связана с талантом. Как почтительная любовь мальчика — с мужской силой. Их, бедняг, сокращают, когда молодой театр делается профессиональным, или переходят они на подсобную работу. В монтировочную часть, в помощники режиссера. Третий вид актеров — это прирожденные кукольники. Признающие только этот театр. Иные, возможно, по особой жажде спрятаться от зрителя. Только руку ему и показать. Но большинство из любви, чистой любви, к этой форме. Людей третьего вида, самого редкого, найдешь не в каждом кукольном театре. Есть их немного у Деммени. А больше всего у Образцова. Деммени сам дилетант, но не по причине излишнего уважения к своему делу, а от природы. Полуумение свое считает он мастерством. Техника, далеко шагнувшая с начала двадцатых годов, вызывает у него ревность, а не потребность соревноваться. Он по-женски, по-дамски раздражается и бранится.

14 мая

У меня в театре Деммени шло несколько пьес. В начале тридцатых годов — «Пустяки». Тут я впервые испытал, что такое режиссер и все его могущество. Ничего не оставил Деммени от пьесы. Выбросил, скажем, текст водолаза, целую картину сделал вполне бессмысленной, полагая, что оформление подводного царства говорит само за себя. Я тут впервые понял, что существуют люди, которые не умеют читать и никогда не научатся этому, казалось бы, нехитрому искусству.

Он сокращал, переставлял и выбрасывал все, что надо было куклам. И сюжетно важные места вырезал с невинностью неграмотности. И пьеса, то, что для меня главное мучение, оказалась рассказанной грязно, с зияющими

дырками. Можно было подумать, что я дурак. И что еще удивительнее, никто этого не подумал. Но и не похвалил меня. Состоялась обычная кукольная премьера, поставленная полуумело и заработавшая полууспех. Деммени видел я боковым зрением, не потому, что был невнимателен к нему, а по сознанию, что не имеет смысла подходить ближе и смотреть прямее, — не договориться нам. Поэтому не бывал я на репетициях. И то, что увидел на премьере, было для меня полной неожиданностью. Тем не менее переделал я для их театра написанную для Зона «Красную Шапочку». Потом сочинил «Кукольный город», потом «Сказку о потерянном времени». Шли они в основном лучше, чем «Пустяки», но все принимал я эти премьеры боковым зрением и шел на премьеру все же со страхом. Нет. С чувством протеста. А на последнюю премьеру просто не пришел. Потом уже посмотрел с большим опозданием. Отношения личные с Деммени никогда не нарушались ссорами. Один только раз он, оскорбленный тем, что я с заказанной его театром пьесой опоздал, а ТЮЗу сдал «Клад», подал на меня в суд о взыскании аванса в размере 75 рублей. И ни слова мне об этом не сказал. Повестки я каким-то образом не получил, дело слушали без меня как бесспорное. И ко мне явился судебный исполнитель и описал письменный стол и кресло — единственное, что мог, в нашей комнате на Литейной. Вообще письменный стол описывать не полагалось, но он сделал это с моего согласия. Я внес деньги на другой же день, и печати сняли. Я обиделся, чем порадовал вздорного худрука, и решил, что работать у него не буду. Но вспомнил об этом только сегодня. Деммени необыкновенно моложав.

25 мая

Все такой же, одинаковый, корректный, с тем же выражением встревоженно-надменным, встречается он то в театре, то на улице. Только здоровается он горловым и капризным своим тенором все более приветливо.

Как ни говори, как ни суди друг друга, а прожили мы жизнь по-соседски, под одним небом. И свыклись. Мы знаем, чего ждать друг от друга, и ничего не требуем и не ждем свыше определившегося. Все установилось. Меняется только одно: с каждым годом мы все более и более старые знакомые. Вот почему при встречах вижу я его боковым зрением, но словно бы и ближе. А его тенор звучит все дружелюбнее.

Следующая фамилия — *Сима Дрейден.* Вот уж кто в фокусе. Помню я его с первых дней приезда в Ленинград. Когда познакомился я с Колей Чуковским и с Лидой Чуковской, то вскоре познакомился с его соучениками по Тенишевскому училищу: с Лелей Арнштамом, который тогда собирался стать пианистом, с Лидочкой Цимбал — беспокойной, маленькой, большеротой и, как все Цимбалы, белоглазой. Она страстно стремилась к чему-то, но сама не определила, к чему. И так на всю жизнь. Начинала как отличная пианистка, а потом перебросилась в искусствоведение, пишет о театре, ездит от ВТО смотреть периферийные постановки все с тем же страстным стремлением, неясно к чему. И познакомился я тогда же с Симой Дрейденом. Вот он — сразу пошел по тому пути, которому не изменил и сегодня. Он страстно любил театр и пробовал писать о нем чуть не на школьной скамье. Была вся эта компания моложе меня, но приняла меня как сверстника, что мне казалось естественным. Я так мало вырос с тех дней, что кончил реальное. Тут, в Петрограде 22 года, едва начинал я приходить в себя. Стал питаться не только от корней, но и от почвы. Время было голодноватое. И у Лели Арнштама, родители которого были щедры, устраивались кутежи. Нам выдавали какао, сгущенное молоко и сахар. И в большой кастрюле варилось какао на всех. И мы пили, пили и были счастливы. Встречались мы часто, особенно часто на вечерах в Доме искусств. Однажды, глядя мрачно на собравшихся, где присутствовали весьма почтенные имена, Леля Арнштам начал вечер, где должен

был играть, вступительным словом, и первая фраза была такова: «Как известно, писатели свински необразованны в музыке».

16 мая.

И профессионально из этих молодых первыми определились Коля Чуковский и Сима Дрейден, Леля Арнштам еще некоторое время держался музыки, а потом стал кинорежиссером. Решился на это. Коля печатался чуть ли не с 18 лет. Перевод какой-то идилии Лонгфелло, стихи. Позже приключенческий роман для «Радуги». Об удивительном профессоре Зворыке[1].

Перехожу теперь к Симе Дрейдену. Он был самый длинный, патлатый и хохочущий из всех. Тощий. В очках. Необыкновенно и энергичный, и рассеянный в одно и то же время. Вот рецензии его стали печататься, и скоро мы все привыкли к тому, что Сима Дрейден — журналист, рецензент, театровед. Так и пошли годы за годами. Первоначальную компанию, как положено законами роста, разбросало далеко. Дрейден и Чуковский даже поссорились, кажется. А я и Сима, связанные одним делом, держались близко друг от друга, в сфере притяжения. И он, определившись в юности, все не менялся. После войны, на каком-то совещании в Москве, дали нам комнату в «Гранд-отеле». Нет, во время войны. И живя с Дрейденом, еще раз вспомнил я его энергию и рассеянность. Вот он сидит, пишет статью для Совинформбюро. Вскакивает на полуфразе, идет к телефону в глубокой задумчивости. И вешает трубку, не дождавшись ответа телефонистки, и стоит над телефоном в той же глубокой сосредоточенности. И бросается писать статью. От обычных критиков отличала его именно правдивость всего существа. Он и в самом деле во многих случаях, в большинстве — писал искренно. Ну, разве уж в порядке дисциплины. Простота и детская непосредственность его иной раз меня удивляли. Были мы у них в гостях еще

до войны. С Образцовыми. Дрейдену нездоровилось, а мы засиделись. И он лег на диван и прикрыл голову подушкой. Катерина Ивановна приподняла подушку — видит, Сима плачет, обливается горькими слезами! Измерили температуру — около сорока. И он ответил на жар, как ребенок. Я вижу его не боковым зрением, но все же связаны мы всегда были больше по театральной линии, чем по бытовой. Он женился, как подобает, на женщине, вполне ему по конституции противоположной: полной блондинке. Донцова Зинаида Ивановна работает в Госэстраде или Филармонии: художественное чтение. Родился у них мальчик Сережа.

17 мая

И Дрейден любил его со всей открытостью и шумом, на какие был способен.

20 мая

Он был человеком советским. Насквозь советским. От малых лет. И зная, что ни в чем не повинен, и будучи реабилитирован, он тем не менее как бы чувствовал себя виноватым. В чем? А кто его знает. В своем несчастье? Весьма возможно. Чувствовал себя запачканным. Чудилось ему, что все то, что грянуло над ним, оставило след, как бы изуродовало его. Он не хочет показываться в дни премьер, я не мог вытащить его на просмотр «Двух кленов»[22]. Не возвращается в среду, отчего не чувствуешь его присутствия, хоть он уже на месте. Но постепенно это начинает рассасываться, и Сима Дрейден делается увереннее. Прощает себе то, что над ним стряслось.

4 июня

Следующая фамилия ***Жеймо***. Удивительно привлекательное существо. Трагична судьба людей, обожающих искусство, но не имеющих никаких данных для того, чтобы им заниматься. Таких в театре — леги-

он. Но еще трагичнее люди, рожденные для сцены или экрана, и которые роковым образом сидят без работы. Жеймо сделала десятую долю того, что могла бы. Должна бы. И до сих пор она еще надеется, что сыграет наконец то, что душа просит. И судьба щадит ее — она все по-девичьи легка и вот-вот сорвется и полетит. Только пусть для этого сойдутся несколько тысяч случайностей, выйдет пасьянс из миллиона колод. Родилась она в цирковой семье. На арене выступала чуть не с пяти лет. Потом попала к ФЭКСам, совсем еще девочкой. Играла в «Шинели»[1]. Потом вышла замуж за Костричкина — его считала выдающимся эксцентрическим актером. Родила от него дочку. Развелась. Вышла замуж за Хейфица[2]. Родила от него сына. Вот что слышал я о ней краем уха в тесном нашем кругу.

5 июня

А потом встретились мы гораздо ближе во время картин «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград», сценарий которых писал я с Олейниковым. Первая (короткометражка) имела некоторый успех, вторая же вместе с комедией нашей «На отдыхе» провалилась с шумом, с таким шумом, что братья Тур написали в «Известиях»: «Неизвестно, зачем авторам понадобилась подобная жеребятина». Янина Болеславовна или Яня, как все ее называли, была тут ни при чем. Мы думали, что удастся нам сделать картину, ряд картин, где Жеймо была бы постоянным героем, как Гарольд Ллойд[3] или Бестер Китон, и где она могла бы показать себя во всем блеске. Но ей опять роковым образом не повезло. И сценарий не удался, и режиссер решился взять себе эту специальность без достаточных оснований — словом, опять не вышел пасьянс в тысячу колод. Но я поближе разглядел Янечку Жеймо и почувствовал, в чем ее прелесть. Все ее существо — туго натянутая струнка. И всегда верно настроенная. И всегда готовая играть. Объяснить, что она делает, доказать свою правоту могла она только действием, как

струна музыкой. Да и то — людям музыкальным. Поэтому на репетициях она часто плакала — слов не находила, а действовать верно ей не давали. Я не попал в Ялту на съемку несчастной «Леночки», но Олейников был там, и даже у этого демонического человека не нашлось серной кислоты для того, чтобы уничтожить ее, изуродовать в ее отсутствие. И он говорил о ней осторожно и ласково, испытав ее в разговорах на самые различные темы. Спросив, как относится она к своему первому мужу, получил он ответ столь наивный и женственный и вместе с тем целомудренный, что умилился. Записывать мне его не хочется. Тут дело не в словах, а в музыке. Впрочем, Хейфица она обожала. Хотя, по слухам, иногда ужасно с ним ссорилась. Все потому же. Она была создана для того, чтобы играть. А вне этого оставалась беспомощной и сердилась, как сердятся иной раз глухонемые. В Доме кино праздновали однажды полушутя-полусерьезно, в те легкомысленные времена это было допустимо, ее юбилей, что-то не по возрасту огромный. Ведь начала она свою актерскую жизнь в пять лет. И весь юбилей проводился бережно, и ласково, и весело. Мы с Олейниковым сочинили кантату, которая начиналась так:

От Нью-Йорка и до Клина
На сердцах у всех клеймо
Под названием Янина Болеславовна Жеймо.

И после всех речей, растроганная, раскрасневшаяся, маленькая, как куколка, разодетая по-праздничному, будто принцесса, открыв наивно свои серые глазища, прокричала Янечка в ответ какие-то обещания, может быть, чуть газетные, чуть казенные, но все поняли музыку ее речи и слова не осудили. Струна не сфальшивила.

6 июня

И вот пришла война. А Янечка разошлась с мужем и приняла, по рассказам, это очень тяжело. Но когда

встретились мы в Сталинабаде, была она все та же, только темнее и озабоченнее обычного, по-военному, как и все мы. И вышла замуж за режиссера Жанно[4]. И вот пришел 45 год, и я написал сценарий «Золушка». И Кошеверова[5] стала его ставить. А Янечка снималась в заглавной роли. И пасьянс вышел! Картина появилась на экранах в апреле 47 года и имела успех. В июне того же года увидел я, выйдя изРосконда, на теневой стороне Невского у рыбного магазина Янечку с мужем. И догнал их, перебежав проспект. Они, по слухам, собирались на Рижское взморье, и я хотел расспросить, знают ли они, как. там живется. Жарко. Пыльно. Около шести. Невский полон прохожими. Янечка маленькая в большой соломенной шляпе, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевцами. Посреди разговора начинает она оглядываться растерянно. И я замечаю в священном ужасе, что окружила нас толпа. И какая — тихая, добрая. Даже благоговейная. Существо из иного, праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице. «Ножки, ножки какие!» — простонала десятиклассница с учебниками, а подруга ее кивнула головой, как зачарованная. Мы поспешили на стоянку такси. И толпа, улыбающаяся и добрая, следом. И на Янечкином лице я обнаружил вдруг скорее смущение и страх, чем радость. То самое чувство, что, словно проба, метит драгоценного человека. Что заставляло сердиться Ивана Ивановича Грекова, когда называли его «профессор». Он видел предел, до которого, по его требовательности, было еще ему далеко-далеко. И Яня, настроенная неведомой силой с полной точностью, чувствовала то же. Она уселась с мужем в такси тех лет, в ДКВ. Низенькое. Казалось, что человек сидит не в машине, а в ванне. И такси загудело строго, выбираясь из толпы, провожающей Яню Жеймо, словно принцессу.

16 июня

Следующая фамилия ***Зощенко Михаил Михайлович***. Это имя выходит за пределы того, что я тут рассказываю,

того, что могу рассказать. Это уже история[1]. Правда, характеры нигде так не сказывались, как в этой истории, но тут уж ничего не поделаешь. История есть история. И некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться.

26 июня

Следующая фамилия *Зандерлинг Курт Игнатьевич*. Сутулый, длиннолицый. Нос горбатый и чуть приплюснутый вместе с тем. Большеротый. Общее выражение — серьезное. И что-то непреодолимо немецкое начисто снимает то, что есть семитического в его чертах. Тоненькая, сутулая, высокая, прилежная фигурка. Что-то, может быть, от гелертера*. Вот привезли свежий хлеб. Дачники выстроились в очередь. Курт Игнатьевич, углубившись в чтение, двигается к цели.

27 июня

— «Что вы читаете, Курт Игнатьевич?» Он предлагает мне взять эту книжечку почитать. Я заглядываю и убеждаюсь с почтением и завистью, что мне это, увы, недоступно. Это изданная малым форматом, переплетенная в красный сафьян партитура Третьей симфонии Брамса. И из разговора с Зандерлингом узнаю я, что, по его мнению, Брамс — великий музыкант. А Жан-Кристоф говорил о нем просто глупости[1]. Столь же почтительно отзывается он о Брукнере[2]. А о Малере[3] говорит, что он слишком уж хорошо знал оркестр. И что его язык сегодня вдруг стал непонятен. Когда гуляю я, ищу грибы в леске за безымянным переулком, то на поляне

---

* Человек, обладающий книжной ученостью, оторванный от жизни.

среди сосен вижу сутулую знакомую фигуру, в очках, с листами партитуры. Зандерлинг шагает взад-вперед и, когда подхожу я ближе, то слышу, как он шипит. Это его особенность. Некоторые дирижеры поют, а он, погружаясь в свою музыкальную стихию, с лицом напряженным, строгим и торжественным, — он то и дело, словно собираясь произнести нечто таинственное и важное, надувает губы, приоткрывает рот, но не произносит ни слова, а только шипит. Говорит за него оркестр. Готовил он Третью симфонию Рахманинова и называл эту поляну своим кабинетом. Я в детстве был столько раз порицаем за то, что у меня нет слуха, что проникся особым почтением к людям музыкальным.

Лет в шестнадцать стал я учиться музыке. И дела пошли неожиданно хорошо. Но уроки свои я бросил, едва начав. Одно время я думал о себе, что одет в одежу из лоскутов. Из начатых и оборванных дел. Потом, когда нашел я спасение от другого начатого и оборванного дела, от актерского, и как будто вышел на путь к настоящему своему делу, музыка заняла в моей жизни заметное место. Я думал, что люблю ее. И только в прошлом году понял, что не так, как следует. Гостила у нас Варя Соловьева. Она лежала в Катюшинои комнате, читала мою пьесу. А я писал. А по радио передавали концерт Моцарта, и это мне помогало работать. И я встал взглянуть — сколько Варя успела прочесть. Гляжу — ничего!

28 июня

Ни одной страницы. Почему? Потому что слушала музыку. Она не могла читать и слушать! Недавно вышли воспоминания современников о Толстом. И в них много рассказывается об отношении Толстого к музыке. В часы, когда он работал, никому не разрешалось играть на рояле. И сыну не разрешалось готовить уроки по музыке. Толстой не мог не слушать. Какова бы музыка ни была, он бросал работу и слушал. Вот что значит любить

музыку на самом деле. Я, следовательно, был и этого дара лишен! И это прибавило к моей бессильной любви еще долю горечи. И безнадежности. Ну, а если говорить попросту, музыку я очень люблю. И часто думаю о музыке. И во время музыки думаю особенным образом. Но не лезу в эту область со своими соображениями. Но с уважением смотрю на то, что там происходит. Как в литературе — идет там непрерывное движение. И я с интересом открываю: Малера перестали они понимать. Зато Брукнера и Брамса почитают и понимают сегодня. Шостакович даже рассердился, когда я признался, что не понял Девятую симфонию. Впрочем, он к Малеру, кажется, относится с прежним уважением. Зато не прощает сегодня начисто Стравинского[4]. Музыка для музыкантов и в самом деле есть способ мыслить. Жизнь меняется, появляются новые мысли, по-новому оценивают они старых мыслителей. К Бетховену отношение двойственное. Что-то в нем они принимают, а что-то не вполне. О Моцарте говорит Зандерлинг всегда с благоговением. Бах для него велик без всяких оговорок. В отличие от «лабухов», настоящий музыкант Зандерлинг много знает о музыке и кроме музыкального мышления владеет и другими его видами. Как-то зашел разговор о неслыханной производительности Баха. Разговор начался с того, что я спросил, почему у протестанта Баха есть мессы. И Зандерлинг объяснил, что, поссорившись со своим герцогом, Бах решил уйти.

29 июня

И написал для дрезденского двора, куда собирался он уйти, мессу. Он ссорился с начальством, дирижировал хором мальчиков, учил их пению, писал кантаты к каждой воскресной службе и оставил чуть ли не восемьсот опусов. «Вот они, люди восемнадцатого века», — сказал я. «Не в этом дело! — возразил мне Зандерлинг. — Просто Бах думал, что он ремесленник. Романтики брали

отсюда (и Зандерлинг указал на сердце). А Бах отсюда (и Зандерлинг развел широко руками). У Баха не опускались руки перед величием музыки. Он думал, что он ремесленник». Женат Зандерлинг на Нине Игнатьевне, тоже худенькой, высокой, тоже в высшей степени проникнутой немецким духом женщине. Она очень приветлива, очень вежлива и чем-то трогает за сердце. Тем, что много пережила и так подтянута? Вежливостью? Живостью? Трогательными, но тщетными попытками овладеть русским языком? От года к году труднее ее понимать! Не берусь объяснить. Но каждый раз, когда вижу я удлиненное ее лицо, с узенькими глазами, забавное, словно сделанное, — мне становится весело. У них есть сынишка, Томик, нежный, как девочка. Лицо удлиненное, словно у мамы, рот большой, отцовский. Когда ему было лет шесть, он вошел к нам во двор с букетиком незабудок в руках. Томка залаяла на него. А Томик жестом беспомощным и неловким швырнул в собаку цветами. Томик музыке учится в музыкальной школе. И прилежание воспитывается в нем родителями со всей немецкой методичностью. Однажды его отпустили к Браусевичам на зимние каникулы, с тем, однако, чтобы он положенное время играл на скрипке, неукоснительно, ежедневно. И маленький Томик выполнял приказ свято. И вот однажды прибежал он ко мне в слезах. У него лопнула струна. И он просил, чтобы я ему натянул ее. И никак не мог он понять, почему я отказываюсь, как взрослый человек вдруг не может сделать такой простой вещи. Я был в Филармонии, когда дирижировал Зандерлинг Третьей симфонией Рахманинова.

30 июня

Пройдя крутыми лестницами, где курили музыканты в своих черных костюмах, крахмальных воротничках, буднично-праздничные, словно официанты, и на тот же лад озабоченные делами далеко не музыкальными, но

вполне земными, миновали мы актерские фойе, полные теми же черными фигурами. Здесь царило то же: одни перешептывались озабоченно, другие рассказывали что-то вполголоса, далеко не деловое, зато вполне непристойное. Есть любопытная связь между математической одаренностью и одаренностью музыкальной. Зандерлинг рассказал, что у Моцарта была обнаружена очень солидная математическая библиотека. Многие математики, и крупные при этом, были отличными музыкантами. Но музыкальная одаренность имеет связь и с другой, куда менее абстрактной стороной человеческой жизни. Сережа Иванов, поступивший в Петроградскую консерваторию в 14 году, рассказывал, когда я с ним познакомился, одобрительно: «В консерватории понаслушаешься! Там народ по традиции — сплошь похабники!» Я боюсь утверждать, что это так; может быть, просто, где много мужчин, там казарма, но пока я иду по мраморным, дворцовой высоты переходам с бархатными драпировками, дух оркестрантов, или «лабухов», со своим жаргоном, со своим самоуверенным от презрения ко всем законам видом, смущает меня. Но вот прохожу я в директорскую ложу — собственно говоря, в часть нижней галереи, отделенной от остальной барьером, и занимаю место на диванчике. Я не люблю ходить в концерты, потому что, на беду свою, как я уже говорил, настоящей любовью к музыке не одарен. Когда слушать мне ее приходится в назначенный вечер, лень моя бунтует. И я стыжусь этого. И заставляю себя собраться. А внимание не подчиняется, а рассеивается. И я отвлекаюсь — разглядываю публику, с озлоблением думаю о громоздкой машине, что действует, дымя и скрипя, для того чтобы послушал ты музыку, посмотрел спектакль.

1 июля

Но вот вдруг, в отличие от театра, свет в зале не гаснет, а вспыхивает. Над эстрадой загорается огромная

хрустальная люстра. И ощущение торжественности предстоящего приводит меня в чувство. Музыканты за пультами совсем уже не те, что на лестнице и в фойе. Они внимательно настраивают инструменты. «Лабухи» «лабухами», но ведь каждый из них владеет инструментом, музыкальным — шутка сказать! Вон литаврист наклонился над гигантским своим котлом, постукивает по туго натянутой плоскости, и я вспоминаю, что, кажется, литавристу полагается обладать абсолютным слухом, чтобы перестраивать свой инструмент на ходу. Как называются эти инструменты? Кларнеты? Или я путаю? А это, кажется, туба? Я не удосужился узнать даже названия инструментов. О, холодность! Недаром я так распущен, распущено мое внимание. Бродит вокруг да около, вместо того чтобы овладевать предметом. О, разврат, неизбежное следствие холодности! Я браню теперь уже себя. А беспорядок в оркестре постепенно затихает. Контрабасисты покорно стоят возле своих долгошеих контрабасов. Иные скрипачи еще касаются кончиками пальцев струн, не то приноравливаясь, не то сомневаясь в точности настройки. И вот на верхней галерее вспыхивают аплодисменты, подхватываются задними рядами партера и сдержанно замирают в первых. Появился Зандерлинг, сутулый, тонкий. Несмотря на фрак и открытый жилет, сохраняет он все ту же наивную сосредоточенность гелертера. Поднявшись на свое место, кланяется он залу, отвечает на аплодисменты вежливой улыбкой, показывая крупные, чуть выдвинутые вперед зубы. И через мгновение он уже отвернулся от публики к музыкантам. И стоит неподвижно, легко и вместе строго постукивая тоненькой своей дирижерской палочкой по пюпитру. Требует сосредоточенности от нас и готовности от музыкантов. И вот он взмахивает рукой — и нет больше «лабухов», нет музыкантов, а есть оркестр. И я удивляюсь, как мог я забыть, что меня ждет. Да, я не владею музыкой, но она овладевает мной. И я стыжусь мыслей, разбивавших только что мое внимание. Точнее, сожалею себя свысока, снисходительно.

2 июля

Все чувства проникнуты тем, что совершается на огромной эстраде. Вот смычки разом поднимаются над головами скрипачей. Вот они падают и снова поднимаются. Скрипачи опускают скрипки, опирают их на колено, но сохраняют сосредоточенность и готовность. Вдруг я слышу удивительной чистоты звуки и, к радости своей, чувствую, что у меня сжимается горло. Вот как может звучать флейта, оказывается. Вот как я, оказывается, чувствую музыку! И музыка имеет смысл. Какой — не понимаю. Я слежу не за ней. Симфония подчинила и преобразила строй моих мыслей, как преобразило бы их сильное чувство, далее страсть. И я слежу за строем своих мыслей. Я если и понимаю симфонию, то отраженно, приблизительно. Вот симфония окончена. И я, измученный слабостью, безнадежностью моей любви к музыке, взбудораженный близостью, не перешедшей в обладание, иду в артистическое фойе. Там Зандерлинг без фрака, мокрый, с полотенцем на шее, окруженный друзьями и поклонниками, весело посмеивается, показывает крупные зубы. Кажется, что он после многих трудов и опасностей добрался, наконец, до берега. Весь его вид и полотенце на шее подтверждают это ощущение. «Флейтист? — говорит он. — Да, флейтист у нас удивительный. Вряд ли в каком-нибудь оркестре в Европе найдется лучше. И при этом — такой дурак!» На рояле лежит длинный футляр, плоский, как готовальня, — набор дирижерских палочек. Легчайших. Я в смятении чувств не успеваю разглядеть, из чего они сделаны. Одна, крайняя, чуть ли не из гусиного пера. Другая — из тонкого камыша. И вставляются они в различные ручки? Или мне только кажется? Для всех одна ручка? И едва собираю я, наконец, внимание, как отвлекает меня разговор, завязавшийся между Зандерлингом и Николаем Семеновичем Рабиновичем. Это худощавый, но при этом явно полнеющий еврей. Полнота еще никак не скрыла его

худобы. Она разбросана прихотливо по фигуре. Начинает выдаваться нижняя часть живота, например. Лицо овальное. Густые, недлинные волосы назад, и непобедимая привычка — или тик — жевать язык.

3 июля

Он засовывает язык за щеку и жует его усердно, пользуясь для этого любым удобным и неудобным случаем. Он, как и Зандерлинг, дирижер, и музыканты, не шутя, жаловались, что эта дирижерская особенность Николая Семеновича им очень мешает. При всем при том его уважают, и Зандерлинг о нем повторял неоднократно: «Это неважно, какой он дирижер, — он музыкант». Я давно помню Рабиновича, с его молодых лет. Он всегда нравился мне. Помимо того что связан он был в моем представлении с Андрониковым, веселым и легким Ираклием тридцатых годов, в нем самом, в Николае Семеновиче, ты чувствовал что-то легкое и славное. Некоторое спокойствие и отсутствие суетности, по которому ты безошибочно чувствуешь человека одаренного. Он шел по своей дороге, был настоящим музыкантом, а какой он дирижер, беспокоило его не более, чем следовало. И вот на концерте он подошел к Зандерлингу. И с завидным для меня спокойствием, с тем самым спокойствием, которое дает настоящее знание дела, заговорили они о тех бурях и приключениях, что пережил только что Зандерлинг, и от которых отдыхал теперь с полотенцем на шее. И на некоторое время почудилось мне, что в настоящем обладании музыкой есть нечто, затемняющее предмет, как и в моей безнадежной любви. У них любовь была слишком спокойная — так мужья любят жен, не говоря об этом, да иной раз и не понимая этого. Что-то уж больно домашнее. Бытовое. Но Зандерлинг знал законность и другого отношения к музыке. Я спросил его об одной пианистке, которая все металась, как в тревоге или в жару. Не находила себе места. Одно время носила тунику. И все что-

то искала, проповедовала. Я спросил, верно ли говорят, что она сумасшедшая. И, сохраняя наивно до крайности внимательное гелертеровское выражение, Зандерлинг ответил: «Не знаю. Может быть. А может быть, она и есть нормальный музыкант, а мы не нормальны?»

4 июля

Если к своему собственному делу, к литературе, я подходил в двадцатых годах на цыпочках, переулочками, — то к музыке подойти ближе, чем рассказано, я никак не могу. Во втором отделении играл Святослав Рихтер. Концерт Рахманинова. Он сидел лицом ко мне, и я видел, как изменился он, едва начал играть. Пришли в движение брови, губы, голова. Вначале мне показалось, что в движениях его есть что-то нездоровое, жеманное, я отвернулся и только слушал. Но постепенно я поверил, что движения его непроизвольны, как шипение Зандерлинга, которое иногда различал я даже через оркестр, как выражение напряженного внимания на лицах оркестрантов. Музыка охватывала музыкантов, как страсть, не отнимая рассудка, но преобразовывая и подчиняя его себе. По дороге домой я думал, что музыканты-исполнители беспринципны. На этом уровне очень уж много виртуозов, соединяющих в своей программе композиторов, которые, встретившись, не поняли или возненавидели друг друга. Впрочем, не мое это дело. Меня так часто ужасало непонимание людей, обожающих литературу, но не умеющих читать, в сущности. Чего я выясняю отношения с музыкой? Чего я хочу? У меня есть место, вполне определенное и почтенное: в зале. Сиди и слушай внимательно. И все.

9 июля

Перехожу к букве «К». Первой в телефонной моей книжке стоит фамилия: ***Кошеверова Надежда Николаевна***. Познакомились мы с ней давно, в начале тридцатых годов. Как — совсем забыл.

10 июля

Тогда она была замужем за Акимовым. У него на углу Большой и Малой Посадской мы и познакомились. Подниматься надо было до неправдоподобности высоко, казалось, что ты ошибся и карабкаешься уже к чердаку по лестнице, бывшей черной, узкой и крутой. Послала судьба Акимовым квартиру большую, но нескладную. Попадал ты в кухню, просторы которой, ненужные и сумеречные, не могли быть освоены. Оттуда попадал ты в коридор, с дверями в другие комнаты, а из коридора — подумать только — в ванную. А из ванной в комнату самого Акимова, такую же большую, как кухня, выходящую окнами, расположенными полукругом, на ту широкую, расширяющуюся раструбом часть Малой Посадской, что выходит на Кировский проспект. Подобная квартира с ванной, разрезающей ее пополам, могла образоваться только в силу многих исторических потрясений и множества делений, вызванных необходимостью. Где живет хозяйка квартиры и кто она, узнал я не сразу. У Акимова бывал я сначала с пьесой «Приключения Гогенштауфена». Потом с «Принцессой и свинопасом», потом с некрещеной и неудачной комедией для Грановской, потом с «Нашим гостеприимством» и, наконец, с «Тенью». Семь лет. И только через два года он познакомил меня с черной, смуглой, несколько нескладной, шагающей по-мужски Надеждой Николаевной, ассистенткой Козинцева. Говорила она баском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Именно так. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре. Вскоре с Акимовым они разошлись. Вышла она за Москвина[1], и родился у нее Коля. И он успел вырасти и превратиться в очень хорошенького восьмилетнего мальчика, когда завязалось у меня с Надеждой Николаевной настоящее знакомство, непосред-

ственно с ней, — она ставила мою работу, а не Акимов. «Золушку».

11 июля

Начал я писать «Золушку» в Москве. Сначала на тринадцатом этаже гостиницы «Москва». Потом в «Балчуге», потом в «Астории», когда приезжал я в Ленинград по вызову «Ленфильма». Война шла к концу, и вот мы вернулись, наконец, в опустевший и словно смущенный Ленинград. Но ощущение конца тяжелейшего времени, победы, возвращения домой было сильнее, чем можно было ждать. Сильнее, чем я мог ждать от себя… А город, глухонемой от контузии и полуслепой от фанер вместо стекол, глядел так, будто нас не узнает. Но вот вдруг я неожиданно испытал чувство облегчения, словно меня развязали. И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием. Песенки получались легко, сами собой. Я написал несколько стихотворений, причем целые куски придумывал на ходу или утром, сквозь сон. И в этом состоянии подъема и познакомился я, как следует, с Кошеверовой. Она писала рабочий сценарий, и мы собирались у нее обсуждать кусок за куском…

13 июля

…И потянулся легкий и вдохновенный, можно сказать, период работы над «Золушкой». И это навсегда, вероятно, установило особое отношение мое к Кошеверовой. Словно к другу детства или юности. Что-то случилось со мной, когда вернулись мы в Ленинград. Словно проснулся.

23 июля

…Надежда Николаевна после «Золушки» хотела поставить еще одну картину по моему сценарию, но ничего с этим не получилось. Но так или иначе продолжала она работать без простоев, столь обычных у режиссеров

в прошедшие годы. И Козинцев, полушутя, жаловался: «Надя опять мечется с монтировками в зубах», «Я чувствую, что с Надей все кончено. Она опять утонула в монтировках». И в самом деле — в работе она была на зависть вынослива, неуступчива, неутомима. И делала то, что надо. Не мудрствуя лукаво. Убеждена была она в своей правоте без всяких оглядываний. И когда друзья налетали на нее по тому или другому случаю, касающемуся ее режиссуры, она в ответ только посмеивалась, баском. И хотел написать — поступала по-своему. Но вспомнил, что в тех случаях, когда доводы оказывались убедительными, она спокойно соглашалась. Нет, упрямство ее было доброкачественным. А иногда оставалась при своем, хотя друзья налетали строго и темпераментно, — Надя была отличный парень, великолепный товарищ. Во-первых, не обижалась. А во-вторых, обидевшись, так и сказала бы, а не ответила бы ударом из-за угла. Чего же тут стесняться. Так вот она и живет. И дом на ней. И работа. И держится она среди своих домашних юродивых так бодро, что Козинцев искренне убеждал как-то, что Наде это нравится. На самом же деле принимает она их такими, как они есть или изображают себя, не причитает по поводу горькой своей женской доли. Не косится с завистью на семьи, где мужчины попроще. Не мудрствует лукаво, славный парень, отличный товарищ. И в работе, и дома, и с друзьями.

Следующая фамилия — ***Конашевич Владимир Михайлович***. Его одарил Господь легким сердцем. Это не обидчик, как Лебедев. Черные мягкие глаза.

24 июля

Мягкое, но никак не искательное выражение лица. Некоторая мягкость, но никак не полнота фигуры. Воспитанность. Мягкий теноровый голос. И все это от природы, но не от желания импонировать. Легкий человек. Плохие мальчики — Лебедев, Лапшин[1], Тырса[2] — коси-

лись несколько на Конашевича. Он казался им слишком хорошим мальчиком, слишком воспитанным «Миром искусства». Но признавали в нем художника. Нехотя. С легким пожиманием плеч. По крови украинец, даже запорожец, потомок того Сагайдачного[3], что «променял жинку на тютюн да люльку, необачний»*, Владимир Михайлович не унаследовал воинственности предков. Не лез в бои. И жил всегда в Павловске. В стороне. С краю. И не менял жену на тютюн да люльку — семья его оказалась прочной. Я приехал к нему в 30-х годах на блины с Маршаком, который все не мог выбраться в путь, охал, терял палку, портфель, кепку и в дороге задыхался и, приехав, повалился на диван. С Олейниковым, который от ненависти к Маршаку слишком шумел за столом. С Лебедевым, который как символ веры провозглашал, что он ест, а что не принимает в пищу. «У меня есть такое свойство». И среди этих неблагополучных людей благополучие дома Конашевичей могло показаться изменой. Спокойно! Легко! Хозяин сыграл с дочкой дуэт на скрипках! Впрочем, может быть, играл он один, или она одна — все равно неукладистые гости, вспоминая, пожимали плечами. А сейчас вдруг видишь, что Конашевич не поднимал шума, с легким сердцем ни на шаг не уклонился от своего пути. Жил, как ему свойственно. И выяснилось, что свойственны ему вещи настоящие. Делать настоящие вещи и при этом без тиранства. Без мозолящего глаза щеголяния силой и непримиримостью. Мягко, но непримиримо, с легким сердцем, но упорно действовал он так, как ему свойственно. Ну и хорошо, и слава богу!

25 июля

Следующая фамилия — ***Козинцев***, но о нем писать решительно не могу. Сейчас я работаю с ним, и взгляд

---

* Променял жену на табак и трубку, неосмотрительный, нерасчетливый *(укр.)*.

на него отсутствует. Его изящество. И снобизм, родственный и Акимову, и Москвину, уходящий корнями в двадцатые годы. Самолюбие и отсюда скрытность.

Талантливость. Знание настоящее. И все это окрашено его собственным цветом, имеет особую форму. Это его талантливость, его снобизм, его злость. А когда работаешь с человеком, на одно закрываешь глаза, другого не видишь. Я когда-то пробовал писать его, надо будет поискать и вставить при перепечатке. А сейчас спокойно искать форму для рассказа о нем — все равно, что подмигивать за спиной товарища, указывать глазами неведомо кому на него. Не получается у меня даже отказ от описания Козинцева.

21 августа

Следующая фамилия — ***Кетлинская Вера Казимировна.*** Познакомились мы году в тридцатом, когда детский отдел Госиздата кончился и мы стали работниками «Молодой гвардии», если я не путаю. Время, во всяком случае, наступило новое. «Еж» реконструировался, и Кетлинская была назначена туда не то редактором, не то введена в редколлегию. И мы поехали по школам.

22 августа

Решено было приблизить журнал к задачам педагогики сегодняшнего дня, чем от времени до времени, в моменты своих реформ и реконструкций, занимаются все наши детские журналы. Я много лет не бывал в школе в часы занятий. И напомнила мне она сумасшедший дом. Для меня это было настоящим открытием. Раздался звонок, и в коридоры школьного здания вывалились школьники, умышленно создавая давку в дверях. Девочек не помню. Всё заняли во всю свою силу галдящие мальчики, стриженые, с излишне большими затылками, с нездоровым цветом лица. Они то и дело схватывались, словно желая подраться, и так же внезапно разбегались в

разные стороны. И при этом не казались веселыми. Это был этаж, занятый младшими классами. И запах в нем стоял не то как в зверинце, не то как в больнице. Ничего нового я не увидел, все было знакомо с детства. Не так уж давно и сам я вылетал на перемену с жаждой двигаться, кричать, стукнуть, двинуть. Я только понял то, чего не понимал тогда. И еще одно: рост человека похож на затяжную болезнь. И еще: мальчики не личности, а личинки. Ошеломленные шумом, прошли мы в учительскую, где беседовали с директором. Мы попросили познакомить нас с ребятами младших классов, особенно недисциплинированными.

23 августа

Директор, всем своим видом показывая, что ни с чем он не согласен, но повинуется, пошел, словно повар в живорыбный садок, вылавливать заказанную породу рыбы. Мы ждали в каком-то из кабинетов, с длинными столами — методическом, что ли. После довольно долгого ожидания раздался визг и свист, и в дверь вломились мальчики все такие же — с большими затылками и тонкими шеями. Иные бежали на четвереньках. Это и были главные бузотеры, сразу проведавшие, зачем их собрали вместе. И ничуть этим не смущенные. Напротив. Набралось их с дюжину. Разговаривая с ними, убедился я еще раз, что бузить никак этим бузотерам не весело. Плохое поведение словно бы одолело их и не отпускало. Всё эти ребята отлично понимали, но от понимания до действия лежала у них пропасть еще большая, чем у взрослых. Ушел я из школы несколько обескураженный тем, что припомнил, увидел и понял. Ясно, что дело заключалось в воле этих ребят. Они могли связать две-три мысли, но действия их были бессвязны, что мучило самих бузотеров. Следовательно, дело шло о воспитании воли. Кетлинская разговаривала с педагогами и ребятами спокойно, вполне веря в значительность журнала

«Еж», в комплексный метод как единственно правильный, обвиняя мягко, но спокойно и уверенно директора в том, что он недоучел воспитательную роль пионерской организации. И при первом же знакомстве нельзя было не заметить одной особенности Веры Казимировны: она и в самом деле верила во все это. Всем существом. Без всяких подмигиваний в сторону — дескать, мы сами понимаем, да приходится. На пути в издательство в трамвае рассказывала Вера Казимировна о себе, и я убедился, что и в себя она верит так же степенно и достойно, как в свою общественную деятельность. Несмотря на свой возраст, выпустила уже Вера Казимировна книжку, название которой забыл[1]. И в книжке этой — я прочел ее вскоре — она рассказывала о девушке, которую обидели. Рассказывала уж больно просто.

24 августа

Но с полной верой в значительность рассказываемого. В «Молодой гвардии» я с удивлением убедился, что молодежь, в отличие от школьного возраста детей, схватывается не на шутку. Такая склока стояла в «Молодой гвардии», что просто клочья летели. Ощущения сумасшедшего дома, которое поразило меня в школе, не было. Редактора схватывались и дрались на разумных основаниях. У каждого была своя идея, как вести дело, уверенность и возрастное неумение уважать кого бы то ни было, кроме самых высоких личностей. Друг друга-то они уж, во всяком случае, не считали за людей. Кетлинской в подобных склоках доставалось особенно жестоко. Вероятно, несокрушимая последовательность ее веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили ее бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию ее отца, бывшего царского адмирала, перешедшего в Красную армию и убитого в Архангельске на улице. Убийца же скрылся. Когда я познакомился с Кетлинской, было общеизвестно, что убит адмирал белыми. Но вот дела

Кетлинской ухудшались, склока обострялась. И на свет в чаду и пламени рождалась темная и неясная, но упорная история: отец Кетлинской убит красными. Почему воспитывалась она на счет государства, а мать получила пенсию и продолжала получать, несмотря на новую версию, — оставалось неясным. С Кетлинской в первые годы нашего знакомства отношения были благожелательно-равнодушные. Но мне скорее нравились последовательность ее поведения и бодрость — тоже вытекающие из цельности мировоззрения. Когда ушел я из «Молодой гвардии» в 31 году, то встречались мы от случая к случаю. Но все так же благожелательно. Как-то я даже был у нее в гостях, в тот период, когда была она замужем за художником Кибриком. Жили они в надстройке, окнами на Перовскую. Кибрик попросил меня постоять неподвижно, поднявши кулаки. Он иллюстрировал «Кола Брюньона»[2], и я ему немножко попозировал для фигуры монаха. Все в доме дышало верой в то, что жизнь идет, как должно. В гостях бывали актеры.

25 августа

...Все было просто, ясно, отчетливо, как аппликации, в мире, созданном Кетлинской. Муж — художник. Гости — умные актеры Коковкин, Никитин и другие. Партийная работа. Писательство. Но мир подлинный бесстрастно разрушил ее домик. Взял да и ушел муж, такой простой, такой медведь. Сообщил ей, что полюбил другую, и попросил понять его. Пришли темные и трагические времена в партийной жизни, и появилась вызванная вечными ее врагами тень несчастного ее отца. Но, встречаясь с ней, каждый раз любовался я на ее выдержку. Ни жалобы. Голос звучит с обычным спокойствием. И врагам не удалось справиться с нею. И к 41 году занимала Кетлинская в союзе место вполне отчетливое. Состояла в правлении, в секретариате, выходили ее книги.

26 августа

И вышло так, что, когда грянула война, Кетлинская оказалась первым секретарем союза. И вышло так, что я, Рахманов[3], Орлов[4] и Женя Рысс[5] встречались с ней каждый день и как раз по вопросам руководства. Жила она, как я рассказывал уже, в надстройке. Ее мать и грудной сынишка, родившийся тоже в нарушение законов созданного ею мира, переселились в бомбоубежище. Мальчик заболел воспалением легких, Катюша ставила ему банки. Мы постоянно встречались на дежурстве. В самые трудные времена видел я Кетлинскую и на работе, и в быту. И должен заявить со всей ответственностью, рад заявить, что оказалась она человеком вполне достойным. И все мы четверо — и я, и Рахманов, и Орлов, и Рысс — сохранили к Кетлинской с тех пор до наших дней вполне дружеские отношения. Тогда как другие члены союза, стоявшие от нее дальше, прониклись к ней самой искренней и прочной ненавистью, тоже сохранившейся в неприкосновенности и чистоте до сего дня. И ее упорно не хотят выбирать в правление, что доказано и на последних предсъездовских выборах. В чем же дело? А все в том же. Вера Казимировна с полной верой и с полной последовательностью проводила ту линию, которую ей указывали. Не подмигивая и не показывая большим пальцем через плечо: дескать, не я виновата, а высшие силы, мной руководящие. Она брала всю тяжесть в эти тяжелые времена на свои плечи. Распоряжалась и приказывала от своего имени. Ни на миг не позволяя себе усомниться в правильности приказов, которые отдавала от своего имени и от всего сердца. Вот этого ей и не могут простить. И в самом деле — на кого же сердиться? Не на горком же тогдашнего состава. Кетлинская до сих пор вызывает сильнейшее раздражение даже среди людей вполне порядочных. Она для них олицетворяет голод, холод, блокаду, чувство беспомощности твоей и бесполезности. Она — тот Ванька, которому в труд-

ные времена крутили локти и вели сбрасывать с раската. По решению Кетлинской союз вел творческую работу. Пытался существовать в вымышленном мире. Вот назначается собрание правления с активом для обсуждения «Звезды».

27 августа

Все пытались держаться как ни в чем не бывало на этом собрании, что было так же непросто, как сидеть под проливным дождем, не придавая ему значения. Придавай не придавай, промокнешь насквозь. Мы были погружены в войну, и всякие попытки обсуждать очередной номер «Звезды» как ни в чем не бывало являлись притворством. Но есть инерция заседания, которой нельзя не подчиняться. Председатель председательствовал, предоставлял слово очередному оратору, оратор ораторствовал, его слушали и не слушали, но вот завыла сирена — и наступил вынужденный перерыв. Нам предложили спуститься в бомбоубежище, а попросту говоря, в гардеробную Дома писателей в полуподвале...

28 августа

...Мир, созданный Кетлинской, не поддавался войне. Не Вера Казимировна придумала слово «дистрофия», например. Но могла бы придумать. Именно с помощью таких легких изменений имен и мог существовать ее дневной, без признака теней, мир. Назови голодающего дистрофиком — и уже все пристойно. Принимает даже научный характер. Холод и грязь — «трудности». Смерти нет. Есть «потери». Но при всем при том Вера Казимировна неустанно хлопотала об облегчении писательской участи. Хлопотала так, словно бы дистрофия была не лучше голода. Если поначалу ей удавалось сделать немного, — то виною тяжелые времена. И те, кто думает, что для себя она еду добывала, находятся до сих пор во власти своих рожденных в голоде и холоде представлений.

Кетлинская очень любила свою мать, маленькую черноглазую старушку, всегда в шарфе, чалмой завязанном на голове, всегда светски оживленную. И никто не хочет вспомнить, что умерла она, бедняга, от дистрофии. А Вера Казимировна делила с матерью последний кусок. В 42 году вышла Вера Казимировна замуж. Зонин[6], ее муж, был человек с ярким лицом.

29 августа

Седыми волосами. Храбрый на войне, как рассказывали очевидцы. И при этом тяжело изуродованный психически, как это смутно угадывалось. Его первая жена расстреляна была за участие в оппозиции. Если в те времена отделался он только исключением из партии, сохранив свободу и орден Красного Знамени, — то, значит, перетряхнули его до самого донышка. И невозможно было угадать, где в его душе лицо, а где изнанка. Отпраздновали они свою свадьбу так: каждый из гостей принес кроху своего пайка. Но в союзе даже хорошие люди, оставаясь во власти темных своих представлений, рассказывают до сих пор о пире, который закатила Кетлинская, когда люди кругом гибли с голоду. И вот война отошла, наконец, в прошлое. Я заходил как-то в новую квартиру Кетлинской. Зонин устроил свою комнату на морской лад, с Андреевским флагом. Яркая получилась комната и странная, господь с ней. Беспокойная. А время пришло после войны немирное. И должен сказать, что Кетлинская держалась храбро. На заседании в Смольном, том самом, что было посвящено журналам «Звезда» и «Ленинград», выступила Кетлинская едва ли не единственная с вполне трезвым словом, где заступилась за Берггольц. А враги ее, как всегда оживающие в трудные для союза времена, зашевелились. Снова появилась тень отца. Один из самых свирепых ораторов наших кричал тогдашнему секретарю Дементьеву: «Ты хочешь въехать в коммунизм верхом на адмиральской дочери!» И вдруг, к величайшему их огорчению, получи-

ла Вера Казимировна Сталинскую премию. Жила она все так же спокойно, достойно. Писала. Вела семью, которая выросла. У нее родился сын от Зонина, темноглазый, нежный, необыкновенно трогательный. Однажды он зашел к нам, когда было ему лет пять. Был он бледен. И все ежился, все зевал. Оказывается, утром околел у них котенок, и мальчик все не мог до самого вечера прийти в себя. Просто заболел. Старший, Сережа, в те годы казался куда более простым. Здоровенный. Только над лбом — седая прядь. Словно в воспоминание о днях блокады, когда рос он в бомбоубежище. Старший сын Зонина от первого брака был курсантом.

30 августа

В каком-то военном училище. В морском. И этот мальчик — впрочем, жених уже — был на попечении Веры Казимировны. Все казалось в семье ясно, лишено теней и углов, несмотря на комнату с Андреевским флагом и ее хозяина с ярким лицом, и белыми волосами, и обезумевшей душой. И вдруг, как это случалось в те немирные послевоенные годы, — Зонин исчез. Взяли. Я не знаю, что пережила Вера Казимировна, когда ветер и дождь ворвались вдруг в ее мир, стены исчезли, исчезла крыша. Пронесся смутный слух, что она собирается в Москву, в ЦК заявить, что она не верит, да, не верит в виновность своего мужа. Но не успела. Ее вызвали куда-то. И объяснили, какой нехороший человек Зонин. И Вера Казимировна уверовала в это свято, без малейшего притворства, и стены мира ее и его своды воздвиглись из хаоса. Она пожаловалась друзьям, что Зонин скрыл от нее ряд фактов из своего прошлого. И отказалась от него со свойственной ей железной последовательностью. И не пошла к нему на свидание, когда его высылали. А времена делались все более мутными. Я говорю о Союзе писателей. Но Кетлинская с вызывающей уважение храбростью занимала позицию вполне ясную. Она одна

решилась выступить на общем собрании прямо против скопившейся в союзном воздухе мути, указывая на могучих и мстительных виновников этой мути. Спокойно, достойно, степенно говорила она, и ни один человек не осмелился возразить ей по существу. И речь ее признали даже вечные враги ее. И на съезде выступала она ясно, смело, последовательно, открыто. Вера — великая и очищающая сила. Кетлинская жила в мире, сознательно упрощенном, отворачиваясь от фактов, закрывая то один, то другой глаз, подвешивалась за ногу к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому безумцу. И снова она писала, вела общественную работу. Построила себе дачу в Комарове, что далеко не просто. Мальчики подросли. Володя с годами не потерял своей прелести, мягкости.

31 августа

Сережа изменился — и изменился странно: он словно бы раздобрел, но как-то неладно, чуть по-бабьи, — он, здоровенный мужик, пока не овладели им превратности переходного возраста. Это, видимо, так и называлось дома — болезнь роста. Мир и покой не могло нарушить осложнение столь второстепенное. Но времена менялись. И Зонина вдруг освободили. Мы притихли в ожидании. Освобожден был Зонин по болезни. По акту о состоянии здоровья. Таких называли по установившейся терминологии — актированными, в отличие от реабилитированных. Примет его Кетлинская? Ведь не пересмотрено его дело! Сам Зонин не верил, видимо, в это. Когда, освобождая, предложили ему выбрать город, он назвал Новгород. Но усложнился мир, созданный Кетлинской, изменила она, слава тебе, Господи, железной своей последовательности. Забыла она о том, что скрыл Зонин от нее нечто неслыханно преступное в своем прошлом. Приняла она его, приняла! И рассказывает при

встрече о его здоровье. И хлопочет вместе с ним о пересмотре дела. Усложнился ли ее мир, смягчил простоту своих законов, или мир вокруг нее изменился — все хорошо! А он, Зонин, появился среди нас все такой же. Лицо яркое, волосы густые, седые. В Доме творчества жаловался он в безумии своем, что попал в плохой концлагерь: все шпионы да антисоветские люди — процентов пять невинно осужденных. А сейчас живет он на даче у Кетлинской. А она пишет, ведет свою выросшую семью, поместила недавно в «Литературной газете» большую статью о романе на производственные темы, и, встречаясь, я разговариваю с ней дружески и с уважением.

1 сентября

Каверин Вениамин Александрович — один из первых моих ленинградских знакомых. После Слонимского и Лунца или одновременно с ними. Встретился я с ним у «Серапионовых братьев». И сколько я его помню, был он с людьми даже несколько наивно приветлив, ожидая от них интересного. От ученых — что расскажут они что-нибудь научное, от меня, актера, — чего-нибудь актерского. Но тогда же, вскоре, почувствовал я, что и ученых, и актеров видит он, как через цветное стекло, через литературное о них представление. Из «Серапионовых братьев» был он больше всех литератор. Больше даже, чем Федин, которого все-таки судьба пошвыряла до того, как попал он в свой длинный и узенький кабинет с книжными полками. Правда, и Федин продолжал смотреть на мир через цветные стекла, только некоторые из них потеряли окраску, так что он кое-что иной раз видел непосредственно. Когда встретил я Каверина в первый раз, ходил он еще в гимназической тужурке с поясом. Был студентом университета и Института восточных языков. Кончал филологический и арабское отделение. Тут я, может быть, не совсем точен — уверен я только в арабском отделении. Но с филологическим

он был связан, писал о Бароне Брамбеусе и издал о нем целую книжку[1]. Дело не в том, кончил он филологический или нет, а в том, что духовно был он с ним связан не меньше, чем с «серапионами» и вообще с писательской средой, а больше. И к литературе подходил он через литературоведение. И то, что прочел, было для него материалом, а то, что увидел, — не было. Точнее, вне традиции, вне ощущения формального он смотрел, но не видел. В те дни был рассвет формализма. Каверин был близок к Тынянову, самому из них прельстительному и прелестному. Все «серапионы» любили говорить об остранении, обрамлении, нанизывании, и только один, пожалуй, Каверин принял эти законы органично, всем сердцем. Он веровал, что можно сесть за стол и выбрать форму для очередной работы. Он в те дни вряд ли подозревал о законе, определяющем твою работу: «Человек предполагает, а Бог располагает». И платился.

2 сентября

Но, страдая за свою веру, и тени сомнения не испытывал. Вся его судьба, его вера и личная жизнь — все шло прямо и последовательно. Жизнь в бесконечном разнообразии своем захотела показать, что способна создавать и такие благополучные судьбы. После 29 года знакомство наше по ряду обстоятельств стало гораздо ближе. Каверин женат был на сестре Тынянова — Лидочке, а Тынянов на сестре Каверина — Елене Александровне. Невозможно рассказывать о близких знакомых. Они так неожиданно и близко вросли в твою жизнь, что писать точно почти невозможно, как делать автопортрет с собственного затылка, пользуясь одним зеркалом. И богатство знаний тебя сбивает с толку. Все не похоже рядом с тем, что ты знаешь. Вот написал я: Лидочка — а как мне передать привычное, немолодое, много раз проверенное представление о много лет сопутствующем нам существе? Чем определить и доказать то, что не требу-

ет доказательства, слишком уж известно? Увидел я ее в начале двадцатых годов, когда какое-то серапионовское собрание проходило у них дома, на углу Введенской и Большого. С удивлением увидел я, что дом у Каверина, у мальчика в гимназической тужурке, еще больше налажен, чем у Федина. Настоящая квартира, с мебелью, внушающей уважение. Настоящая чистота, та самая, что зависит только от хозяйки дома. И тут я познакомился с ней, с хозяйкой, с Лидочкой. Бледная, темноволосая, маленькая, как все Тыняновы, она все помалкивала да поглядывала. И позже узнал я, не без удовольствия, что она, когда смотрела, — видела. У нее был дар, рассказывая, передать то, что заметила, очень похоже и весело. Веня мог рассказать интересно о Лобачевском, о котором собирал материалы, а то, что у него творилось под носом, решительно не видел. И Лидочка еще поставила дом так, что совсем освободила Веню от бытовых мелочей. Он, например, в начале тридцатых годов, чуть не через год после того, как масло исчезло из продажи, спросил, к нашему удовольствию, правда ли, что с маслом теперь какие-то затруднения.

3 сентября

В тридцать третьем году мы жили на одной даче с Кавериными, в Сестрорецке. Лидочка была беременна, но все так же спокойно и весело легкой рукой вела дом и никому не позволяла беспокоиться о себе, о своем здоровье. Беспокоился Веня. Вот он выходит, поработав положенное время, в сад и бродит по дорожке, откашливаясь, держась рукою за кадык. «Ты что?» — «У меня странное чувство в горле. Не могу решить — ехать мне на велосипеде или нет». Однажды приехали к нам Хармс, Олейников и Заболоцкий. Пошли бродить.

Легли под каким-то дубом, недалеко от насыпи, что вела к пляжу. Погода была не хорошая, не плохая. На душе у меня было неладно, как всегда в те годы в присутствии

Олейникова, при несчастной моей уязвимости. А Николай Макарович был всем недоволен. И погодой, и нашей дачей, и дубом, и природой сестрорецкой, — он еще медленнее, чем я, привыкал к северу. И все мы были огорчены еще полным безденежьем. Хорошо было бы выпить, но денег не было начисто. Потом Хармс, лежа на траве, прочел по моей просьбе стихотворение: «Бог проснулся, / Отпер глаз, / Взял песчинку, / Бросил в нас». Я любил это его стихотворение. На некоторое время стало полегче, в беспорядок не плохой, не хорошей погоды, лысых окрестностей вошло подобие правильности. И без водки. Но скоро рассеялось. Вяло поговорили о литературе. И стали обсуждать (когда окончательно исчезло подобие правильности), где добыть денег. Я у Каверина был кругом в долгу. А никто из гостей — не хотел просить. Стеснялись. Поплелись к нам в сад, под яблоню, которую в то лето до последнего листика, почему-то объели черви. Сели за столик на одной ножке, вкопанный в землю. Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их (в особенности Заболоцкого, которого стихи знал лучше других) как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил: «Хочу писать так, чтобы было чисто». У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя.

4 сентября

Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность — не степень одаренности, или не только степень одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, прежде всего простонапросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. Они знали эти законы, понимали их много органичнее, чем он, — и именно поэтому, по

крайней правдивости своей, не могли принять. Для них это была литература. Недавно, разговаривая с Шостаковичем, любовался я знакомой особой правдивостью и простотой его. Да, люди этого склада просты, и пишут просто, и кажутся непонятными потому только, что законы, общепринятые для того, что они хотят сказать, непригодны. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы прежде всего, сами того не сознавая, удивляясь, когда их не понимают. И невыносима им ложь и в человеческих отношениях. Судьба их в большинстве случаев трагична. И возле прямой-прямой асфальтированной Вениной дорожки смотреть на них было странно. Не помню, дали нам водки или нет. Помню только, что смотрели гости на него, на Каверина, без осуждения, как на представителя другого вида, с которым и счетов у них не может быть. А как сам он смотрел на себя? Однажды, тем же летом, гуляли мы втроем — я, он и Миша Слонимский. И заспорили они, Веня и Миша, не помню уж, по какому поводу. У них были свои серапионовские юношеские свары и счеты, причины которых уже и сами они не помнили, но следствие которых сохранилось до наших дней. И Веня вдруг, несмотря на несокрушимое свое добродушие, сказал с раздражением: «Да, я верю в свой талант, и ты в него не можешь не верить». Каждое утро на даче ли, в городе ли садился Каверин за стол и работал положенное время. И так всю жизнь. И вот постепенно, постепенно «литература» стала подчиняться ему, стала пластичной. Прошло несколько лет, и мы увидели ясно, что лучшее в каверинском существе — добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская, с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам — начинает проникать на страницы его книг.

5 сентября

У Тихонова и у Слонимского процесс развивался в обратном направлении. Многие удивились бы, прочтя

Мишин рассказ «Варшава», которым он начался, — до такой степени далек он от его последних вещей и похож на автора. Тогда как последний роман, продолжение «Инженеров», — ни на что не похож[2]. В «Дороге» Тихонова видна его деревянная, необструганная хохочущая фигура. А в последних стихах — и этого не обнаружишь. Обтесался. Читатели почувствовали преображение Каверина. Мальчик в гимназической курточке, сохраняя свои литературные пристрастия, заговорил с читателями по-человечески. Особенно удалось ему это в «Двух капитанах». Вот сколько, оказывается, дорог ведет к тому самому сочувствию, что дается как благодать. Даже такая благополучная и асфальтированная самой судьбой дорога, что досталась Вене. «Два капитана» имеют прочный, органический, на вполне благородных чувствах основанный успех. И Заболоцкий, единственный оставшийся в живых из трех гостей, приехавших в 33 году к нам на дачу, дружит с Кавериным совсем как с человеком одного с ним измерения. Каверин оказался верным и смелым другом в трудные минуты. Довольно хвалить, а то на портрете получается редкой красоты юноша в гимназической форме. Веня занят собой с наивностью обезоруживающей. Если он приезжает из Москвы один, то, значит, ничего не сумеет рассказать, надо ждать Лидочку. Он вечно говорил о своем здоровье и оказался прав: во время войны в Москве увезли его в «скорой помощи» в больницу. Внутреннее кровоизлияние. Оказалось, что у него давняя язва желудка. Было о чем говорить, что предчувствовать. Нет, трудно мне его ругать после стольких лет жизни в одном кругу. Я давно еще сделал открытие, что великие люди — одно, а близкие — другое. За другое их любишь. За то, что у них такое знакомое лицо. За то, что радуются они, услышав твой голос по телефону. За то, что сочувствуют тебе в трудные дни не отвлеченно, а словно бы беда случилась с ними самими. И за то, наконец, что на все это отвечаешь ты им тем же самым.

9 сентября

Следующая фамилия — ***Клыкова Лидия Васильевна***. Это сестра Катерины Васильевны Заболоцкой[1]. Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Екатерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры — тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой «культурной пивной» на углу канала Грибоедова*, против Дома книги.

10 сентября

И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, — зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: «Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится». А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий

---

* В подлиннике ошибочно — Фонтанки.

сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, — почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома. Но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И както Николай Макарович, неистощимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились, Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Этих уж не могу объяснить, почему. Яростно бранил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бранили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. «Культурная пивная» гудит от разговоров, и все на темы общие. — «Народ — философ!» — говорил по этому поводу Олейников. И наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза.

11 сентября

Это Олейников, всегда внимательный, точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом — Заболоцкий, светловолосый с девичьим цветом лица — кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее, подчеркнуто-степенное, упрямое выражение, — вот

что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской, — иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца. За что друзья зовут его иной раз, за глаза, Карлуша Миллер. Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбуржцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден. Помилован. Женился он в Петербурге.

Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла, и Введенский[2] с ужасом рассказывал, как спокойно принял Даниил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Даниил Иванович. Так или иначе, но вырос Даниил Иванович в семье дворянской, с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения, излишне стуча каблуками. Он окончил Петершуле[3] и отлично владел немецким языком. Знал музыку.

12 сентября

И сейчас, за столом в «культурной пивной», он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилкой, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свободное от

еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую записывал что-то. Или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще, благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с бору да с сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом, отглаженном костюме. Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс, и, когда различные учреждения, в том числе и отделение милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива.

13 сентября

Вот маленький пример того, как владел он формой. Мы все придумывали стихотворные рекламы для жур-

нала «Еж». И вот я придумал четверостишие. В шутку. Невозможное для печати даже в те легкомысленные годы. «Или сыну — «Еж», или в спину — нож». И прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание «в спиНУ НОж». И он, не задумываясь, ответил: «А вы переставьте: «Или «Еж» — сыну, или нож — в спину». И я еще раз проникся к нему уважением. Итак, мы сидели вчетвером в «культурной пивной». Я и трое людей, которых вспоминаю так часто. И они ругали женщин. Двое — яростно, а Хармс несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз с женщиной — все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно, что лошадь. Поймал ее за челку — значит, готово. Поезжай. Заболоцкий, строго и важно поблескивая очками, рассказал следующий случай. Одну молодую женщину любил композитор Гречанинов. А она предпочла ему простого парня, чуть ли не деревенского. Когда выяснилось, что композитору было много лет, а деревенскому парню — мало (я почему-то подозревал, что это был сам Николай Алексеевич), то я спросил Заболоцкого, мог бы он любить старую женщину за музыкальность и не предпочел бы он ей простую девушку за молодость. Но Николай Алексеевич не ответил, а только посмотрел на меня через очки. Женщин ругали не только в «культурной пивной», но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода заявил со страстью, строго и убежденно, что женщины не могут любить цветы. «Почему?» — «Не могут! Женщины не могут любить цветы!» Соответственно со своими взглядами дома был Николай Алексеевич строг. И Фома, названный Никитой, тоже разговаривал с матерью по-мужски. Жили они уже не в одной комнате, а в квартире в надстройке. И заболел он ветрянкой.

14 сентября

Никита заболел однажды ветряной оспой. Было ему в это время, вероятно, лет шесть. Нет, меньше. Чтоб не дать ему чесаться, мать передвинула ночью кровать его к своей. И Никита спросил коротко и строго по-мужски: «Пол не поцарапала?» По странной непоследовательности чувств Николай Алексеевич, презирающий женщин, когда родилась у него дочка, названная Наташей, просто Наташей, не Феклой и не Домной, неясно ее полюбил. Больше, чем Никиту. Во всяком случае, о нем он никогда ничего не рассказывал. А Катерине Ивановне рассказал однажды, как Наташа, восьмимесячная, кажется, собирала своими тоненькими пальцами крошки на диване. И, рассказав, чуть улыбнулся.

И вот грянул гром. В 38 году Николая Алексеевича арестовали. Вечером пришла к нам Катерина Васильевна и рассказала об этом. Пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване, рядышком, взявшись за руки. И увели его.

Катерину Васильевну разглядели мы тут, как следует, одну, саму по себе. Спокойно, с чисто женским умением переносить боль, взвалила она на плечи то, что послала жизнь. Внезапное вдовство — не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука. Двое ребят. Домработница сразу же, рыдая и прося прощения, призналась, что она боится и попросила расчет. Передачи. Справки. И наконец, пришлось ей с детьми выехать в Уржум, на родину Николая Алексеевича, где оставался кто-то из родни. Летом 39 года высылку признали незаконной. Катерина Васильевна вернулась. Она все не жаловалась, разговаривала все так же спокойно, даже весело. Делилась своим горем только с двухлетней Наташей, которая нечаянно выдала мать, сказав Лидочке Кавериной: «Ох, тяжело, как жить будем!» Суд постановил предоставить Катерине Васильевне площадь. Сначала дали ей комнату в надстройке. Нет, не так.

15 сентября

До того как переехать в надстройку, до суда, жила Катерина Васильевна у родных. И заболели они гриппом. Катерина Васильевна и Никита. И мы взяли к себе маленькую Наташу, после чего на всю жизнь у меня к ней осталось отношение, как к своей. Прожила она у нас месяца полтора, Катерину Ивановну стала за это время называть «мама», а когда спрашивали ее: «Чья ты девочка?» — отвечала: «Катерины Ивановны я». Отличалась полным отсутствием аппетита. Она покашливала и прихварывала у нас, и доктор велел ей ставить горчичники, чего она очень боялась. И однажды, придя домой, увидел я следующее: на телефонном столике мокнут горчичники, а на тахте возле сидит Наташа и, обливаясь слезами, ест манную кашу. Катерина Ивановна пригрозила ей, что, если Наташа не станет есть, она сразу примется ее лечить.

Только после всех вышеописанных событий состоялся суд, постановивший вернуть Катерине Васильевне принадлежащую ей площадь. После ряда приключений, о которых рассказывать по ряду причин никак не хочется, получила она временно одну комнату, потом поселили ее на счет Литфонда в «Европейской» гостинице, потом дали в надстройке комнатку постоянно. Было в этой комнатке так тесно, что Наташа большую часть дня проводила у нас. Каждый день бывала и Катерина Васильевна. Два года прожили мы бок о бок, и не было случая, чтобы пожаловалась она на судьбу. И целый день работала. Вязала кофточки на заказ. Все время то по хозяйству, то вязание в руках. Приходили в положенные сроки письма от Николая Алексеевича. И Катерина Васильевна читала их нам. Росли дети. Никитка, молчаливый и сдержанный, словно чуть-чуть пришибленный тем, что обрушилось на их семейство, и Наташа, то веселая, то рыдающая. У нее был особый дар: в случае обиды обливалась она слезами вдруг, без всхлипываний, разом.

16 сентября

Меня называла она Женюрочкой, Катерину Ивановну, расшалившись, умышленно, сверхъестественно тоненьким голоском: «Катеришка Ивашка!» Очень любила танцевать со мной. Танцевал, собственно, я, взяв Наташу на одну руку, а другой держа ее ручку на весу, словно танцуем мы фокстрот. И она часто просила: «Женюрочка, давай поплешим!» «Попляшем» ей никак не удавалось почему-то выговорить. Во время квартирных мытарств помогал я Катерине Васильевне. Однажды, когда перебиралась она в «Европейскую», дело было вечером, номер им дали во втором этаже, и поэтому поднимались мы пешком, на площадке между первым и вторым этажом увидела Наташа в открытую дверь ресторанный зал, танцующие пары, услышала музыку. И сказала умоляюще: «Женюрочка, пойдем туда, посидим, поплешим!» А Катерина Васильевна воскликнула: «Каково это слышать матери!». Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны. Ввели затемнение. Начались грабежи, а еще больше пошло слухов о грабежах. Стоишь в полной тьме. Из-за морозов трамвайное движение сократилось. Стоишь на остановке в толпе, угрюмой и тихой, и, наконец, в темноте проступают два синих, медленно двигающихся огонька. «Какой номер?» И кто-нибудь из висящих на площадке отвечает угрюмо. То в одном, то в другом доме лопались водопроводные трубы, замерзало отопление. Холодно было и в «Европейской» гостинице, но Катерине Васильевне удалось перебраться скоро к нам обратно, в надстройку. И снова каждый вечер появлялась она за нашим столом, с вязаньем в руках, все спокойная, все веселая, худенькая, как девочка. И ни разу не видал я, чтоб слезы выступили на темных ее глазах. Ни разу за все годы знакомства, хоть столько было пережито. И оставалась она все такой же ровной в обращении, хотя было отчего беспокоиться. Шли хлопоты.

17 сентября

О пересмотре дела Заболоцкого подал ходатайство Союз писателей. Точнее, ряд влиятельных московских писателей. И дело направлено было на пересмотр. Когда горе-злосчастье вот-вот спрыгнет с твоих плеч — и ты надеешься на это, — еще труднее сохранять спокойствие. Но у Катерины Васильевны и тут хватило сил не показать, как ждет она счастья. Как замучилась, ожидая. Каверин, изо всех сил хлопотавший по этому делу, утверждал, что Николай Алексеевич вернется вот-вот, со дня на день. Но грянула война. И жизнь Катерины Васильевны стала еще страшнее. Когда 11 декабря 41 года уехали мы из Ленинграда, Катерина Васильевна с детьми поселилась в нашей квартире. С конца января, чтобы голодающие дети теряли меньше сил, она их все время держала в кровати. Было это в начале февраля 42 года. Всякие заказы на кофточки прекратились, конечно. Первые месяцы Катерина Васильевна подрабатывала тем, что ухаживала за больной старухой, которая уделяла ей какую-то часть своих запасов за это, чем Катерина Васильевна и подкармливала детей. Наташа спросила однажды: «Мама, это правда было, или мне во сне снилось, что ты когда-то меня заставляла есть». Но вот старуха умерла. И труп ее все носили с площадки на площадку. Жильцы. Чтобы избавиться от него. Но трупы все прибавлялись, на всех площадках, на улицах. И вот, наконец, Кетлинская включила Катерину Васильевну с детьми, маленькой племянницей и сестрой, той самой Л. В. Клыковой, что записана у меня в телефонной книжке, в список, в писательский список подлежащих эвакуации. А смерть в те дни как будто с умыслом ловила тех, что пытались от нее убежать. Однажды, кажется, было это 6 февраля, за два дня до отъезда, сидела Катерина Васильевна в нашей крошечной кухне, где удавалось кое-как поддерживать тепло. Дети лежали на раскладушке. Шел сильный артиллерийский обстрел нашего района. Снаряды так и

рвались по соседству. Боже мой, как далеко ушло в глубь веков то время, когда сидели мы в пивной.

18 сентября

«Культурная пивная» сегодня похожа была на тяжелораненую. В дом, бывший Энгельгардта, попала бомба. И дом как бы временно перевязали — забили фанерой. Снег, да щебень, да запах гари — вот что нашел бы ты там, где за всеми столами, увильнув от работы, словно школьники, громко рассуждали мужчины на общие темы. А за нашим столом надменно бранили женщин. Века прошли с тех пор, большая часть наших соседей по «культурной пивной» погибла, наш район обстреливали, а Катерина Васильевна советовалась с сестрой — нести детей в бомбоубежище или не стоит. У них была повышенная температура. И вдруг разговор их на полуслове оборвался. Взрыв, вспышка ослепительная, пронизавшая всю квартиру, удар, шум разрушения. Когда я через два месяца спросил Наташу, что сделала мама, когда в квартиру попал снаряд, она ответила: «Мама? Она побежала наверх по лестнице, потом вниз». — «А ты где была?» И Наташа, пожав плечами, ответила как вещь само собой разумеющуюся: «У мамы на руках!» И в самом деле, когда снаряд попал в столовую, под самый подоконник и, свернув радиатор отопления восьмеркой, вбил его в противоположную стенку, Катерина Васильевна, схватив детей на руки, побежала в растерянности, ошеломленная, наверх, а потом вниз, в бомбоубежище. Смерть промахнулась чуть-чуть. У нас в квартире всего-то было около 24 метров. Между столовой и кухней помещался так называемый кабинет — моя комната в 9 метров. Но жильцов наших только напугало. И через два дня Катерина Васильевна погрузилась с сестрой и детьми в писательский эшелон. На Большой земле Заболоцкие отделились от писателей. Они решили пробираться к нам, в Киров, а оттуда всё в тот же Уржум. В то время Ленин-

град и ленинградцы, их горести перешли за те пределы, что люди знали. Если больной вызывает жалость, гроб — уважение, то разлагающийся мертвец вызывает одно желание — убрать его поскорей. Вагоны, теплушки с несчастными дистрофиками ползли от станции к станции. А смерть гонялась за беглецами.

19 сентября

На остановках в двери теплушек стучали и просили: «Граждане, не скрывайте трупы!» Но граждане скрывали, чтобы получать продовольствие за умерших. Несчастные, обезумевшие с голоду и холоду ленинградцы. У них, умирающих, были свои счеты с умершими. И немирно было в теплушках. В той, где поместилась Катерина Васильевна с детьми, дружно ненавидели одну семью: отец — научный работник, мать и ребенок, страдающий голодным поносом. Отец на станциях, где кормили ленинградцев, ходил за диетическим супом для больного сынишки и половину съедал на обратном пути и, чтобы скрыть, доливал котелок сырой водой. И попался. И его яростно бранили. И еще больше возненавидели. И когда он умер, радовались все эвакуированные, и жена покойного в том числе. Весь эшелон доставили в Кострому, где был устроен стационар для ленинградцев. Их вымыли, уложили, откормили. И Катерина Васильевна недели через две увидела, что жена умершего научного работника, которую она вместе со всеми ненавидела, очень славная женщина. И мальчик, избавившийся от голодного поноса, оказался хорошим мальчиком. И жена научного работника целыми днями плакала, вспоминала мужа, рассказывала, каким он был, пока в блокаду не потерял облика человеческого. А мы жили в Кирове, в десятиметровой комнате, в театральном доме. И мы ничего не знали о Заболоцких. Знали, что к нам в квартиру попал снаряд, что Заболоцкие уцелели и через два дня после этого эвакуировались. Но прошло почти два

месяца с тех пор. И я сам не знал, как беспокоит меня их судьба. Но вот однажды рано утром, когда я еще курил с наслаждением самосад, только что проснувшись и лежа в кровати, вошла улыбаясь Катюша и протянула мне телеграмму на розовой бумаге. И я прочел, что Катерина Васильевна с детьми едет к нам. И, прочтя, заплакал вдруг, что никак не свойственно мне. Никогда со мной этого не бывало. Катерина Васильевна пробиралась в Киров со множеством бед и трудов. Попробуй, сядь в поезд!

20 сентября

С детьми, с огромным, неуклюжим багажом эвакуированных. Был такой случай, что Катерина Васильевна однажды вскочила с Наташей в теплушку и поезд вдруг тронулся, а Никита, рыдающий, остался с вещами на перроне. И Катерина Васильевна с первого же разъезда побежала обратно с Наташей на руках. Но вот, наконец, удалось погрузиться всему семейству, и состав медленно пополз к Кирову. Ночью обнаружилось, что в теплушке больные дети. Утром врач установил скарлатину. Больных высадили. А через положенное время ночью вдруг поднялась температура у Наташи. Боже мой, как далеко, на целые века, ушло то время, когда, сидя за столом у Олейниковых, упрямо, строго, со страстью повторял Заболоцкий: «Женщины не могут любить цветы!» На другой день к вечеру Наташа поправилась. Ночью, когда температура вскочила, зажигая спички, не могла определить Катерина Васильевна, появилась у нее сыпь или нет. А днем сыпи тоже не обнаружила. А врачей на этом перегоне не было. Так и пробирались они к нам, медленно полз состав от станции к станции. А мы всё ждали гостей и разговаривали о них. Вспоминали, как Зон, к ужасу педагогов, провел трехлетнюю Наташу на «Красную Шапочку» в Новый ТЮЗ. Посадил ее в свою ложу. А вечером Наташа сыграла нам всю пьесу, сцену за сценой. Моя Катерина, Катерина Ивановна, была к

тем, кого любила, внимательна до мнительности. То ей казалось, что маленькая Наташка дальтоник. Пока не выяснилось, что девочка путает не цвета, а по малолетству, названия цветов. То казалось ей, что у девочки недостаточно хорошая память. И когда сыграла Наташа всю «Красную Шапочку», Катерина Ивановна обрадовалась. И Катерина Васильевна, худенькая, как девочка, сидя на диване нашем, глядела на дочку с наслаждением, любовалась ею, но сдержанно. Всегда ровная, в горе и радости. То вспоминал я один из первых обстрелов города. Было часов девять вечера.

21 сентября

Бомбоубежище наше не было еще оборудовано. Договорились с Малым оперным, что детей будем направлять к ним. И вот снова, как в день переезда в «Европейскую», двинулись мы в путь через пешеходный Итальянский мостик. Впереди Катерина Васильевна с подушками и одеялами и с Никитой, а позади я, с Наташей на руках. Девочка была встревожена, молчала и ни о чем не спрашивала. Казалось, что снаряды пролетают над самой головой. Ясно слышался звук разрыва, которым заканчивался свист. Когда раздался особенно громкий взрыв, я с удивлением заметил, что в своем смятении чувств испытал удовольствие. Именно от силы звука. И подумал: неужели свойственна человеку любовь к грохоту? Не отсюда ли — хлопушки, петарды, орудийные салюты? Словом, некие заслонки опустились в душе, и я сосредоточенно думал о чем угодно и отбрасывал мысль о том, что стреляют-то, в сущности, в нас, в ленинградских обывателей, и могут попасть. Такие же заслонки опустились в душе, когда не было известий от Заболоцких, и я думал о чем угодно, только не о том, что могли они погибнуть. Но, видимо, чувствовал, что это возможно, вполне возможно. Так просто умирали люди вокруг.

Вот почему я и заплакал, когда пришла телеграмма. Смятение чувств исчезло, осталось только облегчение и радость. Долго ли, коротко ли, но вот к нам в дверь постучали рано утром. Открываю и вижу Катерину Васильевну и сияющую, беленькую, румяную Наташу. И первое, что девочка закричала, не поздоровавшись, не войдя в комнату: «Вас разбомбило!» С ударением на «о». «Как тебе не стыдно!» — сказала дочке Катерина Васильевна. Оказывается, Никита остался на вокзале только при том условии, чтобы не рассказывали без него, как попал к нам снаряд. Он хотел вместе. А Наташа не удержалась. Вскоре все, с вещами, чудом каким-то разместились в нашей десятиметровой комнате. И Лидия Васильевна со своей девочкой, совсем незнакомой, загадочно улыбавшейся.

22 сентября

Впрочем, она довольно скоро уехала с дочкой в Уржум, а мы остались впятером. Катерина Васильевна еще с порога, как Наташа о том, что нас «разбомбило», предупредила о таинственном Наташином заболевании. Но мы и думать об этом не захотели и не отделили девочку от остальных детей театрального дома. Уж очень она хорошо выглядела, и, когда мыли ее, никаких признаков шелушения не обнаружили. Значит, девочка перенесла не скарлатину, а просто грипп. Весела она была необыкновенно, веселее всех на наших десяти метрах. Ей уже исполнилось пять лет. От отца унаследовала она нежнейший цвет лица и золотистые волосы, а от матери темные глаза. Маленький, живой, отчаянный мальчик, сын одного из мобилизованных работников Кировского областного театра, примерно Наташин ровесник, описывал ее так: «К Катерине Ивановне приехала дочка, красивая! Таких не бывает!» И все приняли девочку ласково, зазывали из комнаты в комнату. Вот возвращается она от Никритиной[4] и Мариенгофа. «Ну, как тебя принимали?» — «Принимали? Очень хорошо! Какао.

Бутерброд с медом. Бутерброд с колбасой. Очень хорошо принимали!» И, пожив в Кирове с неделю, пятилетняя Наташа сказала с удивлением: «Я не знала, что так хорошо жить!» А Никита, которому уже исполнилось десять лет, а на вид казалось меньше, всё молчал и читал — нет, не читал, а изучал — одну и ту же книжку, купленную на вокзале. Называлась она «Постройка дома из местных материалов». Столько лет Никита был бездомным! Забьется в угол и рассматривает, рассматривает плиты, изучает, мечтает. А вдруг удастся построить? Катерина Васильевна, хоть и отошла немного в Костроме, была еще худее прежнего. Она рассказала о своих приключениях дорожных, об умершем научном работнике, которого даже собственная жена возненавидела, а потом пожалела, придя в себя. Рассказывала вдумчиво, сосредоточенно, как бы с трудом добывая воспоминания со дна души. И руки у нее, как всегда, были заняты. Что-то перешивала ребятам. Катерина Ивановна спрашивает ее: «А где у вас кусок шерсти был такой хороший?» Она задумывается.

23 сентября

И отвечает сосредоточенно, как бы с напряжением собирая разбегающиеся воспоминания: «Забыла. Может быть, взяла, а может быть, и нет. Пять шкурок беличьих забыла, это я теперь точно знаю. Разве я помню, что брала? Я уезжала, как в тумане!» Вскоре заболела Катерина Ивановна ангиной в очень сильной форме. Чего с ней вообще никогда не случалось. По хозяйству теперь хлопотала одна Катерина Васильевна. И ей изо всех сил помогала Наташа. И подметала, и бегала с пепельницей то ко мне, то к Катерине Ивановне и предлагала: «Макайте, макайте!» А Никита делался все молчаливей, и едва поправилась Катерина Ивановна, свалился он. До сих пор спал Никита возле письменного стола, на полу, рядом с Наташей. Теперь соорудили ему у стены отдельное

ложе из рюкзаков и тюков. Он лежал и вздыхал. И через несколько дней выяснилось, что у него воспаление среднего уха. И, несмотря на отчаянные боли, он только кряхтел. Дело уже идет к весне. Я только что пришел с улицы, где заметил, что деревянные мостки, идущие вдоль деревянных заборов, почти полностью обсохли, послушал, как с шумом бежит вода по канавкам по всей дороге от нашего дома вниз, к Пупыревке, к рынку, и обрадовался. Дома Катерина Васильевна меняет Никите компресс. Потом собирается капать ему в нос протаргол. И Никита просит кротко: «Подожди, подожди с каплями. Дай я отдышусь». А Наташа, вытирающая пыль, поет рассеянно: «Отдышусь, от-дышусь, от-дышусь». Когда все лечебные процедуры кончены, я спрашиваю Никиту: «Что ж ты лежишь, не читаешь? А где «Постройка дома из местных материалов»? Потерял?» — «Что вы! — отвечает Никита. — Я эту книгу берегу, как *зенитку* ока». Через несколько дней у Никиты началось воспаление желез. Квартирный врач вызвал инфекциониста. И тот установил, что у Никиты скарлатина. А жили мы в театральном доме. Кругом дети. Родители сердитые.

24 сентября

И надо сказать к их чести, что мы ни слова упрека не услышали от замученных и обиженных на весь мир соседок наших. Никиту увезли в больницу. В комнате нашей сделали дезинфекцию. Наташа играла только с моей Наташей, которой в то время было двенадцать лет. Глянешь за оттаявшее уже окно и видишь: стоит моя Наташа в своей шубке из каких-то беличьих отходов, из бело-желтых прямоугольничков. Выросла она из этой шубы, так что она ей чуть не выше колен. Стоит Наташа, сильно откинувшись назад, держит на руках Наташу Заболоцкую в белой шубке. Маленькая Наташа это очень любит, хоть Катерина Васильевна и запрещает — боится, что большая Наташа надорвется. Когда маленькая Ната-

ша играла одна и к ней по привычке направлялись соседские дети, она поднимала руку и кричала: «Не подходите! Заразитесь!» С ударением на втором «а». Каждый день ходили они — Наташа и Катерина Васильевна — к Никите в больницу. Он уже поправлялся. Он подходил к закрытому окну и кивал. А однажды показал записку, написанную крупными буквами: «Хочу домой». Больница помещалась на краю города, дорогу совсем развезло, так что Катерина Васильевна возвращалась домой еще более бледной, с еще более темными глазами, а Наташа — красная, как из бани. Однажды разыгралась буря. Кормились мы в Кирове в те дни относительно сытно, в основном картошкой. Наташа, некогда привередливая, ненавидевшая пенки или яйца всмятку, теперь их обожала. Но больше всего — масло. И, видимо, ей все время хотелось есть. И вот однажды обнаружилось, что масло в масленке сверху слизано. Кошек не было — кроме Наташи, никто не мог совершить преступление. А она не сознавалась. И ей так строго выговаривали — не за то, что слизала, а за то, что не сказала, что сама преступница пришла в отчаянье от своей нераскаянности. И Катерина Ивановна услышала на другой день, как Наташа говорит своей кукле: «Я, наверное, оттого такая плохая, что некрещеная».

25 сентября

Но на другое утро всё было забыто, и Наташа носилась между курящими с пепельницей и уговаривала: «Макайте, макайте». Катерина Васильевна никогда не отводила душу, как это вечно бывает, на самых беззащитных в семье, но и не распускала ребят. И только однажды, когда Наташа вечером слишком уж развеселилась и потом ни за что не хотела ложиться спать, плакала и бунтовала, Катерина Васильевна только молча глядела на дочку своими темными глазами, опустив руки. А утром сказала сосредоточенно, ни на кого не глядя, будто

отчитываясь перед собой: «Для того чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь. Я вчера совсем без сил была». Но обычно Наташа вела себя, как подобает воспитанной девочке. Катерина Ивановна ее так и спрашивала за столом: «Как сидят воспитанные девочки?» И Наташа вытягивалась в струнку и даже подбородок выставляла вперед. Катерину Ивановну Наташа слушалась не меньше, чем мать. 16 апреля мы приглашены были обедать к Гане на торжественный обед по случаю дня рождения моей Наташи, большой Наташи. Позвали и маленькую Наташу, Заболоцкую. Сидела она за столом старательно, как воспитанная девочка. Но вот подали телятину. И вскоре, взглянув на Наташу, увидел я, что она опять вот-вот заплачет. «Что с тобой?» Вместо ответа Наташа залилась слезами, на свой особенный лад, не всхлипывая. И не сразу угадали мы причину. Оказывается, попался ей жесткий кусочек, который не могла она прожевать, а выплюнуть не смела как воспитанная девочка. Катерина Ивановна разрешила ей избавиться от погубительного кусочка с помощью салфетки.

В театральном доме жил парикмахер — чех по фамилии Свобода. И было у него двое детей. Мальчик Франтишек и девочка Власта. Дети звали их Франтик и Ласточка. Ласточка была необыкновенно хороша собой. О чем неоднократно говорили мы при Наташе. Однажды Наташа провинилась, уж не помню в чем. Екатерина Васильевна сделала ей выговор, который девочка выслушала спокойно.

26 сентября

Тогда Катерина Ивановна сказала: «Ну, кончено. Решено. Вместо тебя возьмем мы в дочки Ласточку». Несколько мгновений Наташа сидела неподвижно, с тем же легкомысленным выражением, с каким выслушивала мамин выговор. И вдруг рухнула, уткнулась лицом в колени Наташи большой, сидевшей возле. И расплакалась, на свой лад, не всхлипывая, безудержно и безутешно.

Когда Наташа Заболоцкая, уже студенткой, в прошлом году была у нас и мы вспоминали прошлое, выяснилось, что Ласточку и угрозу Катерины Ивановны помнит она ярче всего. Помнит и несчастье со сливочным маслом. «Сама теперь не понимаю, почему я не могла признаться», — сказала она вдумчиво, сосредоточенно, как Катерина Васильевна. В конце апреля, в назначенный день, отправилась Катерина Васильевна за Никитой и привела его, довольного, сдержанно улыбающегося. Дом из местных материалов еще не был построен, но все-таки вернулся мальчик к своим, как бы домой. К знакомому неуклюжему эвакуационному багажу, в комнату, где уже прижился. Но приближался день новых странствий. Письменский помог Катерине Васильевне устроиться преподавательницей в интернат ленинградских школьников, эвакуированных в Уржум. Назначен был день отъезда. И перед самым этим днем покрылся сыпью, заболел я. Когда Катерина Васильевна укладывала вещи, еще не было установлено, скарлатина у меня или нет. Но она все поглядывала на меня сокрушенно, словно виноватая. Приехал за ними возчик, уже на колесах. Как нарочно, повалил мокрый снег. Я попрощался с Катериной Васильевной, с детьми. Поволокли к выходу тяжелый эвакуационный багаж. Катерина Ивановна вышла проводить во двор. И, глядя им вслед, едва не заплакала. Катерина Васильевна шагала под снегом, сгорбившись, рюкзак на спине, вела детей за руки.

27 сентября

Когда дня через два позвонила Катерина Васильевна из Уржума и узнала, что все-таки у меня скарлатина, то ужасно извинялась, будто виноватая. А я все не мог отделаться от ощущения, вызванного рассказом Катерины Ивановны. Валит снег. На возу мешки, узлы, потемневшие от странствий, а возле шагает, сгорбившись, Катерина Васильевна и ведет детей. И примерно в эти

дни бездетный Владимир Васильевич Лебедев горевал, вспоминая с искренней любовью о вещах, покинутых в Ленинграде. О каком-то половнике, удивительно сработанном. О коллекции кожаных произведений искусств: ботинок, и полуботинок, и поясов, и о шкафах своих, и о кустарных фарфоровых фигурках своих. И под конец воскликнул убежденно, со страстью: «Да, да, не людей жалею, а вещи. Хорошие вещи создаются раз в сто лет. А людей — хватает!» О, шалуны! О, гении.

В Уржуме интернат оказался тяжелым. Собрали туда ребят трудновоспитуемых. Жила Катерина Васильевна с детьми в каком-то чуланчике и с утра до вечера то по службе, то по дому. И готовила, и стирала, и учила трудновоспитуемых, и глаз не спускала со своих ребят, которым приходилось расти в столь опасной обстановке. И так шло до 44 года, когда Николая Алексеевича освободили. И Катерина Васильевна вновь двинулась в странствование. В Кулунду, где Николай Алексеевич работал теперь вольнонаемным. Сколько ребят, оставшихся в те годы без отца, «потеряли себя», как говорит Илико[5]. Но Катерина Васильевна привезла отцу ребят хороших и здоровых. Только бледных и худеньких, как все дети в те времена. И семья Заболоцких восстановилась. Попрощавшись с Катериной Васильевной весной 42 года, встретился я с ней и с детьми через пять лет. В Москве. Летом. В Переделкине, где снимали они комнату. Наташа, поздоровавшись, все поглядывала на нас издали из-за деревьев. Исчезла Наташа трехлетняя, исчезла пятилетняя, беленькая десятилетняя девочка, и та и не та, все глядела на нас недоумевающе, старалась вспомнить. И Никита поглядывал. Этот улыбался. Помнил яснее.

28 сентября

И Николай Алексеевич глядел на нас по-другому. И тот и не тот. И дома не снисходил к жене, а говорил с ней так, будто и она гений. Просто. Вскоре написал он стихотворение «Жена», в котором все было сказано. Все,

со свойственной ему силой. Долго ли, коротко ли, но прописали Николая Алексеевича в Москве. И союз дал ему квартиру на Беговой. И вышел его стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» и множество переводов грузинских классиков. И заключили с ним договор на полное собрание сочинений Важа Пшавела. И он этот договор выполнил. Приедешь в Москву, придешь к Заболоцким и не веришь глазам: холодильник, «Портрет неизвестной», подлинник Рокотова, — Николай Алексеевич стал собирать картины. Сервиз. Мебель. Как вспомнишь комнатку в Кирове, горы багажа в углу — чудо да и только. И еще большее чудо, что Катерина Васильевна осталась все такой же. Только в кружке в Доме писателей научилась шить. Сшила Наташе пальто настолько хорошо, что самые строгие ценительницы удивлялись. И еще — повысилось у нее после всех прожитых лет кровяное давление. Сильно повысилось. Но она не сдавалась, глядела своими темными глазами весело и спокойно и на детей, и на мужа. Никита кончил школу и поступил в Тимирязевскую академию, где собирались его пустить по научной линии. Уважали. А Наталья училась в школе всё на круглых пятерках. Это была уже барышня, тоненькая, беленькая, розовая, темноглазая. И мучимая застенчивостью. С нами она еще разговаривала, а со сверстниками, с мальчиками, молчала, как замороженная. И много, очень много думала. И Катерина Васильевна болела за нее душой. А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужик на возу, не отвечающий, что привез на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он «Слова» и Руставели[6] и не написал бы множества великолепных стихотворений.

29 сентября

Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что «женщины не могут любить цветы», испытывал я чувство

неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И все шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехала «неотложная помощь». Вспрыснули камфару. А через полчаса или час — новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт. Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич еще полеживал. Я начал разговор, как ни в чем не бывало, чтоб не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: «Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена». И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что кроме жизни с ее литературными новостями есть еще нечто, хоть печальное, но торжественное. Катерина Васильевна накрыла на стол. И я увидел знакомый финский сервиз, тонкий, синий с китайчатами, джонками и пагодами. Его купили пополам обе наши Катерины уже после войны, в Ленинграде. Мы взяли себе его чайный раздел, а Заболоцкие — столовый. Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа.

30 сентября

Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен

красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну, вот и все. Рассказываю все это не для того, чтобы защитить Катерину Васильевну от мужа. Он любит ее больше, чем кто-нибудь из нас, ее друзей и защитников. Он написал стихотворение «Жена», а сила Николая Алексеевича в том, что он пишет, а не в том, что вещает подвыпивши. И уважает он жену достаточно. Ей первой читает он свои стихи — шутка ли. Не сужу я его. Прожили они столько лет рядом, вырастили детей. Нет ему ближе человека, чем она, нет и ей ближе человека, чем он. Но о нем, великолепном поэте, расскажут и без меня. А я сейчас болен и особенно чувствую прелесть заботы Катерины Ивановны, не ждущей зова, а идущей навстречу. Вот и рассказываю с особенным наслаждением о женщинах, которые, как говорят, по природной ограниченности своей, не могут любить цветы.

8 декабря

«Лавка писателей», то есть книжная лавка Литфонда — существо дружественное. Особенно за последний год, когда живем мы больше в городе, чем в Комарове, приблизилась она к нам. До ремонта я входил в общее отделение магазина, где никто меня не знал. Здесь встречали меня одинаково безразлично и продавцы, и покупатели. Но в зависимости от состояния духа безразличие это представлялось мне то враждебным, то доброкачественным. Я шел по общим отделениям с неприятным чувством насильственно-рассеянного внимания, как в музее, где экспонаты наперебой отвлекают твое внимание. Иногда через магазин невозможно было пробиться: это значит, выпущена в продажу книжка, за которой охотятся. Подобного рода очереди меня всегда радуют: начинает казаться, что искусство не менее нужно, чем хлеб. Но увидишь, что очередь стоит, скажем, за «Финансистом» Драйзера — и отрезвеешь. В комнате, отведенной для писателей, свободно. Чувство рассеянного насильствен-

ным путем внимания исчезает. Тут знаешь точно, на каких полках что лежит. И, улыбаясь, встречает тебя Мария Львовна. Невысокая брюнетка, несколько полная, черноволосая, черноглазая и всегда явно или в глубине души озабоченная, несмотря на улыбку. Сидит она за столом, всегда занятая делом. Обслуживать писателей тоже непросто, не легче, чем в ателье или в лечебном отделе. И тут загноившиеся самолюбия дают себя знать. Лауреат Сталинской премии, автор толстой книги о Ломоносове, не говорящий, а крикливым тенором вещающий бородатый Морозов, года два назад кричал на пожилую, потерявшую на войне мужа Марию Львовну, как барин на горничную. И написал множество заявлений на нее, ко всему вдобавок. И с месяц встречала тебя Мария Львовна с улыбкой, но румянец пылал на щеках, будто у нее жар. Она жила до войны в Киеве. Спокойно и достойно. И теперь переносила мужественно чужой город, вдовство. Растила сына, потеряй тут место.

9 декабря

По лицу Марии Львовны угадываешь и о других бедах. Ведь в книжной лавке писателей не меньше сложностей и борьбы, чем при дворе. (Это папа говорил: «В каждой парикмахерской — тайны мадридского двора».) То ведет подкопы товаровед, то бухгалтер, то сам заведующий обругает. И на лице Марии Львовны то и дело пылает румянец, словно у нее жар. А в этом году еще преследует ее страх одиночества, сын кончает холодильный институт, и останется она одна, если получит он назначение куда-нибудь далеко от Ленинграда. В комнате обслуживания писателей все знакомо. При всех своих огорчениях Мария Львовна занимает свое место за столом и встречает тебя на южный киевский лад, не по-чухонски, бодро и доброжелательно, где бы ни бродили ее мысли, как бы ни терзали ее заботы. Над ней чуть правее возвышались до ремонта полки с совре-

менными книгами. Под углом к ним — мои любимые полки — букинистические, с отдельными томами полных собраний сочинений — с их помощью удалось мне собрать всего Диккенса, скажем, с много лет не уходящими книгами. Например, «Зверь из бездны» Амфитеатрова, том I, и разной макулатурой, среди которой вдруг натыкаешься ты на нечто утешительное. Под окном застекленная витрина, укрепленная на столике. Тут старинные книжки, фотографии с подписями, подлинные письма писателей и так далее, и так далее. Посреди комнаты круглый стол со сборниками, справочниками, монографиями об отдельных актерах. Налево от Марии Львовны (если стоять к ней лицом) полки с поэтами. Под углом — полки с полными собраниями сочинений, рядом — мемуары, исторические книги. Впрочем, вероятно, теперь все разложено по-новому, в магазине был ремонт. На время ремонта помещалась Мария Львовна в загородке из фанеры, с ванную комнату величиной. Я любил прежнюю нашу книжную лавку. Когда уходил бродить по Невскому, словно у меня времени сколько угодно, и, опьяненный праздностью, сворачивал в книжную лавку писателей. Теперь все это ушло в историю.

13 декабря

Любарская Александра Иосифовна, пожалуй, одно из самых преследуемых судьбой существ, которых встречал я в своей жизни. И принимает она свои горести так, что не посмеешь назвать ее несчастной. Близкие ей, самые близкие люди гибнут, и гибнут непременно трагически. Книги ее бранят несправедливо. Жизнь не дает ей покоя. Но глаза ее глядят ясно. Видеть ее легко. Ум ее так же ясен и светлоглаз, как сама она. И казалось бы, Бог ее благословил на жизнь счастливую. На самом же деле ей суждена была жизнь достойная.

27 декабря

...Идет запись ***Федоров***. А затем в скобках — монтер. Этим и объясняется, почему фамилия на букву «Ф» попала в алфавит на «М». Телефон, первый в моей жизни, имел № 2-00-66. Поставили этот деревянный неуклюжий настенный аппарат, вероятно, году в 24-м, когда жил я еще на Невском 74, кв. 71. Именно по этому аппарату услышал я в ужасный день 3 октября 25 года о страшной смерти моего шурина Феди Халайджиева[1]. И удивлялся, как не заржавела мембрана, когда мне Олейников упавшим голосом сообщил об этой беде.

Этот телефон так и числился за мной. Слышал я и дурное, и хорошее. Сообщили о рождении Коли, сына, Фединого мальчика. Звонили и друзья, и враги, и враги, они же друзья. Сердился на меня Самуил Яковлевич за лень и беспорядочность в редакционной работе. Он же иной раз звонил весело и шутя. На рассвете 16 апреля прозвенел звонок, и вскрикнула Искуги Романовна[2]: «Это из родильного дома!» И я услышал равнодушный, но старательный голос сиделки: «Родилась у вас девочка, черненькая, восемь фунтов с четвертью. Супруга ваша чувствует себя нормально». Я повторил все это Искуги Романовне, и она расплакалась, беспомощно и радостно, как в марте 54 года, когда позвонила ей Катерина Ивановна, что родилась у Наташи, у той самой «черненькой и здоровенькой девочки», дочка. Тоже $8^1/_2$ фунтов. Второй уже Наташин ребенок.

28 декабря

Первый, Андрюша, родился в Москве в 50 году, и я звонил об этом событии в Ленинград Катерине Ивановне. По нашему третьему телефону, о котором речь пойдет впереди. Разойдясь с Холодовой, я долго жил без телефона. С 29-го по 34-й. Но вот в апреле 34-го переехали мы в так называемую писательскую надстройку. И через несколько дней появился у нас на стене, хоть и висячий, но на этот раз маленький, черненький, не ли-

шенный изящества телефонный аппарат. И номер наш стал 4-80-11. С апреля или мая 34-го по 9 декабря 41-го чего только не наслушался я по телефону 4-80-11. Тогда это не был автомат. Ты нажимал кнопку «А», если первые цифры номеров, которые ты вызываешь, начинались с единицы или двух. И на кнопку «Б», если номера были выше. И женский голос с особенной, выработанной интонацией отвечал тебе: «Группа «А» или «Б» и повторял преувеличенно отчетливо названный тобой номер. После чего сообщал: «Позвонила» или «Соединяю», на что я, по московскому обычаю, усвоенному в студенческие годы, отвечал «спасибо». И прислушивался к звонку, похожему на сипение. Это телефонистка звонила. Иной раз отвечала она отчетливо: «Номер занят» или «Занято». Этому предшествовало гудение, дававшее опытному абоненту понять и без заявления телефонной барышни, что тот, кому ты звонишь, разговаривает с кем-то. Изредка барышня сообщала: «Трубка снята» или «Повреждение на линии». Случалось, что по таинственным причинам вдруг перепутывались кнопки. Это ничему не мешало. Когда нужно было «А», нажимал ты кнопку «Б» — и наоборот. Уточняю: когда барышня звонила по нужному тебе номеру, то раздавалось не сипение, а такой звук, словно сыпали на пол зерно. Рассказываю так подробно, потому что это уже ушло в прошлое, далеко-далеко, так же далеко, как детство. Телефоны с кнопками были чисто ленинградской особенностью. В Москве ты просто снимал трубку.

Итак, на канале Грибоедова поставили нам телефон 4-80-11 — и чего я только не наслушался по этому номеру. Каждый день разговаривал я с Наташей. Разговаривал подолгу.

29 декабря

Попрощавшись, она кричала испуганно: «Папа! Сказки еще что-нибудь. Пожалуйста». Если я не мог в тот день быть у нее, мы решали вместе по телефону задачи.

У Наташи была одна фраза, разрывающая мне сердце. Когда я сообщал, что занят, она умоляла: «Папа, приди! Папа, пожалуйста, приди! » И это звучало так патетично и так убедительно.

Конец 36-го, 37, 38 и 39-й годы. Я боялся телефонных звонков — несчастье за несчастьем. Операция Катерины Ивановны кончилась благополучно — тут телефон не передавал дурных вестей. Но чем дальше, тем хуже пошли дела. Вдруг заболела Наташа: у нее нашли в сердце шум. Катерина Ивановна поправилась, но началась сразу же одна история, в которой обвинить я ее не могу. Она ни разу не изменила мне за всю нашу жизнь вместе. Это я знаю. Но тут началась одна история, которая жжет меня до сих пор. И больше всего — искренняя радость Олейникова, Германа, да и всех моих друзей, которые ждали, что это вот-вот произойдет. Такого одиночества не испытал я ни разу в жизни. Дальше — больше. Телефон сообщал то, что не зажило до сих пор. Мои друзья исчезли. Многие из них. В начале 38 года умер Коля. Сын Феди Халайджиева. В мае папа вызвал меня в «Европейскую» гостиницу: «Заболел Саша[3], и дела его швах». Дело было на рассвете. Папа сидел у окна с сильнейшим сердцебиением, первым в его жизни. А у Саши, моего дяди, видимо, произошел инфаркт. Тогда его не умели так быстро диагностировать. Через две недели он умер в больнице. А папа на другой день ослеп. В трамвае. По пути на работу. Один глаз давно у него отказал — глаукома. А в другом закупорился сосуд, питающий сетчатку. И я перевез родителей на дачу. До этого суждено мне было увидеть их горестное шествие. Мама в белой панамке вела отца с какой-то очередной комиссии. По Литейной. Шли они торжественно. Как бы на похоронах. Сознавая это. Мы с Наташей догнали их.

30 декабря

И, услышав Наташин голос, папа заплакал. Человек мужественный, всю жизнь ходивший прямо, откинув на-

зад голову, он держался твердо. Мог вспылить. Часто это случалось с ним. Но после горя своего смягчился. Только плакал так же легко, как прежде выходил из себя. Даже чаще. Потому что плакал он и растрогавшись, а не только обидевшись или огорчившись. Так заплакал он, услышав Наташин голос. Так плакал на «Снежной королеве», куда я привез его и маму. И к телефонным разговорам ежедневным прибавилась беседа с папой. Я бывал у них часто, каждый день почти, но он еще и звонил мне. Перестав работать, он жил нашими интересами. На «Снежную королеву», на премьеру, он заставил себя привезти, я боялся, что услышит он какие-нибудь непочтительные разговоры обо мне и обидится. Однажды ночью, уже во втором часу, позвонил он и попросил взглянуть на наружный градусник. Узнать, нет ли мороза. Зачем? Если сильно подморозит, у Вали[4], на его строительном объекте, не будет схвачен бетон. До сих пор стоит у меня в ушах особый звук, когда вспоминаю те дни. Если отец бывал недоволен мной, голос его начинал прерываться, а телефонная трубка дрожала в руке с такой силой, что передавалось это по проводам. У него еще до болезни появилась дрожь в правой руке, отчего вынужден он был прекратить операции. При малейшем волнении дрожь эта усиливалась — и вот ее-то я и слышал по телефону. В последние месяцы разговаривал с ним по телефону. Разговаривал я о нем. Я устроил его через Литфонд в Военно-медицинскую академию. Его положили в палату на двоих, потом в отдельную. Врачи были к нему внимательны трогательно как к товарищу. И вот по телефону позвонили мне, что папе плохо. Я, приехав, уже не застал его в живых. Несправедливо забывать телефонные разговоры благополучные. Прошла «Снежная королева» и «Тень». «Брат и сестра» успех имели весьма средний. «Красная Шапочка» — ничего себе. Провалились с треском кинокартины.

31 декабря

Строгие критики братья Тур, степенно и вместе с тем игриво, задали вопрос в «Известиях» — «непонятно, зачем понадобилась автору подобная жеребятина»[5]. Рецензию эту прочли мне тоже по телефону 4-80-11. Впечатления она не произвела. Это был как раз конец 36-го или начало 37 года, болели Катерина Ивановна, Наташа, а все остальное казалось как бы не существующим. Иной раз телефон радовал, иной раз бил. Бил основательнее, чем радовал. И вот началась война. Я записался в ополчение. По телефону вызвали меня в союз с кружкой и ложкой. Но там уже лежало предписание — прикрепить меня к Радиоцентру. Начались телефонные вызовы на радио. Потом о Наташиной эвакуации. И она уехала 5 июля. Примерно, через день или два после этого уехала мама с Валиной семьей. В Свердловск. Я пошел, усадил ее в машину. На вокзал ехать отказался — пришлось бы просить, чтобы пустили меня на перрон, а я этого терпеть не мог. Начальство в те дни было строго и подозрительно. Машина, «эмка», присланная Валей, стояла на улице Петра Лаврова. Я усадил маму. Держалась она просто, сдержанно. Только когда захлопнул я дверцу, то увидел, как строго и сосредоточенно глядит она прямо перед собой. Так и запечатлелся ее строгий профиль. Примерно в сентябре получил я от нее необыкновенно ласковое письмо. А в октябре позвонила Валина свояченица, сообщила, что мама заболела и ей ампутировали ногу — закупорка вен. А затем еще один звонок: мама умерла от общего заражения крови. В детстве я все думал, что покончу с собой, если мама умрет. А в конце октября в блокаде все чувства были перевернуты и опрокинуты, и я как-то до сих пор не верю в ее смерть. Телефон не заржавел и после этой новости. Почти все аппараты в городе выключили, но наш оставался по требованию радио, где я работал. Так он и служил нам до эвакуации[6].

1956

2 января

В Кирове зашел к нам кто-то из ленинградцев. Заговорили об одном писателе, ныне умершем, он жил по той же лестнице, что мы. В пятом этаже. Приезжий сообщил, что у него только и сохранился телефон во всей надстройке. И сообщил: № 4-80-11. Когда мы услышали, что переехал наш телефон в другую квартиру из нашей, разбитой снарядом, то почему-то сердце сжалось, будто обрывалась еще одна связь с Ленинградом.

Когда пришел я в 44 году в нашу квартиру, пролом в стене был уже заделан. Разворовали все: вплоть до кухонной плиты. Только отрывной календарь висел в моей комнате, на меня глядел пожелтевший листик 10 декабря 41 года. До которого обрывал. Я взял календарь себе на память. От телефона остался только прямоугольный след на стене.

Квартиру отремонтировали, и мы в июле 45-го вернулись к себе. И поставили нам телефон наконец, 5-44-93. И он стал передавать новости, то дурные, то хорошие.

Мучило меня здоровье Наташи. Об этом ничего радостного телефон не сообщил. Неожиданный успех «Золушки» и тут же «Тени» (в Берлине) был затуманен моей шелковской натурой и дурным здоровьем дочери. Потом бежали мы от ленинградских сложностей в Комарово, где стоял у нас тоже телефон № 1. И я то по одному, то по другому телефону слушал новости, то ужасные, то хорошие.

Вышла замуж Наташа. Уехала в Москву. Затем я (как писал уже об этом) из Москвы позвонил Катерине Ивановне о рождении Андрюши. В начале пятидесятых годов телефон таинственно помалкивал. Писем тоже почти не было. В пятьдесят четвертом позвонил Валя, что умер Тоня. На другой день Анечка сообщила о смерти Суетина. Потом съезд. Я звонил Кате о брани Полевого. Потом переехали мы сюда, на Малую Посадскую, и телефон переменился.

3 января

Я лежал больной, а Катя бегала звонить врачам. Из булочной. Наконец, появился механик, бросил общий взгляд на расположение комнат, чтобы понять, сколько понадобится провода. Еще два-три дня — и вызвали Катю на станцию заключать договор. Это усложнилось тем, что я лежу. Сначала написали, что нужна доверенность (на открытке), а потом, что не нужно — это уж при встрече Катюши с очень сердитой работницей на самой станции. И этот этап был пройден благополучно. И дня через три появился рабочий, монтер, с переносным аппаратом. И был перехвачен Карнауховой, которая кричала, что она переезжает на курорт сегодня, поэтому телефон следует установить у нее. Оставив один аппарат у нас, монтер отправился к Карнауховой. Пришел часа через два и сообщил, что обстоятельства изменились. Его вызывают ставить телефон в райисполком. А я еще лежал в те дни, и пришлось со всякими трудностями передвигать мой диван от стены, чтобы освободить монтеру место. Узнав, что он уходит и, следовательно, передвигали меня напрасно, побежала Катя звонить начальнику телефонной станции, и он разрешил монтеру докончить у нас все работы сегодня. И этот этап закончился благополучно. И узнали мы, что телефон на днях включат. И в самом деле. Дней через пять появился у нас мальчик в форме ремесленника и довел дело до конца. И мы стали

звонить, и нам стали звонить. Телефон у нас теперь (четвертый уже за тридцать с лишним лет и третий с тех пор, как живем мы с Катей вместе). В 2-91-80. Что он сулит? Бог один знает. А монтер Иван Иванович, с которого начал я рассказ, приходил нам чинить телефон предыдущий. Еще до того, как исчезли телефонные барышни. И после того, как стали мы АТС.

5 февраля

Дальше в телефонной нашей книжке записана ***Ольга Исааковна***. Кто это? Хоть убей, не припомню. Пишу для того, чтобы в ее лице помянуть множество забытых людей, прошедших через твою жизнь, как нитка через ткань, а с течением времени — истершуюся и выдернутую без последствий. Кто это? Редактор? Или молодой автор? Или кто-то приехавший из Москвы для того, чтобы собирать материалы для какого-нибудь сборника? А может быть, маникюрша? Запись старая, без обозначения АТС. И таких множество. Иной раз фамилия, иной раз имя, отчество. Здесь же, на «О», записан некий Дмитрий Михайлович. А почему на «О»? Потому что в данном случае, рассеивая туман, обозначена в скобках профессия этого человека. Обойщик. А кто Мар. Ал. и Ант. Кузьм., записанные без алфавита на первой странице, торопливо, вне алфавита, страшным моим почерком? Какой записан у меня Кирсанов? С поэтом Кирсановым я не знаком и ни разу не встречался. Но подобные незнакомцы с именами — это полбеды. С годами накопилось порядочное количество знакомых без имен. Ты встречаешь человека, он тебе улыбается, заговаривает, и ты с ужасом понимаешь, что хоть убей, но не вспомнить тебе его имени и фамилии. И вообще, кто он такой? С годами выработалось умение доводить разговор до конца благополучно, переходя на предметы общечеловеческие. А все же страшновато: вот-вот попадешься. Виню в этой последней беде только самого себя. Собственное

благожелательно равнодушное отношение к людям. Иной раз вдруг выяснялось, что неизвестного знакомого я отлично знаю по его работам. Что это режиссер такой-то. Или актер из Москвы, с которым познакомился во время войны. Но чаще эти неизвестные знакомые таковыми и остаются.

6 февраля

«Образцовский театр» — телефоны записаны в те годы, когда у них существовало отделение в Ленинграде. <...> Это наш лучший кукольный и один из лучших театров вообще. Там собрались люди, до того любящие искусство, что кажутся сами себе недостойными подойти к нему прямо. (Сперанский и другие.) Идут тропочкой и превращают ее в прямую, большую трассу. Есть люди, обладающие великолепным голосом, талантливые, но уродливые или изуродованные на войне, и они нашли себе место в театре Образцова. Их ты видишь, когда выходят они раскланиваться, держа тех кукол, что водили. И ты вдруг понимаешь, что кукольный театр с помощью ширм и кукол помогает скрыть ненужное, а дать лучшее. Самое сильное из того, чем они владеют. И не мешает этому ни администратор с выпуклыми глазами, ни пьесы хорошие и средние. Ничто.

4 марта

Из Майкопа, из города, обыватели которого казаков обзывали куркулями, черкесов — азиатами, русских — кацапами, а украинцев — хохлами, попал я вдруг после большого промежутка времени — года два я там не был — в настоящую Россию, в город Жиздру. До этого в пятилетнем возрасте побывал я в Белёве. А летом 1903-го было мне уже без трех месяцев семь — огромная разница. Тут впервые я сознательно понял, что принадлежу двум мирам, сильно отличающимся друг от друга. В Майкопе мальчишки дразнили меня за то, что

я на рязанский лад, твердо, произношу букву «г», вместо южного «h». Черный хлеб покупали для мамы у солдат. В булочной у турка Окумышева продавался только пшеничный. Пшеничный продавался и на пышном майкопском базаре, высокий, с гофрированными белыми боками и коричневой, подпекшейся выпуклой головой. Но не только в этих внешних признаках была разница. Начну по порядку. В 1903 году бабушке захотелось повидать, может быть, в последний раз, всех своих детей. Решили собраться у старшего маминого брата, у дяди Гаврюши[1], в Жиздре. Но по дороге туда заехали мы в Рязань. В 1901-м были мы в Белёве у маминого брата[2]. Рязань я не видел с четырехлетнего возраста. Когда-то именно этот город считал я своим родным, но за два года пережил я целую жизнь. И я удивился извозчикам в низких шляпах с полями. И при том еще — одноконным. Улицам, вымощенным булыжником. И едва узнал своего двоюродного брата, фамилия которого стоит в моей книжке на очереди: ***Проходцов И. И.*** Ваня Проходцов. Я сразу побежал с ним и с Лидой — младшей его сестренкой — в сад и очень смутился, когда вышел туда же длинный, хмурый, черноволосый и чернобородый Иван Иванович Проходцов-старший, муж тети Сани[1]. Я почему-то очень его боялся. Через день-два мы ехали все в Жиздру.

5 марта

В Москве была у нас пересадка. Вообще в те времена, видимо, до прямых вагонов еще не додумались — все поездки в моих воспоминаниях связаны с долгими ожиданиями в высоких залах, с сияющими буфетными стойками, со столами в белых скатертях, с лакеями в черном, со швейцаром, провозглашающим у двери, какой поезд куда отходит, какой прибывает, какому поезду дан первый, второй или третий звонок. Мы ехали через всю Москву с вокзала на вокзал. Так летом 1903 года увидел я впервые

город, с которым столько связано у меня в жизни. Поразило меня то, что на Кремлевском дворце так много труб. Под Спасскими воротами снял извозчик шапку и перекрестился, и я за ним, испытывая особое удовольствие от того, что и я, как все. В Майкопе я был не как все. А в этот приезд — и в Рязани. А тут мне объяснил, не помню кто, что всем полагается тут снимать шапку и креститься. Всем. И я, как все. И крестился я, следом за извозчиком, у церквей. В Жиздре у дяди Гаврюши — он служил по акцизу — была большая квартира и огромный сад, и конюшни, в которых стояли три лошади: Зорька, рыжая, будничная, и два вороных — Васька и Фока. Ваську выстаивали в конюшне, потому что предыдущий кучер заморил его. «Он был, как котенок», — рассказывала бабушка. Зато теперь, когда его выпускали во двор промяться, он совсем не походил на котенка. Он летал по двору, лягался, и нам запрещалось выходить, смотрели из окна кухни. Вскоре, впрочем, его стали запрягать в коляску. Праздник. Мы едем встречать чудотворную икону. Запах лаковых крыльев коляски, нагретых солнцем. Мы стоим и видим медленно надвигающуюся толпу, хоругви. Икону несут на полотенцах. К ней прикладываются.

6 марта

Или мне это представляется? Нет, кажется, правда — на ходу женщины в белых платках бросаются на колени перед иконой на миг, чтоб не задержать плавное движение толпы — и отбегают в сторону. Все на площади перед собором стоят без шапок — и я, как все. Теперь мне ясно видно, как труден первый переходный возраст. Душевно я был развитее обычного, умственно — изнемогал под тяжестью своего багажа. А воли и вовсе не было. Я понимал, что веду себя не так, как положено, но своими силами выбрать линию поведения не мог. Я кричал, когда сердился, и плакал, когда огорчался, как маленький, хоть и понимал уже, что это мне не по воз-

расту. И множество вещей, оставшихся на всю жизнь, впечатавшихся в самые глубины души, я принимал и не предполагал, что в них можно сомневаться. Так было с церковью, с иконами, с молитвами. Когда бабушка узнала, что я еще не причащался никогда, она очень рассердилась на маму и повела меня в церковь. Вот самое новое и поразительное из того, что вошло в мою жизнь тут, в Жиздре. Я дрожал в церкви, потрясенный и пением, и Царскими Вратами, захваченный волнением бабушки. Так как до семи лет я еще считался младенцем, то причащали меня без исповеди. И когда я принял причастие, то почувствовал то, чего никогда не переживал с тех пор. Я сказал бабушке, что причастие прошло по всем моим жилочкам, до самых ног. Бабушка сказала, что так и полагается. И была со мной такою, как всегда. Но много спустя я узнал, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в церкви, — святой дух сошел на меня, следовательно. Наверное, я буду святым. Об этом рассказала мне мама через несколько лет. Впрочем, бабушка через два-три дня сердилась на меня, как и прежде.

7 марта

Богатство новых чувств, восторги без примеси страха (мне объяснили, что до семи лет я безгрешен), ясность небесных, но полная запутанность земных дел — все это перегружало меня. Думать я не умел, и в глубине души считал, что, конечно, взрослые правы, когда отчитывают меня, и одновременно с этим думал, что если бы они поняли, какой я хороший мальчик, то всё было бы иначе. Словом, в мыслях царствовала полная неясность. С одной стороны — полная ясность чувств, а с другой — двойственность мыслей. Когда я, уже студентом, узнал, что с Проходцовыми пробыли мы в Жиздре всего две недели, то не хотел этому верить. В воспоминаниях моих — это целая огромная полоса жизни. Потом они уехали — и началась новая полоса, оказывается, тоже

двухнедельная, пока мы гостили в Жиздре без них. Ваня оказался парнишкой куда более цельным, чем я.

Для него все было тут привычным и ясным: и то, что хлеб, это — черный, а белый называется ситным. Что похожие формой на куличи необыкновенно вкусные маленькие, продающиеся с лотка произведения местного поварского искусства называются грешники. И не по каким-нибудь таинственным церковным причинам, а потому, что они сделаны из гречневой муки. Его не удивляла, как меня, огромная русская печь, в которой и пекли и ситный, и хлеб для всех гостей. Ему разрешали есть лепешки из ржаной муки со сметаной, а мне мама позволила только попробовать, говоря, что они тяжелы для желудка. Когда кучер запрягал Зорьку, мне разрешались только подсобные работы: поднести хомут, например. А Ване кучер позволял и затянуть ремешки, и вставить в зубы смирной лошади удила. Однажды в конюшне у нас завязался спор: «Я офицер!» — сказал Ваня. «А я полковник», — возразил я. «Да, выходит твой верх, — сказал кучер. — Полковник старше офицера». — «А я генерал!» — воскликнул Ваня. «Да, тогда ты старше, — сказал кучер. — Твой верх». И какие чины я ни вспоминал, кучер, качая головой, отводил их: «Нет, генерал старше». Так нас и стали звать: «генерал» и «полковник». И я огорчался. Уже вернувшись в Майкоп, я придумал, что надо бы мне ответить: «А я адмирал», — но было уже поздно. Однажды я увидел, что Ваня сидит в беседке, обливаясь слезами, и держит в руках раскрытую тоненькую книжку. Оказывается, он терпеть не мог читать, а мать усадила его за книжку, чтоб он не забыл грамоту за лето. Мне это было удивительно, так как я обожал чтение. Однажды, когда мать дала мне какую-то интересную книжку, я от радости стал эту книжку целовать. И тетя Саня сказала скорбно: «А Ваню я никак не приучу к книге!» Когда мы вернулись с того праздника, где встречали икону, самый любимый из моих дядей, худой и узколицый Коля, тот самый, у которого мы гостили в Белёве, таинственно

приказал мне остановиться у закрытой двери. Потом он запел что-то торжественное, двери распахнулись. Посреди комнаты стоял таз с водой, горели свечи. А по воде плавали два лебедя. И они, слушаясь палочки, поворачивались к ней носиками и плыли за нею следом. Это был подарок дяди Коли к празднику мне. Взрослые сначала восхищались, а потом обнаружили, что тетя Саня исчезла, заперлась в своей комнате. И мама сказала тете Зине, младшей из сестер, тогда еще гимназистке: «Обиделась». Тетя Саня обиделась, что дядя Коля подарок сделал только мне, а не всем своим племянникам. Но зато замок из песка в саду дядя Коля построил для всех нас. Он украсил его кусочками зеркального стекла, и мне казалось, что ничего прекраснее я не видел. Сад был яблоневый. Срывать яблоки до Спаса запрещалось. Можно было их только подбирать. И до сих пор яблоко, лежащее в траве, вызывает у меня чувство радости, охотничье чувство, чувство находки. Кажется очень красивым. И наполненным до краев.

9 марта

Особенное чувство вызывал и стук упавшего яблока. Обедали и завтракали мы в саду, под деревьями, и вскакивали, включая и маму и тетю Зину, если раздавался мягкий, глухой удар — яблоки были крупные. И мы мчались наперегонки в направлении звука. Шелковы любили дразнить. И я помню, как мама целый день дразнила тетю Зину. Описывала, как яблоко подмигнуло ей из травы, из-под самых ног Зины: «Возьми, мол, меня. Не хочу я к этой». Шелковы любили дразнить, но сами часто обижались, как тетя Саня, когда дядя Коля подарил игрушки одному мне. Шварцы любили свою породу. Говорили: «По-нашему, по-шварцевски». Шелковы же вглядывались друг в друга без пощады и уступок. Говорили, что Лида некрасива. Ваня простоват. Я несдержан и избалован. Говорили в отсутствие упоминаемых и их

родителей, но дети слышат все. Осуждали и старших. Говорили, что дядя Федя[2] несчастен в семейной жизни, все это так, но не к чему бранить свою жену за столом и в ее отсутствие. При всех. (Жена его в Жиздру не приезжала.) Говорили, что характер у дяди Гаврюши тяжелый, гнетет он всех своей молчаливостью. Осуждали не с удовольствием, а с горечью, как самих себя. И не верили себе, хоть и были одарены. Не верили на российский лад, чтобы не действовать. Рязанский любительский кружок держался некогда их силами. Барон Дризен, руководивший кружком, поражался тем, как сыграла мама, которой в те годы было 18 лет, Галчиху в «Без вины виноватые». И не хотел верить, что мама не видела Садовскую[3] в этой роли.

Играли отлично все, кроме молчаливого дяди Гаврюши. Он не любил сцену. А дядя Коля играл плохо, но зато великолепно лепил. И вообще был мастер на все руки, всё мастерил какие-то машины или сооружал целые постановки. Одну из них — на даче в Рюминой роще, под названием «Зима» — запомнил я на всю жизнь. И снег шел с неба, и мальчик съезжал на салазках с горки — и всё это в закоулке, где лестница вела в верхние комнатки, а главное — посреди лета. Но ни один из них не верил себе. И похвалам.

10 марта

Когда маму хвалили, то лицо ее принимало выражение отчужденное, недоверчивое. И у всех Шелковых тоже лицо словно темнело в подобных случаях. Шварцы принимали славу просто, как будто вещь вполне естественную, и любили ее. Шелковы же упирались. Нередко бывали они веселы и смеялись, но потом спохватывались. И бабушка обычно говорила: «Что-то мы развеселились, как бы нам не пришлось завтра плакать». Все это я понял значительно позже, разбираясь в превратностях собственного нрава. Но запомнил. Те дни словно впечата-

лись мне в самую глубину души. Всё было и по-новому, а вместе с тем близко. Словно выступало из тьмы, а не появлялось заново. И стук копыт по деревянному настилу конюшни. И прыгающая на лошадиных спинах сбруя, когда кучер позволял сесть возле него на козлах. И обеды в саду. И вечное подшучивание старших друг над другом. Дядя Гаврюша был холост. Сестры все уговаривали его жениться. Писали имена невест на бумажках, потом скатывали, как лотерейные билетики и клали за иконы в бабушкиной комнате. А потом вытаскивали, как жребий. И все смеялись. И бабушка улыбалась, а потом ушла из комнаты, и Зина прибежала и сказала: «Мама плачет». В церковь ходили, но как бы тоже упираясь. А иной раз и посмеиваясь. В то лето бабушка всё собиралась на открытие мощей Серафима Саровского. И ее поддразнивали, хоть и любовно и почтительно. Я относил это за счет непобедимой шелковской привычки дразнить, от которой сам так страдал. А теперь понимаю, что они и верили, [и] не верили. В отцовском атеизме и в нашем майкопском укладе жизни было больше решительности и цельности. И даже как бы монашеской скромности. В Жиздру приехала та мамина сестра, имя которой я твердо не помню. Кажется, тетя Катя. Она не окончила гимназии, рано вышла замуж, в Рязани не жила и с самыми моими ранними воспоминаниями не связана. Муж ее, высокий и стройный брюнет, был управляющим в каком-то имении. И я увидел чудо.

11 марта

Он часто бывал выпивши — до сих пор в нашем доме я подобного не видывал. Как теперь понимаю, он приехал отдохнуть, был в хорошем настроении, предела не переходил, но все-таки я был изумлен. У нас в доме и этого не случалось. Он говорил громче обыкновенного, хохотал, а если бабушка выговаривала ему за шум, то восклицал: «Теща, пожалуйте ручку!» И целовал,

шаркнув ногой и низко поклонившись, руку бабушке, чем тоже повергал меня в изумление. А взрослые посмеивались над ним добродушно, как над расшалившимся ребенком. Только кучер осуждал его. Однажды он запряг коней и уехал покататься один, без кучера. И тот все ворчал потом и даже принес жалобу самому дяде Гаврюше на то, что гость загнал коней. Нет на свете ни кучера, ни коней, ни конюшни, [ни] самой Жиздры — немцы сожгли ее дотла, и теперь это совсем не тот город. И я не могу сказать, как звали кучера, какие волосы у него были. Он двигается лишенным цвета и формы в самой глубине моей памяти, но живой. Самый характер его я вижу. И чувствую свое отношение к нему. Скорее, его ко мне, отчего и запомнил я его так глухо. Он не уважает меня за то, что я гость. И живу на даровых хлебах и, тем самым, как бы отнимаю у него некие возможности. Посреди двора охапка сена. Кучер клянется дяде Гаврюше, что сено, которое предлагает он купить, хоть и дороже, но настолько лучше, что конь разгребет любое другое, а доберется до этого. Для того и навалена охапка сена. Начинается опыт. Дядя Гаврюша угрюмо глядит, стоя в дверях, а мы из окон. Приводят под уздцы Фоку. Конь нюхает сено и вдруг, задрав башку, строит гримасу, которую никак я не ждал от лошади: каким-то особым образом поднимает верхнюю губу, обнажая зубы. Это повторяется несколько раз. Дядя Гаврюша молчит угрюмо. Кучер, как я замечаю, несколько смущается. Но вот, наконец, Фока и в самом деле разбрасывает дешевое сено и добирается до дорогого. «Подсыпал чего-то в сено!» — ворчит бабушка сердито. И за столом говорят, что кучер — хитрец.

12 марта

Мы целыми днями вместе — я и Ваня — и все время, то ссоримся, то живем общими интересами, все больше связанными с конями и конюшней. Однажды нам раз-

решили покататься верхом на Зорьке, по очереди, мне, Лиде и Ване. По улице. Добрая Зорька терпела, терпела, потом сбросила Лиду. Мы, стоя у ворот, увидели, как на углу улицы Зорька вдруг поднялась на дыбы. И Лида вдруг мягко съехала на землю. А Зорька, пробежав мимо, скрылась в конюшне. А Лида не спеша, растерянно зашагала к нам. Сколько было разговоров, расспросов, ахов и охов.

Ходили мы на речку. И купальня была тут построена не по-майкопски. Домик без крыши. Вместо пола вода в середине. Вдоль стен — узенькие настилы и скамейки. Спустишься по лестнице — мне по горло, дяде Гаврюше вода по грудь. Плавали на лодке. Дядя Гаврюша подплыл к нам, вынырнув из купальни. Стоял твердо на песчаном дне. Разговаривал. Однажды поехали мы за грибами. В бор. Особое чувство — высоких сосен — охватило меня. И я понял, что это не простой лес, а именно бор. И густой и вместе — чистый и гулкий. И я собрал много грибов, и меня хвалили. И я никогда их прежде не ел, потому что запах грибов казался мне в раннем детстве подозрительно незнакомым. А тут, вечером, дома попробовал, и очень они мне понравились. Потом ездили мы в какое-то загородное хозяйство. И я удивился, что капуста на грядках стоит не круглыми кочанами, а распустив широко листья, за которыми кочан едва чувствовался.

Но вот две недели прошли, и мой спутник и соперник (кого пустят на козлы, кому кучер даст править, кто скорее найдет упавшее яблоко и так далее, и так далее) собрался уезжать.

Прежде всего привели меня в восхищение раки в буфете на вокзале. Их я тоже научился есть только в Жиздре. Прежде запах их казался мне подозрительно незнакомым. И больше всего любил я крупные клешни раков, и в буфете подобраны были в этом отношении раки-богатыри. Но вот — первый звонок.

13 марта

Семейство Проходцовых в окне вагона. Ваня улыбается добродушно и весело, и все мое существо охватывает огорчение и печаль. И вот — третий звонок. Бабушка плачет. Для нее каждая разлука может быть разлука навеки. Я должен был бы на этом перестать рассказывать о Жиздре — ведь рассказ-то должен идти о Проходцове. Но мне жалко. А кроме того, некоторое отношение дальнейший рассказ о Жиздре имеет и к Ване. Я уже писал как-то об этом: его отъезд вдруг вызвал у меня, к моему собственному удивлению, ужасное огорчение. Теперь у меня соперников не было. И на козлы меня пускали сколько угодно, и править давали. И когда бабушка ездила по лавкам, я один ездил с ней. И ужасно горевал. В каком-то отношении, в отношении чувств я был переразвит и невольно тяготился, — что мне было делать с этим богатством. При Ване жизнь моя шла здоровее. Вот я вижу — по пыльной дороге разбросаны еловые веточки. Значит, похороны пройдут мимо нашего дома. Одно дело — выбегать смотреть, как несут покойника, с Ваней и Лидой, а другое дело — одному. Гроб открыт. На лбу — венчик. Страшно. Не знаю почему, может быть, от хины, которую я пил в Майкопе в таком количестве, но на меня в тишине нападало особенное состояние. В ушах шумело. И в шуме этом явственно слышал я голоса. Иногда неопределенные, иногда отчетливо кричавшие: «Ж-е-е-ня!» Когда я спросил у своей тети Зины, совсем еще девочки в те дни, с которой мог я разговаривать проще и легче, чем с другими взрослыми: слышит ли она что-нибудь подобное, то получил ответ сердитый. Приказ, чтобы не молол я чепухи. Только потом, много позже, понял я, что с шелковским суеверием Зина огорчилась, узнав, что мне чудится, будто меня зовет кто-то. Дурная примета. При всей своей насмешливости Шелковы верили в приметы, в сны. По утрам слышал, бывало: «Вижу я, будто бы...»

Это значит — рассказывают сон и шутя обсуждают: к чему он. Один мамин сон всегда сбывался. Она видела, что попала в сад.

14 марта

К Рюминым. И рвет с дерева вишни. И вдруг появлялась хозяйка и укоризненно качала головой. И все мы знали — этот сон к слезам. А сколько обсуждалось в Жиздре, что икона Божьей Матери, которой в свое время благословили маму перед женитьбой, за несколько дней до дедушкиной смерти упала у нас, в Майкопе. Мама повесила ее, когда жили мы в доме Родичева, в переднем углу, и вдруг икона сорвалась и упала. Плохая примета. И я верил в это. И верила и мама, и мамины братья. Дедушка, бывший крепостной, а потом цирюльник, известный в Рязани, дал детям высшее образование. Но от деревни и от старой Руси, от безотчетного ожидания удара неведомо откуда, от веры в приметы — сплошь всё плохие, — от веры в предчувствия, да и вообще от веры уйти не ушли. Посмеивались, а верили. А за ними и я. Только уж без признака насмешки. Вера установилась у меня, как я уже говорил, жизнерадостная. Страх темноты — особый, скорее приятный страх, что нападал на меня, когда слушал я страшные истории с привидениями, — ничего общего не имел с церковью. Бог казался мне добрым. Тем более что от страшных снов следовало перекрестить подушку. И чудовища в страшных рассказах исчезали, если их перекрестишь. Вот новое, что увозил я из Жиздры. И прошло двадцать пять лет, словно двадцать пять веков. Мама больше ни разу не ездила к родным своим. И связь с ними прервалась, словно бы сама собой, как свойственно, иной раз, родственникам. И вдруг в 28 году зашел ко мне в Госиздат лысеющий, черный, скуластый человек с бородкой — Ваня Проходцов! Он, как выяснилось, отлично окончил гимназию, потом военно-медицинскую с отличием, вступил в партию и теперь заведует областным

отделом здравоохранения во Пскове. Был он женат. Имел двух детей. И сохранил цельность прежних дней.

17 марта

...Это был врач-администратор, вряд ли что понимавший теперь в своей науке. Как и все работники подобного типа, плыл он по морю беспокойному. Жизнь снова развела нас. И когда я встретил его в трамвае, то, разговаривая, оглядывался он недоверчиво, как зверь травленый. Его перебросили на профсоюзную, кажется, работу. Потом встретил я его в Кирове, куда его эвакуировали, кажется, уж как какого-то руководящего работника Красного Креста. Там наше знакомство окончательно расклеилось. Почему? Кто знает. Как-то само собой. Теперь он в Ленинграде, но мы не встречаемся. Как и с родным братом, впрочем. С Валей я хоть по телефону говорю, а этого единственного родственника с материнской стороны совсем потерял из виду. Стал писать о нем, и пахнуло на меня вначале дыханием раннего моего детства. И я почти забыл Проходцова И. И. А стал писать о детстве. И все не мог остановиться.

21 марта

«Подписные издания», которые следуют за «Печерским», помещаются в магазине очень памятном, на улице Бродского. Там, в 45—47 годах царствовал так называемый лимитный магазин, таинственный, окруженный слухами и подозрениями. В нем получали пайки ученые и писатели. Одни — на триста рублей в месяц, другие — на пятьсот. Выдавалась длинненькая книжечка, в которой напечатаны были купоны на разные суммы — рубль, три рубля, пять рублей. И копейки. Продукты были нормированные и ненормированные. Последних мало: черная икра, например. В нормированные входили мясо, масло, сахар. На них имелись свои купоны. Сюда же прикреплял ты свою литерную карточку. Лимитную книжечку

на 300 рублей получил я в Москве. Много волнений пережили мы, пока не перевели мой лимит сюда, когда в 45 году вернулись мы в Ленинград. Несколько раз ходил я в какое-то учреждение, занимающее барскую квартиру на Адмиралтейской набережной. И с этим связано чувство Ленинграда 45 года. Еще словно больного. Так плешивеют после брюшного тифа. Голова зарастает, но смотреть жалко. Но лето, Нева, белые ночи — не пострадали. Наконец, мне выдали не то справку, не то самую книжечку. И я пошел с Наташей в магазин. Прикрепился. И по неопытности получил в счет мяса копченые свиные языки, такие соленые, что едва можно есть. Сейчас все забылось, но о сорок пятом годе рассказывать, не упоминая о карточках, пайках, трофейной посуде и других вещах, появлявшихся вдруг в магазинах — это значит забывать об очень существенной черте того времени. А трофейные машины! Разнообразие марок удивительное. От ДРВ, таких низеньких, что казалось, будто пассажиры сидят в ванне, до «опель-адмирала» или «хорьха» или «мерседеса». Появились американские машины, «бьюик-айт» неслыханной красоты находился, по слухам, во владении какого-то кинооператора. Но вернемся к лимитам. Сколько волнений они вызывали!

22 марта

В начале каждого месяца приходили списки, и никто не знал, не был до конца уверен, что таковой не сократят или не изменят где-то там, в таинственных торговых и вместе с тем идеологических недрах. Магазин на улице Бродского напоминал клуб. Там встречались артисты, ученые, писатели, художники и жены этих лиц. Разговоры в очередях — ибо и там в горячие дни вырастали хвосты — велся на самые разнообразные темы. Иногда вспыхивали слухи. Чаще всего приносила их азартная и мнительная Ренэ Никитина. Она знала все от последних литературных новостей до литерных и

лимитных. Этим свойством она славилась и в Кирове. Тесть Письменского, о котором я уже рассказывал, деликатнейший и тишайший Михаил Владимирович, придя из закрытого ОРСа писателей и научных работников, рассказывал удивительные новости. Когда изумленный Письменский спросил однажды: «Откуда вы это узнали?» — ответил: «Рассказала эта, ну как ее… которая все знает… Рено… с кисточками… с язвой». Так мы ее с тех пор и звали Рено. «Кисточки» относились к ее шляпке, а «язва» — к желудку. В лимитном магазине знала она заранее, что привезут, когда, какого качества. Слухи, волновавшие всех, были, к примеру, таковы: «Магазин переводят. На новое место. Очень далеко. Надо хлопотать». И очередь гудела, и самые видные ее представители принимались хлопотать. И магазин оставался на старом месте. Войдешь, налево — бакалейный отдел, направо — масло, кондитерский, винный. В глубине, в следующей комнате — отдел мясной и рыбный. Катерина Ивановна все прихварывала, ходили в магазин больше я и Наташа. Вообще отличался тут состав покупателей большим количеством мужчин — заходили с работы. Или одинокие. Наметанным глазом тогда сразу угадаешь, бывало, где что выдают. По оживлению в одних отделах и пустоте в других. И вдруг исчез магазин.

23 марта

Исчез, как будто его и не было, вместе со всеми пайками, распределителями, литерами и прочими карточками, исчез с целой полосой послевоенной жизни, будто его и не было. И мы легко, даже как бы радостно выбросили из памяти длинненькие книжечки с денежными продуктовыми купонами, будто их и не было. Уже в третий раз появлялись и занимали особое место, значительное и угрожающее, карточки в нашем существовании. Первый раз в 19—20 годы. Второй — в начале тридцатых. И тогда писателям давали книжечки в особые распределители, то

давали, то отнимали, словно дразня или пугая. В зависимости от репутации, что установилась у тебя на данное время там где-то, в идеологически-распределительных недрах. И наконец, в третий раз появились. Военные и послевоенные карточки от 41 до 47 года. С их исчезновением магазин существовал некоторое время, но уже в качестве обычного гастронома. Но вот магазин подписных изданий с Владимирского проспекта перебрался на улицу Бродского. Там, где был отдел животного масла, кондитерский, винный и табачный, стоят теперь строгие ящики с картотеками подписчиков, разбитые по алфавитам. Подписчики на «А», «Б», «В» расположены на месте животного масла, а моя буква — там, где был конец кондитерского. На месте бакалейного отдела горой высятся книги. Здесь ты получаешь по бумажке маленькой и квадратной, вроде листика из блокнотика, выданной тебе девицей, дежурящей у картотек, и по кассовому чеку соответствующий том соответствующего собрания сочинений. Там же, где продавали рыбу и мясо, — служебные помещения, отгороженные от магазина портьерами. И всегда в магазине очереди — только на этот раз он никак не похож на клуб. Тут — весь город: и студенты, и инженеры, и военные, и писатели — кого только нет! Есть очереди, которые мне очень нравятся.

24 марта

Если объявлена подписка на какого-нибудь классика, то у Дома книги с вечера выстраивается очередь, бурная и немирная. Борются две группы: одна со списком, устраивающая переклички каждые три часа, и вторая, опоздавшая, легкомысленная отчасти, даже как бы разбойничья. Эта — особенно смелая, к открытию магазина ревет: «Живая очередь!», разрывает списки, бросается вперед. Но и представители первой группы не дураки. Списки у них в нескольких экземплярах. В последнее время пошли разоблачения. Утверждают, что в очередях множество

спекулянтов. Но это не меняет сути. Спекулянты заводятся вокруг предмета, имеющего сбыт. Книги в цене. Как всегда вокруг любого распределения, разгораются вокруг любой подписки страсти и в Союзе писателей. В конце концов установился закон: живая очередь. Или телефонная запись, но в день подписки строго в порядке живой очереди. Здесь, кроме любви к книге, еще и азарт, вызванный писательским самолюбием и мнительностью. Больше всего спрос на классиков — на Чехова, Тургенева. Страшные бои вокруг Джека Лондона, Жюля Верна и Драйзера. «Всемирная история» разошлась в несколько часов. На углу улиц Бродского и Ракова — такие же ночные утешительные очереди в Филармонию. С бою берут абонементы на весь год. Следовательно, литература и искусство необходимы, как хлеб и масло. Впрочем, я забываю об отборе. В очередях сотни, а населения-то в городе сколько-то там миллионов. Это я понял как-то в том же магазине подписных изданий. Там между дверями в тамбуре установлен щит с очередными новинками. Среди них однажды увидел я 84 том юбилейного издания Толстого. И два идиота лет по семнадцати, тыкая в него пальцами, давились от смеха. Из обрывков их фраз я понял, что их смешит, как мог человек добровольно написать так много. По всему виду парнишек ясно мне стало, что забрели они в магазин случайно. Но как ни поворачивай, а магазин новый.

27 марта

Перехожу к букве «Р». ***«Радио».*** Это учреждение сыграло большую роль в моей жизни. Сначала, году в 26—27-м, позвали меня и Олейникова делать «Детский час», два раза в неделю, тогда еще в совсем молодом ленинградском узле. Занимал он всего два этажа во дворе дома на улице Герцена. Теперь в подобном состоянии наш Телевизионный центр — все знают друг друга, от гардеробщика до начальника, все живо интересуют-

ся передачами и обсуждают их. В то время, несколько распущенное и неподбритое, встречались любопытные характеры. Из них первый — директор или начальник Радиоцентра, по фимилии Гурвич. Он был в прошлом левым художником, отказавшимся от красок. Его огромные полотна напоминали мозаику, только материал применял он особый: пшено, овес, рожь, ячмень. Как взбрела эта идея в его крутолобую башку? О чем думал он в своем кабинете, отвечая на твои вопросы с особой расовой задумчивостью, словно не видя тебя? Говорил он по-русски очень плохо. До Радиоцентра был Гурвич директором Красного театра, где прославился фразою: «Я был мозгом, я есть мозг и я буду мозгом этого дела!» К нам относился он доброжелательно и провозгласил даже после одной из передач: «Я всегда отличался способностью выбирать сотрудников». Любопытен был и бухгалтер, высокий, тоненький, узколицый, несколько по-стародевичьи обидчивый и раздражительный. Он однажды сообщил, что умеет петь детские песенки, и попросил занять его в программе. И спел нежным своим голоском песенку о птичках.

28 марта

Начиналась она так: «Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, так жалобно поют!» Мы придумали — с полной беспечностью и легкомыслием тех дней — постоянные маски-персонажи, которые и вели программу: Петрушку, тетю Анюту, еще кого-то там. Каждый номер начинался с интермедии, где все они участвовали. Актеры подобрались не слишком опытные в этом жанре, хоть и пожилые. Репетиции вести мы не умели. Петрушку, в частности, читал все тот же тоненький, высокий бухгалтер и пищал скорее обиженно, чем весело. И не слишком разборчиво. Тем не менее дело так или иначе шло. А когда придумали мы нечто новое: непосредственное обращение к детям в ответ на их письма или жалобы их

родителей, то почта Радиоцентра или как он там еще назывался в 27-м году, увеличилась чуть не втрое. Года полтора или два продолжали мы работать там. Я считаю время это для себя решающим: постоянное упражнение в драматургии очень помогло мне в дальнейшем. И первую пьесу свою «Ундервуд» закончил я тем, что девочка проникает на Радиоцентр в финале и распутывает запутанный крохотный узел, выступив по радио. Подлинные имена сотрудников я сохранил в пьесе. Но в конце концов наши передачи пришли к концу. Жизнь усложнялась, принимала более строгие организационные формы. Гурвич перестал говорить нам, что всегда отличался умением выбирать сотрудников. И в один прекрасный день нас заменил Туберовским[1], который повел дело солидно, пришел с целой группой пионеров, заменивших стариков актеров. И связанных, кажется, с «Ленинскими искрами»[2]. Расстались мы с нашей работой легкомысленно и беспечно, с тем же чувством, с каким пришли туда. Только встречаясь с сотрудниками радио или нашими актерами, вспоминали мы наши передачи весело и не без сожаления. А Радиоцентр все разрастался. Гурвича сняли, старые сотрудники исчезли, как будто их и не было. Учреждение перебралось в множество студий.

29 марта

Мне приходилось там выступать редко, от случая к случаю. Появились там студии и для публики. С одной из подобных связаны у меня воспоминания неприятные. Мне пришлось говорить вступительное слово к утреннику Маршака. Я не подозревал, что окажусь в зале, подобном театральному, и стану лицом к лицу с видимым, а не предполагаемым зрителем. Все это было бы ничего, текст выступления был напечатан заранее. Но стола не было. И я держал листки в руках. И руки у меня задрожали. И я подумал: зрители решат, что я волнуюсь. И от этого руки задрожали у меня до непристойности силь-

но. И чтение превратилось в пытку. Но есть и хорошие воспоминания. Однажды состоялся вечер, посвященный мне. Я, этим делом не избалованный, ничего не испытывал, кроме смущения, когда вошел в студию. Сотрудники повесили плакат на стене с приветствиями. Я не знал, что ко мне относятся тут дружески. Один из редакторов, Бабушкин, маленький, худенький, с лицом необыкновенно привлекательным, вел весь вечер, поглядывая на меня весело и одобрительно, Я чувствовал себя связанным и, повторяю, ничего не понимал, пока продолжался вечер. Я скрыл от родителей, что он состоится. По сложным причинам. Мне почему-то не хотелось, чтобы они его слушали. То ли мне чудилось, что они преувеличат степень моей известности. То ли, что отец будет волноваться. Но они прослышали об этом событии у соседей. И отправились к ним. И остались довольны передачей. Особенно мать. Отец не понял отрывка из «Тени» и со свойственной ему прямотой так и сказал об этом. И я до сих пор с удовольствием вспоминаю о вечере, который в смятении чувств так мало оценил, пока он продолжался.

Пришла война. Я записался в народное ополчение. А когда явился в союз с кружкой и ложкой, там уже лежало распоряжение обкома — меня прикомандировывали к Радиоцентру. Тут я принялся работать с наслаждением.

30 марта

Трудно передать особое чувство тоски, охватившее меня с 22 июня 41 года. Физической тоски. Не страха, страх — чувство ясное, заставляющее действовать, бежать или защищаться. А тоска душила, то не давала спать, то наводила непонятную сонливость. Да, настоящую сонливость. Мы уехали с дачи 22 июня к вечеру. К ночи с финской границы, с запада слышалась пальба зениток, а мы уснули крепко. Не слушая, не глядя. Тоска не касалась меня одного. Мне представлялось, что кончилась

жизнь, наступил конец света. Помню, как удивили меня веселые и возбужденные, словно прибежавшие глазеть на пожар, мои спутники по дачному поезду в день объявления войны. Каждое утро надеялся я, что все внезапно отменится. Но радиорупоры на улице продолжали кричать бодрыми, парадными, военными голосами. Потом исполнялись марши. Какая-то команда, расквартированная в нашем дворе, целыми днями играла в домино, стучала костяшками в ожидании дальнейших событий. А когда замолкали речи и марши, начинал в радиорупорах стучать метроном, проклятый звук. Уже не костяшки, а словно кости стучали о кости. Тоска эта, ощущаемая отчетливо, физически, как боль, очевидно, была родственна неожиданной радости до слез, которую я испытал в 17 году. Я, которого не без основания упрекал отец в безразличии к политике! Это было несомненное предчувствие бедствий, что предстоит пережить всему народу. Безотчетное, но сильное и неотвратимое. И оно вдруг стало исчезать, когда дела как будто бы еще ухудшились. И когда я стал работать на радио. Да, это был не тот знакомый дом на улице Герцена. Беспечного времени двадцатых годов словно и не бывало. Но я вдруг нашел, или мне показалось, что нашел, тон для ежедневных фельетонов (теперь не только речи и марши звучали по радио, а передавались целые журналы). А главное — нашел свое место. Я был нужен.

31 марта

Работал на радио все тот же прелестный Бабушкин, Макогоненко[3], в те дни худой, молодой и не размахивающий руками по-лопахински, как в наши дни. Работала Ольга Берггольц. Знакомы с нею мы были много раньше, но познакомились близко в те дни. И она была молода и не искалечена, как сегодня. И не пила. Война вдруг стала поворачиваться ко мне медленно-медленно другой своей стороной: горести и беды, что несла она, были про-

сты и чисты. Немного спустя, в Кирове, я думал о том, что в дни всенародных бедствий люди несчастны одинаково, а когда проходит общая беда, то по-разному. И чистота опасности, непохожая на страх, который мучил и коверкал наши души до войны, каким-то образом очищала людей. В те дни, чтобы понять линию фронта, надо было глядеть на карту пригородов наших. Голод мучил. Бомбили город с воздуха. Начинались первые артиллерийские обстрелы. И все же, едва нашел я свое место, стала проходить физическая, унылая тоска первых дней войны. А труднее всего было найти свое место именно в Ленинграде. Пребывание на чердаке во время бомбежек стало ощущаться как дело бессмысленное. Все слуховые окошечки там забили, чтобы утеплить его. Стоишь, дышишь чердачным прокопченным воздухом и ждешь отбоя. И приезжавшие с фронта жаловались: в Ленинграде хуже. Там, на фронте, знаешь свое место и что тебе положено делать. А тут, в Ленинграде, совсем другое дело. В бомбоубежище к детям, и женщинам, и старикам идти, как будто бы и стыдно. Дома сидеть нельзя, не велят. Стоять без всякого дела и терпеть — что может быть хуже. И я, попавши в новый Дом радио, нашел свое место. Во время одного из первых обстрелов шел с Берггольц по улице Ракова, от нас на улицу Пролеткульта. И мне было весело впервые с начала войны. Я шел что-то делать. Не верил, что снаряд попадет в меня. На улицах было пусто, через правильные промежутки — предостерегающий свист снарядов. А мы смеялись. Вспоминали XIX век.

1 апреля

Я вспоминал вечные жалобы слепого XIX века на то, как отвратительно «тонуть в тине жалкого мещанского существования». И вот мы на своей шкуре — в который раз — испытывали последствия этого отвращения. Вот куда оно завело. Сверхчеловек оказался не умнее

филистера: самая методичность обстрела была, как это ни странно, смешна. Ужасно нам смешны были ежевечерние, начинавшиеся в определенный час бомбежки. Дурак сеял смерть, не понимая, что делает. Браня тину пошлого мещанского существования, грохнули в новую тину со всей будничностью ужаса. Увы, самым будничным на свете оказались не только мещанские горести, а всякие, откуда бы они не насылались. И что могло быть столь неистово прозаично, как разрушенный бомбой дом с перемешанными обломками кирпичей, извержениями фанновых труб и разорванными на части людьми. Увеличенный в миллион раз флюс не делается величественным или трагическим. Ощущение неслыханной ошибки — вот что заменило физическую, как ломоту, непрерывно ощутимую тоску первых дней войны. А весело было от сознания, что если причина аварии понятна, то ее можно исправить. И сколько раз говорили мы, не представляя холод и мрак грядущих дней, о том, как мы будем писать после войны и как переменится от этого все вокруг. Разговаривали и готовили на ходу, что требуется на сегодняшний день. И что с надлежащей внимательностью, как ходили слухи, записывали, чтобы наказать нас в случае чего, соответствующие отделы немецкой армии, обложившей город. Слухи были настолько определенны, что находились, как рассказывала Ольга Берггольц, люди, отказывавшиеся выступать в эфире и бранившие немцев только по трансляции. Все возможно. Верующие люди шли на риск. Они не допускали, что бомба упадет на них. А люди благоразумные, рассудочные принимали меры.

2 апреля

Я слишком много помню о Радиоцентре тех дней — и сбиваюсь. О тех днях слишком много помню. Словно только что пришел я в Дом радио, в дом потемневший, озабоченный, но живой. В первые дни моих посещений

еще я заходил с Макогоненко в буфет. Там давали какой-то салат и без карточек. А потом жизнь в столовой замерла. 21 октября, узнав, что это день моего рождения, Ольга или Юра — не помню, кто из них, — подарили мне кусок хлеба грамм в сто, и я не шутя растрогался и обрадовался. Мне выдали ночной пропуск, чтобы я ходил беспрепятственно на ночные передачи…

3 апреля

Город менялся с каждым днем, и менялась жизнь в Доме радио. Я ходил туда каждый день, то по улице Ракова, то по Невскому, сворачивая у гастронома. Витрины его были заколочены дощатыми, косо укрепленными конструкциями. А к концу ноября жизнь уже не столько менялась, сколько замирала. Остановились вдруг трамваи. На улицах, где застиг их паралич. Со дня на день ожидали, что прекратится освещение и подача воды. 10 декабря мы выехали из Ленинграда. Вечером, перед отъездом, пришли к нам прощаться товарищи по работе на радио: Макогоненко, Берггольц, Бабушкин. Приходили по очереди, и я долго разговаривал с Бабушкиным, и нам было несколько неловко — до сих пор мы встречались целой компанией. И когда он выделился из среды, мне почудилось в нем что-то новое, не менее привлекательное, но незнакомое. Я был дружен со всей группой работников радио, а не с каждым в отдельности. Тем не менее мы поговорили с ним о журнале, который будем издавать после войны для молодежи. И больше не встретились. Он был убит в конце войны. Я думал, что расскажу о радио отчетливее, но что-то слишком много недостаточно забытого и, тем самым, неотобранного нахлынуло на меня. Ну, вот и все. Теперь я снова бываю в Доме радио редко, от случая к случаю. Раза два записывали меня на пленку, и я с отвращением слушал свой голос: он казался мне наглым и чужим. Из старых знакомых в знакомом доме не осталось никого, и я едва узнаю его, в тех случаях, когда приходится мне там бывать.

4 апреля

Рахманов Леонид Николаевич, один из немногих людей, с которыми у меня подобие дружбы. Познакомился я с ним еще в тридцатых годах, ближе сошелся в блокаду, а еще ближе в 42—43 году. Он эвакуировался с семьей в Котельнич, а мы на два с лишним месяца раньше — в Киров. И, получив от него письмо, почувствовал облегчение и радость — еще один выбрался из ада. Первый раз увиделись мы в июне, когда ехал я в Москву — он вышел с Татьяной Леонтьевной[1] на вокзал, в Котельниче. А потом, вернувшись, приехал я к ним погостить. Его родной город выглядел не веселее Кирова. Если Петербург — самый умышленный из городов, то Котельнич вырос, словно нечаянно, вернее, нехотя. Впрочем, кирпичный домик Рахмановых выглядел отчасти даже весело. Полукруглый балкон выходил в садик. В комнатах ощущалась жизнь. Библиотека, нет, книжный шкаф с любимыми книгами отца — механика на железной дороге, упорно молчащего человека с синими глазами и черной бородкой. Стол, за который садилась вся семья. Молчаливая, но не так, как отец, а робко, мать Рахманова; все это была одна семья, даже с приезжими. И балкон, и садик выглядели постаревшими, в доме стало тесно, однако жизнь продолжалась, сохраняя свой характер. Отец любил Чехова и Диккенса. Рахманов показал мне номера «Русского слова» за 1910 год, собранные от первого сообщения об уходе Толстого до его похорон. И я, перечитав их, удивился, какое предчувствие катастрофы. Не в телеграммах и статьях о Толстом. Нет, в бесконечных сообщениях о самоубийствах — действительно, словно бы и необъяснимых и растерянных, фельетонных рассуждениях на эту тему. Опять я вспоминаю слишком многое! Завтра начну сначала. Я разучился писать.

5 апреля

Рахманов Леонид Николаевич — человек худенький, роста — выше среднего, взгляд рассеянный или недовер-

чивый, смеется, не открывая губ, чтобы скрыть отсутствие зубов. Много знает. Читает не по-литературоведчески, но со страстью, по-писательски, со многими книгами отношения у него личные, словно с людьми. И поносящих подобные книги не прощает, как будто обидели его близких. Самолюбив, что, возможно, и есть главное бедствие его жизни. Пишет мало, или, точнее, мало делает. Он охотнее берется за дела второстепенные. Неудача здесь не ударит по самолюбию так больно. И вторая беда — недоверчивость. Не к людям. К судьбе. К своему счастью. Ко всему, от большого до малого. Вот зову я его в Комарове скорее, скорее выйти из комнаты, поглядеть северное сияние редкой силы. Выходят в сад несколько человек, и все останавливаются сразу у крыльца, и разговоры замирают — каждый поражен и хочет внутренне взвесить и примириться с тем, что происходит во всей северной области небосвода, до самого зенита. Ходят, словно живые, вздрагивая, белые лучи, или прозрачные крылья. Мерцают облака. Иной раз чудится, что они не вздрагивают, а бьются, пульсируют, как живые. И вот первым заговаривает Леонид Николаевич: «Это прожектора». И вяло, как бы неохотно, соглашается, наконец, что это и в самом деле северное сияние. Против дачи, что снимали Рахмановы у Литфонда, стояла на пустыре другая, принадлежавшая дачному тресту. И Рахманову очень хотелось взять ее в аренду. И он много раз говорил об этом нам, но ни разу союзу, Литфонду, дачному тресту, то есть тем лицам и организациям, что могли осуществить его мечту. И Чивилихин, не менее скромный, но не страдающий в такой степени страхом отказа, в конце концов овладел дачкой. Рахмановы получили квартиру в доме 7 на Марсовом поле. Дом старинный и прекрасный. И квартира хороша. В первом этаже. Большая. Светлая до странности.

6 апреля

Итак, Рахманов получил квартиру, непохожую на все в этом доме. Она как раз на углу Мойки и Марсова поля, на закруглении, так что свет в столовой перекрестный, из разных окон — одни с Мойки, другие с Марсова поля. Отчего она светлее обычных. Коридоры широки. Из одного, который ведет в кабинет и столовую, можно было бы сделать отдельную комнату. Да он и похож на добавление к кабинету, со своими книжными полками до потолка и столами. Радуйся, да и только. И я сказал об этом Рахманову, придя к нему на новоселье. Он взглянул на меня своим затуманенным взглядом, покачал головой: «Вы думаете? Нет, в квартире много неполадок. Мы с Таней даже записали. Их восемнадцать!» И, достав блокнотик, он стал читать: «В кухне фрамуги неплотно закрываются. В столовой дверь непригнана». И так далее. Едва он дошел до пятой неполадки, я засмеялся, засмеялся за мною, сразу поняв, и Рахманов: «Вам смешно, что я записываю такие мелочи? Конечно, это пустяки по сравнению с квартирой, но все-таки...» Он очень умен. И, несомненно, талантлив, но своими руками засыпает нафталином, и запечатывает сургучом живые источники, и заливает кипяченою водою огонь в своей душе. Я близко познакомился с ним в эвакуации, приехав к нему в Котельнич. Если Петербург — самый умышленный из городов, то Котельнич — самый нечаянный, словно против воли выступивший из грязи. У Рахмановых было веселей. Кирпичный домик. Полукруглый балкон без перил, выходящий в садик. Но кусты выглядели старенькими, дом казался утомленным. Какое-то благородство и внутреннее богатство угадывалось в отце Рахманова. Это был человек тоже худенький и роста выше среднего.

7 апреля

Но выглядел значительней сына. Синие суровые глаза. Черная бородка. И уж он-то, откровеннее сына,

наглухо замкнул себя на все замки. Без всяких заменителей высказыванья. Начисто. Мать Рахманова тоже помалкивала, но робко. А отец — без объяснения причин. Молчал, чем иной раз наводил тоску на близких. Татьяна Леонтьевна, жена Рахманова, роптала иной раз на это — может быть, недоволен он тем, что ленинградская семья приехала к нему: сын, невестка, внучка — и стеснили старших? Но Рахманов отвергал это объяснение. Объяснял особой мнительностью изгнанников. Отец молчал всегда. Но некое внутреннее богатство угадывалось, несмотря на нежелание высказываться, — по книжному шкафу, его собственному. Этот железнодорожный техник читал много, с выбором. Любимыми его писателями были, по свидетельству сына, Чехов и Диккенс. Но кроме того собрал он всех русских классиков. Показал мне Рахманов комплект «Русского слова» за те дни, когда ушел Толстой из Ясной Поляны. От ухода до болезни и смерти. И странно было читать газету 1910 года в суровые дни лета сорок второго. И поразила меня газета не историей последних дней Толстого — все это было и без нее памятно, а статьями и сообщениями о бесконечных самоубийствах, словно люди бежали на тот свет в предчувствии катастрофы.

Сообщения с фронта утром и вечером передавались все мрачнее и мрачнее. Город казался недоброжелательным. Стареющие кустики с трудом удерживали редкую листву. Настоящее было невесело, будущее — неясно, и все же посещение Рахмановых радовало. Я словно попал в страну, где говорят на родном языке. Спали мы с Рахмановым на сеновале и перед сном говорили, говорили, понимая друг друга с непривычной легкостью в этом угро-финском, нехотя живущем, исподлобья поглядывающем крае. К концу моего пребывания стал теплеть и даже улыбаться и сам старший хозяин. Раза два услышал я, наконец, его голос. Здесь чувствовалась семья, что тоже радовало в эвакуации.

8 апреля

Мы не только на сеновале говорили обо всем на свете. Мы и бродили по городу унылому, словно перемогающемуся, и дождь то и дело загонял нас на чужое крыльцо. Когда усиливался. А в промежутках — моросил. Когда зашли мы в городской сад, с фанерными киосками, и стендами для газет и плакатов, и гимнастической лестницей, и поперек установленным на двух стояках бревном для детских игр, дождь и вовсе прекратился. А Леонид Николаевич рассказывал о детстве. Этот город, мертвый для меня, для него жил каждой своей улочкой. Впрочем, и для него город был уж не тот. В двадцатых годах весь его почти уничтожил пожар. Может быть, поэтому выглядел город больным? Ходили мы гулять за город. Видели борозду картошки, отведенную учреждению, где работал отец семейства Рахмановых. Просторное поле, и на каждой борозде — палочка с фамилией владельца. Выходили на обрывистый берег. За ним домики. За долиной широкая река свинцового цвета. Солнце так и не показывалось в мой приезд. А за рекой начинался лес, такой высокий и густой, с таким чувством достоинства, что город после него выглядел еще более вороватым, безбилетником. Скоро Леня переехал в Москву. И мне пришлось побывать там несколько раз до отъезда в Сталинабад. Это новый период знакомства, окрашенный совсем по-другому. Снимал Рахманов комнату в одном из особнячков в переулках возле Садовой, в районе ближе к Кудринской площади. Одноэтажный домик, дворик, поросший травой. Старый город. Однажды возле улицы Воровского в одном из подобных переулков примерно с третьего этажа сорвался карниз и рухнул, рассыпался по панели у самых ног идущего нам навстречу полковника. Тот засмеялся добродушно и сказал: «Так и убить может». Но все уже шло на поправку. Война 41-го, не в пример пережитой мной войне 14 года, чем дальше, тем отчетливее наводила порядок в тылу. Рахманов был все

так же близок. И все казался земляком, понимающим с полуслова.

9 апреля

Поездки в Москву резко отличались от установившегося мрачного вятского быта. Мне казалось, Грин, родившийся в Вятке, в беспросветном вятском быту, из ненависти к нему и выдумал город Зурбаган, лишенный быта. Памятны мне и московские разговоры, и их содержание, и качество разговоров с Леонидом Николаевичем. И запечатлелся в душе одноэтажный особнячок, двор, поросший травой, и в дверях вышедший меня проводить Рахманов со своими туманными глазами, чуть улыбающийся. Народные бедствия, вроде войны, делают всех одинаково несчастными. Одинаковые заботы и горести объединяют. А после войны каждый озабочен на свой лад. Встретились мы в конце войны в Москве уже не так дружески. Точнее, каждый уже был озабочен своим. Холоднее встретились мы и в Ленинграде, хотя до сих пор качество наших разговоров при встрече остается все тем же. Он все из самых близких друзей. Но я уже достаточно трезв, чтобы увидеть разрыв между тем, что он может, и тем, что делает, заметить несчастные нафталиновые плотины. Или, говоря трезвее, осторожность и самолюбие, превратившиеся в демонов. Мы по-прежнему друзья, но, встречаясь в союзе, на собраниях, держится он от меня в стороне. Почему? Впрочем, он сторонится и всех остальных. Держится осторожно, в одиночестве. Каждый по-своему переносит последствия отравления бедствиями послевоенных лет. Рахманов держится в сторонке. А я, как ни в чем не бывало, разговариваю с теми, кого боюсь, как змей. Что лучше? Мы встречаемся от случая к случаю. Чаще я бываю у него, чем он у меня. Это уже превратности самолюбия. И каждый раз, забывая мелочи, узнаю я в нем существо высокой породы.

10 апреля

Сколько нерожденных детей. Сколько принужденного молчания. Роковая немота при остром и точном слухе. Вытоптанное поле, запомнившее, как больно, когда топчут, и решившее, что бесплодие — меньшее из зол. Так мы и не узнаем, как вырос Рахманов в своем нелюдимом городе, как любил, что увидел, запомнил, что запало в душу, что испугало и отняло дар речи. И кто всему этому виной? Бог знает! <...>

19 апреля

Аркадий Райкин — следующий по списку. Из эстрадников самый привлекательный. Нет выше для него счастья, чем играть. Он не пьет, и не курит, и ест в меру, и даже дом его устроен и обставлен куда скромнее, точнее, безразличнее, чем у людей, зарабатывающих так много. Целый вечер, целый спектакль ведет он один, все держится на нем, да он и не вынес бы помощников в этом деле. Я когда-то писал о нем в специально для банкета после премьеры сочиненном послании: «Конечно, актеры нужны, пока я меняю пиджак да штаны...» Он занимает первое место — и, надо признаться, по праву. Работает, вернее, отрабатывает, доводит он каждый выход свой, как изобретение, что далеко не так часто среди актеров. Подчас только циркачи так же старательны. Особенно те, у которых жизнь зависит от точности работы. Вот и Райкин так работает. И при этом он еще талантлив. И своеобразен. Был окружен бешеной ненавистью товарищей по работе.

20 апреля

Начинаю сначала. Аркадий Райкин — имя широчайшее. Стало нарицательным: «Шутки, анекдоты, хохмы — ну, просто Аркадий Райкин». Когда пришлось нам работать вместе, приехали мы как-то в Зеленогорск. Зашли в аптеку — маленькое помещеньице позади разбитой

снарядами церкви. И тотчас же продавщицы впали в состояние, среднее между столбняком и религиозным экстазом. Они отвечали на вопросы Райкина замедленно, а потом сразу бросались выполнять просимое. А Райкин словно бы и не замечал воздействия славы своей. Привык. Когда мы вышли, он заглянул в двигатель своей «Победы», раскрыв ее акулоподобную пасть. И какая-то пожилая дама спросила меня: «Простите, это Аркадий Райкин?» И радостно закивала, получив подтверждение. Словно подарок получила. Ленинградская эстрада держалась, да и до сих пор, по-моему, держится на сборах его театра. Дает он миллион чистой прибыли. И кормясь его стараниями, содержа свой аппарат и рассылая свои малодоходные бригады, — как ненавидит его руководство эстрады. В 51—52 году, работая с ним, успел я подивиться на это противоестественное явление. Они делали все, чтобы помешать новому спектаклю появиться на свет. И их дружные усилия едва не привели к успеху. Увидел я Райкина задолго до войны. Году, вероятно, в 35-м. Его привела Шереметьева[1], тогда ведавшая репертуаром эстрады, — показать талантливого молодого актера, ради которого стоит поработать. Совсем юный, высокий, кудрявый, черноволосый с наивными, печальными, огромными глазищами, полногубый, курносый, производил он впечатление своеобразное и, в самом деле, необыкновенно приятное. И в нашей маленькой столовой показал он кусочки своих номеров так скромно и изящно, что ни разу я не смутился, слушая. И уже тогда угадывалась в нем одна его черта: это был неутомимый работник.

21 апреля

Он рассказывал, что придумал, рассказывал, что ему хочется сделать. И угадывался в нем прежде всего человек, который свою работу считает основной. Для меня было открытием, когда я прочел в воспоминаниях Кугеля[2], что

он и его друзья считали работу газетную — случайной, занимались ею как бы поневоле — они надеялись стать со временем настоящими писателями. Один Дорошевич считал фельетоны делом своим кровным, придавал значение каждому словечку, возился с каждым фельетоном так же серьезно, как будто это рассказ! Ну и стал королем фельетона, а из тех, других, ничего не вышло, из тех, кто работал «пока», не уважал то, что делает. Люди подобного склада в большинстве случаев — народ обреченный. Райкин, как и Дорошевич, «малую форму» уважал, и почитал, и никак не считал ее малой. И не по недостатку дарования, а по его своеобразию. Он чувствовал, что в театре ему делать нечего. В театре обычного типа. И вот начался его путь к своему театру. Я его после первой встречи не видел несколько лет. Но в 51—52 годах, когда на афишах во всю ширину печаталось: «Аркадий Райкин», он как-то рассказал два-три случая, подтверждающих, как нелегко дался ему этот путь. Особенно трудны оказались обеспеченные, но вечно несытые эстрадные тузы. «Вы не представляете, что это за люди. Они совсем особой породы. Они либо обдумывают свои делишки, либо разыгрывают друг друга по телефону, либо злобствуют. Страшнее и злобнее всех Смирнов-Сокольский. Однажды я выступал в его программе. Я придумал такое начало: распахивается занавес, и я прямо на публику вылетаю на качелях. И, раскачиваясь, говорю монолог. Меня держат, по сигналу толкают, и я взлетаю прямо над оркестром. Я решил проверить аппаратуру перед началом. Смотрю — канаты перерезаны. Я взлетел бы и рухнул прямо в оркестр или в первый ряд.

22 апреля

— «Ну, и что же вы сделали?» — «А просто ушел из театра и — на вокзал. И в Ленинград». Но вот, так или иначе добился он славы. И имя его заняло место во всю афишу... <...>

7 мая

Миша Слонимский для меня — вне суда, вне определения, вне описания. Он был со мной в те трудные, то темные, то ослепительные времена, когда выбирался я из полного безобразия и грязи — к свету. Грязь и безобразие — это конец Театральной мастерской, неуспех Холодовой, что и я принял, и она заставила меня пережить хуже любого личного несчастья. Потребность веры — и полная пустота в душе. Полное отсутствие заработка. Полная неуверенность в себе. И рядом с этим — безумная, безрассудная, увлекающая других веселость. Доходящая до вдохновения. Отсюда — знакомство и дружба со Слонимским и Лунцем, да и почти всеми «серапионовыми братьями»[1]. В Доме искусств устраивались вечера, где мы ставили так называемые кинокартины. В качестве актеров действовали зрители. Те, кого я называл. Сценарии писал Лунц, но я отступал от них, охваченный безрассудным, отчаянным и утешительным вдохновением. Каждый, кого я называл, выходил и действовал. Оставались нетронутыми зрители солидные и взрослые: Замятин, Ахматова, Корней Чуковский, Волынский[2], Шишков, Мариэтта Шагинян и другие. Ольга Форш, когда писала книгу «Сумасшедший корабль», вспомнила эти вечера и изобразила меня под именем Геня Чёрн. Доброжелательно, но непохоже. «Сумасшедший корабль» — это тогдашний Дом искусств, помещавшийся на Мойке в особняке Елисеева. Будь времена более ясные и будь мы постарше (впрочем, мне уже исполнилось 25 лет) — положение, что занял я при писателях, могло бы казаться унизительным. Из любви к литературе развлекал я литераторов. Но я не веселил, а веселился. И все остальные — со мной. И Миша Слонимский в случае особенно удачного вечера говорил: «Чего вы удивляетесь? Очередная вспышка гениальности, да и все тут». И эти вечера были для меня спасением.

8 мая

Папа в 23 году решил перевестись из Майкопа в Туапсе, в одну из тамошних санаторий. И позвал меня к себе, на лето. И я по удивительному легкомыслию тех лет, позвал с собою Слонимского. И он так же легко согласился. В Туапсе папе не понравился старший врач. И решил папа взять другое место. В Донбассе. Возле Артемовска, тогдашнего областного центра. В больнице. На соляном руднике имени Карла Либкнехта. И мы с Мишей, с божественной легкостью тех лет, решили ехать в Донбасс. Весна в 23 году была поздняя. Уезжали мы в конце июня, а листья на деревьях еще не достигли полного роста. И вот высадились мы на маленькой станции Соль, перед самым Бахмутом. (Тогда еще он не назывался Артемовском.) Папа, несколько смущенный, встречал на бричке, запряженной двумя сытыми конями. Степь, еще зеленая, лежала перед нами. И на меня так и пахнуло Майкопом, когда увидел я дорогу за станцией. Пожалуй, тут дорога была более холмистой. Ехали мы среди травы, которую солнце еще не выжгло. Кобчики носились над степью. Все это вижу так ясно, что не знаю, как описать. Все вижу, вплоть до высокой, худощавой фигуры отца, с откинутой назад седой головой, в белом плаще. Привезли нас в белый домик, где у отца была квартира. Две комнаты и кухня. И через несколько дней Миша так вошел в наш быт, как будто всегда был у нас. Он никому не мешал и не мог помешать. В двадцать пять лет это был рассеянный, легко задумывающийся, длинный, тощий, с умоляющим и вместе рассеянным взглядом больших черных глаз человек. Он все задумывался, так глубоко, что ничего не слышал и не отвечал на вопросы. В те дни это значило, что обдумывает он рассказ. И, глядя на меня испуганно, он заявлял, к примеру, следующее: «Я решил начало убрать. Просто — бандиты вешают начальника станции, а потом уже начинается сюжет». Тогда еще он строил рассказы странно.

9 мая

Тогда еще Гражданская война была любимым материалом молодых писателей. И Слонимский об этом и писал рассказ. И не случайно. Каждый день слышали мы истории о бандах Маруси, или Махно, или безымянных атаманов. Рассказывали о страшной, похожей на сон, облаве в соляных рудниках. Старые разработки тянулись под поселком, словно кротовые норы. Никто с бегством старых владельцев, не знал толком планов этих подземных ходов, перепутанных, как паутина. Бандиты, с помощью сообщников своих, скрылись в норах. С земли снабжали их едой. Но вот сообщников арестовали. В норах начался голод. Рабочие заметили, что стали у них пропадать завтраки. Поняли почему. И началась облава, как по крысиным норам. Всех перебили. Рядом с нами жил человек по фамилии Чаплин — сытый, белобрысый, хозяйственный — знаменитый в Гражданскую войну командир партизанского отряда. Этот ничего не рассказывал о героическом своем прошлом, только военную форму сохранил. Я ехал с ним из города на линейке, на собственной его линейке. И он говорил с увлечением знакомым мне с детства русско-украинским говором обо всем: об урожае, о ценах, о бабах, о сегодняшнем курсе червонца, но только не о своем героическом прошлом. Уже въезжая в поселок, переправились мы вброд через узенькую, но быструю речушку. И конь наш вдруг зашатался и рухнул. На неподвижном красном лице Чаплина с белыми ресницами ничего не отразилось. Он освободил коня от сбруи и сказал: «Вы мине заплатите да идить до себе. Вин встане». — И, получив с меня пять миллионов — столько брал он за коней, — объяснил Чаплин, что если конь дуже хочет пить, а ему не дать, когда он идет вброд, то вин падае. И минут через десять после моего возвращения домой приплелся и Чаплин на линейке, шажком. Чаплин не вспоминал о Гражданской войне, жил новым. А оно отчетливо намечалось.

10 мая

Нэп казался и привычным, и чудовищным после всего, что было пережито. Частные магазины с хозяевами, которые сами не верили, что они хозяева. Могучие базары — эти не смущались: шум, нет, ровный гул, и не ярмарочный, лихорадочный, пьяный, с шарманкой, каруселями, и гармоникой, и выкриками, — а именно базарный, здоровый гул. Изредка жеребец закричит отчаянно или беззастенчиво завизжит поросенок. Жизнь медленно и неуверенно входила в русло, удивляясь тому старому, что сохранилось после отчаянной ломки последних лет. Трудно было понять то, что совершалось сегодня. И все писали о Гражданской войне, и Миша сосредоточенно размышлял: «Слушай, а если начать так: начальник станции вступил в банду, чтобы спастись. И скачет с железнодорожным фонарем в степь». Вскоре после нашего приезда выяснилось, что бандиты не перевелись. Мальчик пошел в рудоуправление. Сын одного из счетных работников. И прибежал домой растерянный: «Мама, воны сплять», — сказал он своим украино-русским говором. Как спят? Поднялась тревога. Все руководство рудоуправления лежало на полу неподвижно. Налетели бандиты «верхами». Забрали деньги, приготовленные для зарплаты рабочим, приказали всем, кто был в конторе, лечь на пол и лежать полчаса, по круглым стенным часам. Кто встанет раньше, будет застрелен. У окна стоит часовой, сторожит. Был часовой или не был, но руководство и бухгалтерия отлежали честно минут двадцать. Отлежали бы и все тридцать, да мальчик прибежал с криком, что «они спят». Сбили погоню. Но бандиты все равно успели скрыться неведомо где. То ли в степи, то ли на заброшенном руднике. Вокруг поселка тянулась степь. Изредка балочки, деревья, кусты. Но к вечеру на небе, не по-ленинградски черном, появлялись звезды до того яркие, что казались Мише незнакомыми. И мы без труда уверили его, что тут виден Южный Крест.

15 мая

Миша пережил детство непростое. Деспотическая мать. Старший брат, от которого он был далек по ряду причин. Брат-пианист, преподававший музыку трагически погибшему сыну Скрябина (мальчик утонул). А Мишин брат после этого долго болел. Нервами. Сестра, которую Миша никогда не вспоминал, тоже, видимо, далекая ему. И наконец, брат, ближайший ему по возрасту, с которым Миша был дружен и рос вместе. И тот заболел туберкулезом. И болезнь быстро развилась. И умирал он сумасшедшим, и Миша не отходил от него. Глядя на меня своими огромными, растерянными черными глазищами, рассказывал Миша, как начинал несчастный больной играть с ним в шахматы и вдруг посреди игры, свирепо фыркая, сшибал щелчками фигуры с доски. А главное, мать — владыка семьи — бешено деятельная, безумно обидчивая и самоуверенная, как все женщины подобного вида, беспредельно. Легко было Мариэтте Шагинян говорить со смехом: «Обожаю Фаину Афанасьевну. Она — олицетворение женщины. Вот это и есть вечно женственное!» Попробовала бы она расти и жить под вечной грозой и нескончаемым ураганом. Отсюда беспомощный Мишин смех, и взгляд, и воля, может быть, и не сломленная, но ушибленная. Отсюда же его уживчивость и нетребовательность тех лет. Отсюда и многие душевные ушибы.

16 мая

«Серапионовы братья» Мишу любили. Собрания их чаще всего происходили в Мишиной комнате. Зайдешь к нему утром, он еще лежит в кровати и курит, закинув руки за голову, узкая грудь, худые ключицы. И всегда к этому времени у него люди.

17 мая

[Мариэтта Шагинян] была старшей из Мишиных гостей, как Лунц был младшим. Мариэтта Сергеевна

появлялась в состоянии умозрительного исступления. То она прибегала с требованием, чтобы Миша отказался от литературы. У него не хватает heilige Ernst*. Они слишком уж много говорят о нанизывании, остранении, обрамлении, а где heilige Ernst? У них, у молодых? «Нет, Миша, бросайте, бросайте писать, пока не поздно!» А Миша кричал ей так, что вены надувались на его длинной шее: «Если я не буду писать, то умру!» И он смеялся беспомощно. «Вы слышите меня? Я не могу бросить писать! Умру! Слышите?» Он говорил чистую правду, но Шагинян по глухоте своей не слышала его, да и не хотела слышать. Она пришла высказать мысли, возникшие за работой там, в глубинах елисеевского особняка. Иной раз прибегала она сообщить, что живет за стеной, которую не пробить — глухота и близорукость. «Я не вижу и не слышу, я оторвана от жизни, и самое страстное мое желание — к ней пробиться». Вот она все читала Гете и ездила по стране — все хотела присоединиться и к жизни гармонической, а вместе с тем и к той, другой, которая существует и не дается, эмпирической. И любовь к этой, последней, была острее, как всякая безнадежная любовь... <...>

19 мая

<...> О чем только не делались тогда доклады в гостиных и залах елисеевского особняка с атласными беспружинными креслами. Вместо пружин в сиденьях умещалось некое пневматическое устройство. Сядешь, и кресло зашипит негромко, и ты в нем покачаешься, и оно тебя устроит в своем пневматическом ложе куда мягче и ласковее, чем в любом пружинном. И были они белые, как и вся мебель какого-то из Луи, кокетливые. И тут же подлинные скульптуры Родена с его подписью. И читал там Волынский об элевациях, и двойных батманах, и о прочем, придавая читаемому смысл балетно-

---

* Святой серьезности (*нем.*).

трансцендентный и с библейской страстностью. Здесь же, в глубинах особняка, помещалась его балетная школа, дела которой, видимо, шли не слишком хорошо. Все время Петроток грозился обрезать свет всему Дому искусств за неоплаченные счета балетной школы. И к нему, Акиму Волынскому, ключи были утрачены. Но он занимал куда более твердое место в действительности, чем Пяст[3]. Он был председателем правления Дома. И когда в коридорах проносилась его тощая фигура и видел ты его профиль — фас у него отсутствовал — то испытывал ты уважение. Он читал доклады. И Пяст. И Сологуб. И Чуковский. И Замятин. Напряженная умственная жизнь, казалось, шла в Доме искусств, но мы не принимали ее всерьез. У молодых шла своя жизнь. Они не верили в значительность старших. Ключ был утерян. Как и старшие не принимали всерьез верхний этаж елисеевского особняка, где, по преданиям, жила некогда прислуга владельцев. Распутывая, ушел я за ниткой клубка в сторону. Появлялась в Мишиной комнате и бывшая жена Ходасевича[4], невысокая, худенькая с беспокойными глазами, темными и словно выбирающими. Его самого видел я мало.

20 мая

Раза два, все в тех же гостиных, на каком-то докладе. О нем говорили уже восторженно. Не в пример угасающим и непонятным представителям уходящего поколения, этот вдруг заговорил на новый лад. Переродился. Отыскал вдруг ключ к самому себе. Ходасевич был страшен. Лицо его походило и на череп, и вместе с тем напоминал он увядшего, курносого, большеротого, маленького телеграфиста с маленькой станции. И страдал экземой. И какая-то, кажется, туберкулезная язва разъедала ему кожу на пятке. Обо всем этом рассказал мне Коля Чуковский, восхваляя его стихи и с ужасом и восторгом говоря о его недугах. И о том долгом его

литературном прошлом, когда считался Ходасевич поэтом второстепенным, «эпигоном». «Он ненавидит папу! — рассказывал Коля. — Он как-то сказал: «Чуковский, давайте дружить!» — на что отец промолчал. И он не может ему этого простить!» Но в дни, когда я его видел, был он признан всеми, вышел в первые ряды. И вдруг исчез с громом и шумом — бежал с молодой поэтессой Ниной Берберовой в Германию. Опять я отвлекаюсь — говорю не о Мише, валяющемся до одиннадцати в своей комнате на третьем этаже Дома искусств, а об ощущениях от всего Дома в целом. Итак, Миша Слонимский воскликнул, беспомощно хохоча, когда Мариэтта Шагинян предложила ему бросить литературу, ввиду отсутствия в его писаниях heilige Ernst: «Если я не буду писать, то умру!» И в этом восклицании не было преувеличения. Миша был отравлен или пропитан склонностью к своей профессии. Дед его был известный общественный деятель и публицист, так называемый просветитель, проповедующий, что евреи должны принимать культуру страны, в которой поселились. Отец сотрудничал и заведовал каким-то отделом «Вестника Европы». Родной дядя по материнской линии был известнейший профессор, историк литературы Венгеров. Зинаида Венгерова была его теткой[5].

21 мая

Он унаследовал от предков хорошую голову. Мог играть в шахматы вслепую. Когда он рассуждал, голова работала без перебоев. Но душа у него была уже и тогда уязвленная, запутанная, внушаемая. Начинал он — от души. Первые его рассказы, особенно «Варшава», были ему органичны. В дальнейшем стал он притворяться нормальным. И — потерял дорожку. В Донбассе, когда пришло время возвращаться в Петроград, произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь. Слонимский зашел в редакцию. Чтобы помогли ему с билетом. С же-

лезнодорожной броней. И редактор предложил ему организовать при газете журнал «Забой». И Слонимский согласился с тем, что секретарем журнала останусь я. Мы съездим в Ленинград, вернемся и все наладим. После чего я останусь еще на два-три месяца, а он, Слонимский, уедет и будет держать связь с журналом, посылать материал из Ленинграда. Так мы и договорились. И уехали. И вернулись обратно. К нашему ужасу старого редактора на месте не оказалось. Новый, по фамилии Валь, худенький, с безумными глазами, маленькой бородкой, с перекошенным от вечного гнева ртом, пришиб нас своей энергией. Он потребовал, чтобы мы, пока собирают материал для журнала, сотрудничали в газете. И тут я пережил первое в своей жизни чудо. Я написал фельетон раешником о домовом, летающем по Донбассу. Материалом были рабкоровские письма. И, придя в редакцию, я услышал, как Валь читает мой фельетон вслух секретарю и кому-то из сотрудников. А затем он вышел из кабинета. Обычная яростная улыбка отсутствовала. С удивлением глядя на меня, он сказал, что фельетон ему нравится и он сдает его в набор. И я испытал спокойствие.

22 мая

Именно — спокойствие. Значит, я на что-то годен в той области, которую выбрал. Конечно, газетный фельетон — это не литература, но Слонимский был доволен. Поэтому и трудно писать мне о нем трезво — такие вещи не забываются. Он словно был польщен тем, что дела у меня пошли так хорошо. Следовательно, все-таки вошел я в одну из комнат, самую пусть маленькую, но в доме, о котором столько мечтал. Я писал, и меня печатали! И в самом деле, без этого шага не сделал бы я следующего, не написал бы первой детской книжки все тем же раешником, которому научился в Донбассе[6]. Итак, съездивши в Петроград, вернулись мы с Мишей обратно. Потом приехал Груздев[7], который решил тоже устроиться в

газете. Все поселились у нас на руднике. Груздев и Миша спали на полу в просторной кухне, где, впрочем, не готовили, так что там кухней и не пахло. И все ссорились, как и подобает братьям. Тут я впервые увидел Мишу в ярости. После какого-то теоретического спора Миша сел на своем тюфяке и воскликнул трижды: «Ну, в таком случае ты дурак, дурак, дурак!» На что Груздев улыбнулся таинственно и сдержанно, будто довольный тем, что раздразнил брата по Серапиону.

Несмотря на молодость содружества, там уже накопились чисто семейные обиды друг на друга. И сжились братья уже настолько, чтобы высказываться открыто. Свирепый Валь отверг одну за другой статьи Груздева. И в самом деле — академический, литературоведческий тон не шел к газете «Всероссийская кочегарка». И Миша был доволен. И со свойственной ему цикличностью мышления повторял, шагая по комнате задумчиво, примерно раз в десять минут: «Я говорил Илье, что в газете ему делать нечего». О чем бы он ни начинал думать, мысли его приводили к этому заключению. Был Слонимский в те дни куда беспечнее, чем впоследствии. Но вот он не получил ответа по поводу своего рассказа, сданного в какой-то журнал. И заскучал.

23 мая

Беспомощно хохоча и шагая взад и вперед по комнате, он повторял каждые десять минут: «Ведь понимаю, понимаю, что это неврастения, и ничего не могу с собою поделать». О чем ни начинал думать, возвращаясь все к тому же заключению, Миша страдал. И хохотал беспомощно, понимая, что это ему только кажется, будто его в Ленинграде все забыли, отбросили, затоптали. Почта приходила не на станцию Соль, с которой приехали мы на Либкнехтовский рудник, а на другую. На ветке, а не на магистрали. Надо было пройти мимо больницы, мимо дома Ивановых, с их садом или рощи-

цей, и дальше по степи. Станция белая, маленькая стояла на солнце одинокая, без единого деревца. Служила. Колокол у двери. Окошечко кассы. Окошечко почты и телеграфа. Со стороны платформы — рельсы, линии телеграфа. Телеграфист. Сухой, подходящий к скрипению цикад и сухому жаркому воздуху стук телеграфного аппарата. И степь по ту сторону станционного здания. Телега. Ленивый крик: «Цоб! Цобэ!» Волы в облаке пыли. И несколько раз приходил тут Миша в отчаяние. Придешь — и нет письма. И нет перевода. Но вот, наконец, выдали ему у окошечка и то и другое. И кончилось шагание по комнате взад и вперед. В последний раз воскликнул он, но уже в прошедшем времени: «Я ведь знал, что это неврастения!» — и успокоился. Когда, съездив в Ленинград, вернулись мы на Либкнехтовский рудник, я был горестно удивлен переменами, которые произошли за короткий срок моего отсутствия. Август по новому стилю. По старому — июль. А трава на пустыре перед нашим домом пожелтела. И множество сухих листьев на деревьях. Лето сожгло. Общими силами стали мы собирать первый номер журнала «Забой». Валь кричал. Секретарь редакции Тардов, по выражению Олейникова, сидел перед кабинетом Валя с примерзшей улыбкой. Слонимский уехал. Но я не чувствовал себя одиноким: познакомился, а потом и подружился с Олейниковым и с Эськой Паперной. Впрочем, это другая история.

24 мая

В 24 году Миша женился. Свидетелями были я и Федин. Из серапионовских барышень Дуся[8] нравилась мне больше всех. Она училась на биологическом. Даже, кажется, окончила его. Она была очень хорошенькой в те годы. И имела свой характер. И была умница. Одно время нравилась мне она не меньше, чем Наталья Сергеевна. Но это опять другая история. Записывались Миша и Дуся в бывшем дворце бывшего великого князя Сергея

Александровича, в бывшем особняке Белосельских-Белозерских. Назывался он в те дни Дворец Нахимсона, и помещались в нем райком партии (который теперь занимает все помещение) и райсовет. Там в загсе Миша и Дуся записывались. А я и Федин были свидетелями, чем-то вроде шаферов. Дуся все плакала, а Миша смеялся беспомощно. Мы долго ждали очереди. Когда уже позвали нас к столу, где регистрировались браки, Федин вдруг пропал. Я кинулся его искать и услышал его красивый баритон из уборной. Он взывал о помощи, ибо дверь в уборную защелкнулась сама собой снаружи. Освободив пленника, я побежал с ним к брачащимся. Церемония прошла быстро. Девица, совершавшая ее, сказала в заключение голосом, в высокой степени безразличным, без знаков препинания: «Поздравляю брак считается совершившимся к заведующему за подписью и печатью». В ресторане быв. Федорова на улице Пролеткульта заняли мы отдельный кабинет. Здесь Дуся опять плакала, а я, по ее словам, сказал ей: «Чего вы плачете, Дуся, когда приобрели на всю жизнь таких друзей, как я и Федин». Вряд ли я сказал именно так, но Дуся уверяет, что так оно и было, и до сих пор поддразнивает меня этой фразой. С этой свадьбой кончилась Мишина жизнь на третьем этаже Дома искусств. Он перебрался в большую комнату на улице Марата, где жила Дуся.

25 мая

24 год. Я снова работаю вместе с Мишей Слонимским, но на этот раз — в Ленинграде. Вернувшись из второй поездки в Донбасс, где опять работал в газете и журнале, я было испугался: трудно было после работы, где всем ты нужен и тебя рвут на части, остаться вдруг в тишине. Правда, у меня уже печаталась первая книжка. Встреча с Маршаком определила окончательно дорогу. Но платили в те дни за книжки до смешного мало. И когда Слонимский предложил работать с ним в жур-

нале «Ленинград»[9], я очень обрадовался. Трудно передать легкость этих дней. Я не ждал и не требовал ничего — наслаждался тем, что так или иначе выхожу на дорогу. Да, я был еще недоволен собой, но, в конце концов, состояние это не являлось новостью. А Миша женатый нисколько не изменился. Все так же уходил вдруг в дебри повторяющихся мыслей. То высказывал их, то нет. Работали мы в доме, где помещалась редакция и типография «Ленинградской правды». В первом этаже, в большой комнате. Остальные занимала бухгалтерия.

1 июня

Журнал «Ленинград» в 25 году закрыли решением издательства, и я перешел на работу в детский отдел Госиздата[10], что тоже является совсем другой историей. В Донбассе, работая в газете, я почувствовал дно под ногами. А тут уж совсем выбрался на берег, надо было решить, куда идти. Но спутники мне попались немирные, деспотические. Я ушел с головою в новые отношения, побрел по дороге, далекой от Мишиной. Но юношеские годы связали нас прочно, навсегда. Мы могли не встречаться подолгу, но это ничего не меняло. Вот Миша и Дуся решили поехать за границу. Году в 27-м. Тогда это было просто. Но тем не менее событие это взволновало умы. Слонимские стали собираться. Для вещей, которые следовало уложить на лето и пересыпать нафталином, купили они корзину, которая, по мнению Дуси, оказалась слишком большой. И Миша с беспомощным смехом рассказывал: «Пропала Дуся. Не могу найти. Оказывается, она забралась в корзинку, закрылась крышкой и плачет там». В ясный весенний день провожали мы их на Варшавском вокзале. С цветами. Дуся уже не плакала, а смотрела весело в четырехугольнике окна мягкого вагона, веселая и умненькая, хоть и склонная к слезам, как девочка, как гимназистка, что ей шло. И Миша длинный, с тонкой и длинной шеей, улыбаясь во весь тонкогубый,

большой рот, примерно каждые три минуты, возвращаясь, как всегда, к одной и той же мысли, только в дорожной лихорадке завершая круг быстрее, повторяет: «Значит, едем, все-таки». <...>

2 июня

И вернулся Миша из-за границы. И снова пошла наша жизнь, все усложняясь и усложняясь, своим чередом. Я развелся. И женился на Катерине Ивановне. И однажды пришел Миша бледный, сияющий, улыбающийся, словно пьяный, и сообщил, что у Дуси родился сегодня ночью сын, а у него, [у] Миши, всю ночь температура была 40°. И он ничего не понимает и просит, чтобы я пошел с ним в Свердловку. Мы жили тогда на 7-й Советской, угол Суворовского. И Мишина новость нас поразила, хоть мы и ждали подобного сообщения со дня на день. Мы были тогда еще людьми и были очень близки, я и Катерина Ивановна. И я любовался ее просиявшим лицом и тем, что она едва не заплакала — так всегда на нее действовало сообщение, что у кого-то из близких родился ребенок.

4 июня

Когда Театр комедии переехал в Москву[11], встречались мы довольно часто. <...> В декабре двадцатого числа в 44 году отпраздновали мы двадцатилетие их свадьбы. <...> Впрочем, мы этот вечер провели весело. Что-то от света и огня ранних лет нашей молодости все теплилось. И Миша смеялся.

6 июня

Все мы стареем. Когда представлял себе старость, то не боялся. Представлял, что изменюсь внешне, и все тут. А стареть-то, оказывается, больно. Сваливается то один, то другой из моих сверстников. Мне все кажется, что это какое-то недоразумение, вот-вот все разъяснится, в мое

время старики были вовсе не такие. И в самом деле, разве старик Миша? Вот идет он по улице навстречу, такой же длинный, такой же тощий, с той же тонкой шеей, только у основания распухшей, воротничок расстегнут. Ему пятьдесят восемь лет, но он так же беспомощно хохочет, как в молодости, когда я поддразниваю его. Года полтора назад вызвали нас в военкомат, как в былые годы, — на учебу. Какие же мы старики? Потом писателей выделили. Мы стали ходить, согласно приказу, на лекции в Дом писателя. Но райвоенкомат не успели известить об этой перемене, и мы получили строгий приказ явиться туда и объясниться. Вся наша жизнь прошла под знаком мобилизаций, явок, переосвидетельствований, и мы к подобного рода повесткам привыкли относиться вроде как бы к зовам судьбы. В данном случае было все ясно, — недоразумение. Да и мы не призывники. Пришла повестка в субботу. Являться с объяснениями приказано было в понедельник. Миша звонил мне по телефону трижды, примерно каждые десять минут повторяя одно и то же: «Мне гораздо удобнее идти сегодня, чем в понедельник. Давай пойдем и выясним это дело». И он пошел в военкомат в тот же день, повинуясь его могучему зову, как всю жизнь, — какой же это старик. Теперь, правда, в июле прошлого года сняли нас с учета. Но каждый раз, когда вижу я длинную тощую фигуру, с головой, чуть склоненной набок, в глубокой задумчивости, — разом оживают во мне веселые и печальные чувства двадцатых годов. И я не чувствую возраста, как, впрочем, и всегда. Как не чувствует его и Миша. Некогда. <...>

10 июня

Союз писателей стоит дальше в телефонной книжке. Появился он на свет в 34-м году, и вначале представлялся дружественным после загадочного и все время раскладывающего пасьянс из писателей РАППа. То ты попадал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, — как разложится.

Во всяком случае, так представлялось непосвященным. В каком ты нынче качестве, узнавалось, когда приходил ты получать паек. Вряд ли он месяца два держался одинаковым. Но вот РАПП был распущен. Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он в качестве некоей силы в ССП, а вовсе не погиб. И года через три стал весь наш союз равноподобен и страшен, как апокалиптический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси, Господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная моложавость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать.

Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае я вряд ли дотяну до новых и счастливых времен. Молодые — возможно.

Сценарный отдел «Ленфильма». С ним отношения непонятны. Единственное место, где я бывал груб и неуступчив, — это «Ленфильм». Я с трудом выношу, когда требуют поправок, а сценарный отдел только этим, собственно, и занимается. В ателье напряжение и спешка, в костюмерной, гримерной, диспетчерской звонят, спешат, слепят светом, или кричат у телефонов, или спорят с художником или с актерами. И только в сценарном отделе тихо — не то, как в оранжерее, где выращивают цветы, не то, как в классе во время контрольной работы. Или это та зловещая тишина, когда экзаменующийся

запнулся. Это последнее — вернее всего. С одной разницей: экзаменатор знает еще меньше экзаменующегося.

«Советский писатель» — издательство. Я с ним не встречался до этого года, пока не вышло решение: печатать сборники пьес. И вот я сдал туда свой сборник. И стал ждать.

В сборник мой вошла пятая часть пьес, что я написал, и один сценарий[1]. Месяца через полтора меня вызвали в издательство. И вот после очень большого промежутка времени приехал я в Дом книги, чтобы поговорить об издании своей книги. Дом Уошеров, который давно упал, но никто этого не замечает[2]. Штатные работники выполняют, нисколько не смущаясь и не пугаясь, работу призраков. Я в течение двух часов добивался с помощью редактора единообразия. То есть: чтобы все ремарки были набраны одинаково, стояли в одном и том же порядке, чтобы... не помню уж всех крохоборческих и третьестепенных требований, которые сводились всё к одному — к типографскому единообразию. Хорошо, впрочем, было то, что никто не требовал, чтобы я переделывал текст пьес. Кончив работу, спустился я во второй этаж, где теперь, — там, где в двадцатых годах размещалась бухгалтерия Госиздата, — устроили отделение книжного магазина. Тут теперь отдел художественной литературы, детской книги и так далее. И вот я увидел зрелище, испугавшее меня. Множество сборников под названием «Пьесы» стояли, как памятники. На полках, за спиною продавщиц. Фамилия автора едва видна. «Пьесы», «Пьесы», «Пьесы» — и никому они не нужны. Это испугало меня. Приехавши домой, попросил я, позвонив в издательство, переменить название книги, взяв для этого любое заглавие пьесы. Там согласились. Книга будет называться «Тень». Через два-три месяца, совсем недавно, прислали мне корректуру. И — о, ужас! — в верстке! За это время могущественная и на самом деле существующая типография скрутила призрачных обитателей Дома книги. Верстка! Значит, я не могу пра-

вить рукопись, увидев ее в печати. А именно тут многое становится окончательно ясным. Править можно было только в пределах двух-трех слов. Общее, призрачное безразличие к существу дела и загадочная, потусторонняя придирчивость к мелочам.

16 июля

На букву «Ш» — одни Шварцы, родня, о которой так много знаешь, что никакого открытия не сделаешь, рассказывая. И люди всё разные, но близость с ними одинаковая, словно принудительная. Но все это не имеет отношения к делу. Начну.

Антон Шварц — был самым близким из родных. Нас объединяло время, среда, в которой мы выросли, достаточное сходство, чтобы понимать друг друга, и разительное несходство, чтобы друг друга удивлять. Самым поразительным для меня была Тонина уравновешенность. С самых ранних лет. Отец часто вспоминал, как двухлетний Тоня, когда его спрашивали: «Понимаешь?» — отвечал вяло и хладнокровно: «Помамаю». И помню я его, вероятно, с этого же времени. Мы сидим во дворе, на стульях, которые кажутся мне очень высокими. В руках у каждого по шоколадке, которые мы друг другу показываем. И что-то голубое связано с этим воспоминанием: Тонина шапочка с помпоном, вроде матросской, или голубые обертки шоколадных плиток, или ясное небо. Шоколадные плитки — с фокусом: дернешь за белый язычок, и собачка, нарисованная на обложке, откроет глаза. В те же времена или годом позже повели нас на Красную улицу в какой-то магазин — там показывали фонограф. От аппарата шли резиновые трубки с костяными наконечниками. Мне вставили эти холодные наконечники в уши, и я услышал какой-то отвратительный, нечеловеческий голос, и перепугался, и бросился бежать. Фонограф помнил и Тоня. Это — первое общее наше воспоминание. В 1904 году, летом, жили мы в Одессе. Мама решила

окончить курсы массажа. На обратном пути остановились мы в доме дедушки[1], возле кирхи. К этому времени жизнь у меня стала сложной. И Екатеринодар тех дней окрашен уже не одной краской. И тут мы с Тоней подружились. Он был так же уравновешен и спокоен и поражал меня богатством своего языка. <...>

17 июля

Я помню екатеринодарский их двор пыльный, с деревьями, желтеющими не от осенних холодов, а от избытка жары, преждевременно стареющие. Соседские мальчики по фамилии Канатовы. Тоня, как самый спокойный и цельный, руководил нами, а мы с удовольствием подчинялись. Иногда игра прерывалась. Муравьи строем ползут, ползут, двигаются куда-то вверх черным ручейком по светлой коре какого-то дерева. Вернее всего пирамидального тополя. И мы обсуждаем, куда они спешат. И выясняется, что Тоня знает о муравьях больше всех нас. Толково, уверенно и спокойно он рассказывает, а мы слушаем с тем страстным вниманием, которое всегда просыпается, если мы остаемся в пределах своего мира, и которое умирает от малейшего насилия. Взрослые постоянно внушают: «Слушай, что тебе говорят». Тоне и в голову не приходит требовать внимания. Он рассказывает естественно, а мы естественно впитываем то, что он говорит. Таков мирный перерыв игры. <...>

18 июля

<...> Мы встретились через восемь лет — в тринадцатом году, весной. Мне было шестнадцать с половиной лет. Тоне — семнадцать. О том, как сидели мы на высоких стульях, он не помнил, фонограф — как через туман, но разговор на заборе запомнил твердо. За эти годы я бесконечное количество раз слышал о нем. Рос я нескладным, раздражал этим отца — человека здорового, красивого, рослого, вспыльчивого, страстного и цельного.

И каждый раз, побывав в Екатеринодаре, он попрекал меня Тоней. Тоня прекрасно декламирует. Круглый пятерочник. Однажды за столом зашел разговор о том, как устроен знаменитый Новороссийский элеватор. И Тоня спокойно, толково и с полной ясностью объяснил взрослым это. Году в двенадцатом, возвращаясь из Анапы, побывал я у его родителей. И Беллочка рассказывала о сыне еще подробнее и восторженнее, чем папа. И о его учении. И о его успехах. Однажды у них обедал известный миллионер Юкелис. И он предложил Тоне, рассказав какой-то анекдот: «А ну, переложи это на стихи — дам пять рублей», и Тоня, выскочив из-за стола, побежал к себе и через пять минут вернулся со стихами, от которых старик Юкелис пришел в восторг и заплатил обещанную сумму. Тони не было. Он гостил за границей у бабушки в Наугейме. К моему удивлению, по большой шварцевской квартире бегала маленькая нежная девочка лет трех. Тонина сестренка. О ее существовании я и понятия не имел.

19 июля

К тому времени отношения со взрослыми у меня до того усложнились или скорее упростились, что я пропускал мимо ушей все их разговоры, если они не направлены были непосредственно ко мне. Они жили своей жизнью, а я своей, в достаточной степени сложной, и говорили мы на разных языках. Я их не осуждал за это. Напротив, склонен был часто считать себя виноватым, но понимал, что и это не поможет нам понять друг друга и объясниться. Вот отчего пропустил я мимо ушей, что у Тони родилась сестренка. И не придавал значения похвалам по Тониному адресу. Не сердился на них. И с интересом поехал погостить к ним весной тринадцатого года. Тоня прислал мне открытку, в которой звал меня, и кончал ее богато: «Sic volo, sic jubeo»*. Я был реалист, так

* Так я хочу, так я приказываю *(лат.)*.

что латинскую эту цитату перевел мне папа. Конечно, Тоня оказался совсем не таким, как описывали старшие. Худенький, узкоплечий, бледный, с ясно выраженными шварцевскими чертами лица — не семитическими, а хамитскими: полные губы, густая шапка жестких волос. Глаза глядели спокойно и достойно. Язык его рядом с моим был все так же богат, так что в первый день склонен был я обвинить его в страшном грехе — в неестественности. Главный недостаток, которого с детства приучала меня бояться мать. Но, к своему удивлению, вслушавшись, понял я, что за непривычной манерой выражаться скрывается понятный и близкий мне смысл. Я был варварски самоуверен. Шел по своим путям, но мы быстро поняли друг друга. Меня в те дни раздражало то, что разумеют под «музыкой прежде всего» в поэзии. Мне казалось, что аллитерация — ничего не стоит рядом с настоящей музыкой. Музыкальны поэтические картины. И Тоня прочел мне у кого-то из французов, как тот продекламировал за спиной трехлетней сестренки классический отрывок, где с помощью аллитерации изображался бег колесницы (что-то вроде: квадрупеданс педес и т. д.). И сестренка даже не оглянулась. Итак, мы снова оказались похожи и непохожи и легко понимали друг друга.

20 июля

Тоня был куда образованней меня, но вместе с тем мальчик, спрашивающий, может ли хороший еврей попасть в рай, не умер в нем, а вырос. Время было скептическое и эстетическое. Екатеринодар яснее ощущал влияние нынешнего дня: туда приезжал Бальмонт и скандалил за ужином и принялся ухаживать за Беллочкой, Тониной матерью. За ужином, что давали в его честь, он вел себя так, что к концу осталось всего несколько человек. И Бальмонт спросил Исаака: «Вы любите свою жену?» — «Да!» — ответил Исаак с мрачной, шутливой

серьезностью. «И я тоже!» — сказал Бальмонт. «Что ж мы будем делать!» — воскликнул Исаак, схватившись за голову с комической серьезностью. На другой день тихий и трезвый пришел он к Шварцам с визитом и, уходя, написал в альбом Беллочке: «Душа светлеет, /Увидя душу, / Союз наш верный / Я не нарушу». И уехал читать стихи и скандалить в Новороссийск. И Тоня видел его в непосредственной близости. А в Майкоп подобные существа не забредали. Приезжал и пел свои стихи Игорь Северянин. И Тоня наблюдал его в непосредственной близости. И удивился и огорчился (за меня), узнав, что я не люблю его стихи. И толково, спокойно и рассудительно объяснил, почему они ему нравятся. И я подумал: «Ладно, об этом надо потом подумать». Так я всегда поступал в те дни при столкновении с чем-то, требующим душевного или умственного напряжения в области для меня новой. Рассказал мне Тоня о Мамонте Дальском. Он почему-то не мог найти комнату, приехав на гастроли, и Тоня провожал его по адресам, где знаменитый артист мог устроиться. Дважды потерпели они неудачу, и гастролер сказал с великолепной задумчивостью: «Когда я умру, тысячи людей пойдут за моим гробом, а сегодня мне негде приклонить голову». И хоть подобные существа забредали и в Майкоп, но им далеко было до Мамонта. Тоня к своим семнадцати годам много видел, много наблюдал, не раз побывал за границей, прочел множество серьезных книг, и они отлично уложились у него в голове. Свои знания добывал я, как Робинзон. Но мы понимали друг друга, как десять лет назад.

21 июля

<...> К этому времени мы совсем уже подружились. Большая шварцевская квартира была пуста, и я орал, пробуя голос, и бренчал на рояле, и однажды напал на Тоню в дверях его комнаты, заставил его фехтовать штиблетами, что нес он в руках. И Тоня сказал весело и удивленно: «С тобой я опять превращаюсь в мальчишку». <...>

24 июля

<...> И вскоре мы расстались с Тоней, чтобы встретиться через год в новом мире — военном. Осенью приехал я из Майкопа в Екатеринодар, где мобилизованный папа мой служил врачом в войсковой больнице. На душе было темно, не по возрасту — терзала и не давала покоя любовь к Милочке. Война казалась зловещей, но была только фоном к тому, чем я жил. Насколько светлее было прошлое лето, лето тринадцатого года. Екатеринодар тех дней больше всего связан у меня с запахом новой, только что отлакированной мебели. В мебельном магазине дедушки встречались мои дяди и их друзья, возвращаясь с работы. Самоуверенные и спокойные адвокаты, друзья младшего из моих дядей, Саши. Исаак, Тонин отец с выражением всегда несколько гневным и осуждающим. Магазин узкий и длинный, как галерея, ряды буфетов, кресел, диванов, исчезающих в глубине. Больше всего и увереннее всего говорили адвокаты — и о литературе, и о театре, и о суде, и о женщинах. В адвокатской комнате висело расписание — кому по дороге в суд покупать газету. Составлено оно было на тридцать пять дней, а ниже стояла надпись: «К этому времени война кончится». О женщинах говорили они с непривычной для меня откровенностью. Так один из них громко и подробно рассказал о проститутке, которая славилась тем, что причинное место у нее холодное. Он сам проверил. И мне странно было слушать спокойный и уверенный адвокатский голос, повествующий о вещах вполне непристойных. Особенно странно потому, что за день до этого я познакомился с его дочерью-гимназисткой. Мой полумонашеский майкопский мир исчезал.

25 июля

С Тоней мы встретились на этот раз как старые знакомые, но я успел сильно перемениться за этот год. Я провел несколько месяцев в Москве[2]. Вспоминаются

они мне до сих пор, как несколько лет. Я утвердился в своей робинзоновской внутренней жизни. Кое-что самодельное, кое-что принесло к моему острову течение. Я писал стихи, подобные робинзоновской одежде. И на этот раз показал их Тоне. Он выслушал стихи мои с недоумением и даже неловкостью. Указал, что так не рифмуют. И возражал против полного отсутствия музыкальности, когда увидел, что я разумею под этим не в теории, а на деле. Печальные для меня длинные-длинные екатеринодарские дни. И споры в большом Сашином кабинете. Он уступил нам комнату в большой своей квартире. Все чуждо мне — и огромный адвокатский письменный стол, и кожаный диван с высочайшей деревянной спинкой, на вершине которой вмонтированы полочки. На полочках — вазы с глазурью немецкой выделки и фотографии какого-то актера с трогательной надписью, и Сашиной дочки от первого брака. Позади стола — книжный шкаф с роскошными изданиями. Четыре толстых тома: «Мужчина и женщина», словарь Брокгауза или «Просвещения» и еще какие-то книги с корешками, сияющими золотом. Кожаные мягкие кресла. За окнами ныне исчезнувший очень мной любимый шум: быстрый стук копыт по мостовой. Мне казалось когда-то, что это едут непременно к нам. И что приезд этих неведомых людей принесет мне счастье. Но не этой осенью. Я ничего хорошего не ждал в августе 14 года. Итак, мы спорили. Тоня даже написал пародию на мои стихи, пародировал мое стремление дать непременно картину: «Стол был четырехугольный. — Четыре угла по концам. — Он покрыт был мантией палача. — Жуткой, как химеры Нотр Дама». Все, кроме последней строчки, никак мне не свойственной, было очень похоже. Но самый факт написания пародии показывал, что Тоню задело что-то в моих стихах. А я был задет его указанием на полную неграмотность в технике. Нам сшили студенческую форму[3]. У одного портного.

26 июля

И достали билеты в вагоне «Новороссийск — Москва». Достали в Новороссийске — из Екатеринодара в военное время непросто было выбраться. Толпа у вагонов, шум, какие-то девушки кричат Тоне с площадки, вручают нам билеты, и вот мы отправляемся в Москву. Несмотря на любовь, терзавшую меня, не дававшую ни минуты покоя, я ухаживал всю дорогу за беленькой девушкой. Она ехала в Петроград на курсы. С нею — мать, худенькая, черненькая, моложавая. Жили они где-то на границе с Турцией (Манглис?). Отец-офицер служил там. Мы всё стояли на площадке, а мать появлялась от времени до времени, присоединялась к нам. И Тоня стоял тут же на площадке. Он не ухаживал — скорее снисходительно и вежливо принимал знаки внимания и восхищения от худенькой стройной девушки по имени Галя. Маруся Бахчисарайцева — гимназистка в Екатеринодаре, Галя и новые наши знакомые в поезде — все восхищались красотою Тониного голоса. А кто-то из взрослых сказал, что у него органный звук голоса, что, когда он говорит, чувствуешь обертоны. Тоня охотно читал вслух. Но об актерской карьере и не думал. Сказывалась та же инерция, что не пустила отца его в актеры, а даже строгая моя мать подтверждала, что Исаак необыкновенно одарен. Та же сила привычной колеи, что не дала моей матери, ее брату и сестре пойти на сцену. Впрочем, вряд ли мы думали тогда об одном каком-нибудь пути. Казалось, что всё «пока». Война. Как можно решать что-нибудь окончательно. Беллочка, по особой характерной уверенности своей, что надо хлопотать и родственники помогут, написала в Москву своим двоюродным братьям, чтобы они оказали нам содействие. Они приняли это как должное. Один из них, седой сорокалетний, другой чуть моложе, лысый, с усами и светлыми нагловато-насмешливыми глазами, в день приезда приняли нас в конторе, принадлежащей им. Какой? Не поинтересовал-

ся. Оба серьезно, солидно давали нам советы, обращаясь больше к Тоне. Советы совершенно ненужные. Например, питаться в студенческой столовой. Там теперь кормят дешево и хорошо.

27 июля

Или: сдавая белье прачке, сосчитай его и запиши. Впрочем, младший из Тониных двоюродных дядей, тот, что с нагловато-насмешливыми глазами, Аркадий, указал нам, что в Дегтярном переулке, этажом выше его квартиры сдается комната. И это сведение не представляло ни малейшей цены. В те дни в Москве на каждом квартале можно было увидеть зеленые прямоугольные бумажки в окнах домов. Это были объявления о сдающихся комнатах. Красные объявления указывали на сдающиеся квартиры. Тем не менее мы воспользовались дядиным советом и поселились в Дегтярном переулке. Хозяином оказался чех лет тридцати, музыкант из оркестра Художественного театра. Вся семья его состояла из жены и свояченицы по имени Граня, которой чех горловым голосом читал иногда нотации. Начинались они громко: «Граня, я тебе говору!» — а в дальнейшем он понижал голос. Комнату мы сняли просторную, с новой светлой, модной в те дни мебелью. Так была обставлена и вся квартира. Вот и начался первый семестр моей студенческой жизни, который, когда я вспоминаю, представляется мне долгим, как бы многолетним. Два раза уезжал я в Петроград. После второй поездки, когда показалось мне, что жизнь моя кончена, решил я идти на войну добровольцем, или «охотником», как говорилось в книжечке, данной мне в канцелярии воинского начальника для сведения и руководства. Тоня, увидев у меня эту книжечку, сказал спокойно: «Ты уже потому охотник, что несешь дичь». Война только начиналась. Для несовершеннолетнего, каким я являлся тогда, требовалось, чтобы пойти на фронт, разрешение родителей. Приехала мама. Словом,

ничего не вышло. И это другая история, а я рассказываю о Тоне. В этот период жизни мы были дальше друг от друга, чем когда-либо. Юридический факультет я ненавидел. До самого здания, коридоров, аудитории, студентов. Тоня, который обладал значительно более организованным умом, принимал его здраво.

28 июля

Я чувствовал себя не то что чужим, а вызывающим протест в среде дяди Аркадия, куда пышнотелая, темноглазая, живая, молодая, вечно напевающая что-то из оперетт, простоватая его жена постоянно звала нас то к обеду, то к ужину. У нее был мальчик — не от Аркадия — лет пяти. И с Аркадием они были не венчаны.

Бывал у них вечно в гостях сытый человек лет тридцати пяти, спокойный, уравновешенный, довольный жизнью. Бывал Метнер, брат композитора, до наивности немецкой наружности. И он владел какой-то конторой, как Аркадий, или была у него фабрика. С ним тощая блондинка, подруга жены Аркадия, находящаяся в том же положении при Метнере, как та при Аркадии. Длиннолицая и, на мой взгляд, немолодая жена адвоката появлялась всегда в сопровождении молодого спутника с лицом грубым и наглым. И целая шайка подобных молодцов иной раз являлась с ними. Сам адвокат, бледный до бесцветности, похожий лицом на Чайковского, держался несколько брезгливо в стороне от компании жены. И при Тоне однажды, когда в компании его жены вышла какая-то ссора и к адвокату обратилась жена с жалобой, он ответил: «Не вмешивайте меня в свои грязные дела». Он, адвокат этот, поразил нас годом примерно спустя. Шла премьера пьесы Андреева «Король, закон и свобода», шла с неслыханным успехом. Зал обезумел, когда король приказал открыть плотины и утопить немцев. Зал представлял явление куда более поразительное, чем сцена. И наш знакомый, бледный до бесцветности адвокат,

похожий на Чайковского, охваченный общностью, массовостью чувства, побледнев еще более обыкновенного, кричал, вскочив на кресло: «Так их, топи их, туда их!» И никому, кроме нас, не казалось это странным. Приближались новые, страшные времена, но в первый год войны мало кто угадывал это. И мы с Тоней успели забыть то особое, зловещее чувство, которое испытали, увидев на маленькой станции по дороге в Москву первых раненых. Теперь встречались они в каждом переулке, вошли в быт.

29 июля

Итак, в сытом, довольном собою, модно обставленном доме Аркадия жизнь шла привычной для них и невозможной для меня дорогой. Я вижу теперь, что никогда в жизни не смел брать. Не в похвалу себе говорю. Вечно я чувствовал себя виноватым, неведомо в чем, но, увы, ничего не делал, чтобы эту вину загладить. И не доводил до конца, если что-нибудь в этом направлении начинал. Взять хоть бы мою попытку пойти охотником на фронт. Я мог бы добиться своего — и отступил. Впрочем, это другая история. Разглядывая мир дяди Аркадия, я испытывал чувство, похожее на ревность, — с какой уверенностью потребляли они все, что давала им жизнь. А мои колебания приводили только к неясности чувств и сбивчивости желаний. Тоня принимал окружающую среду спокойно и с достоинством, не принимал, но и не вступал с ней в спор. Однажды только оба мы ужаснулись. Шел сбор в пользу какой-то курсистки. Я попросил Аркадия принять в нем участие, и вдруг развеселое и нагловатое лицо его приняло выражение жестокое и свирепое. Словно змей выглянул, и мы испугались.

В следующем семестре поселились мы раздельно. Я снял комнату в солодовниковском доме в Лебяжьем переулке. Любовь моя к Милочке Крачковской вдруг сломалась под собственной тяжестью. Жизнь стала пу-

стой — столько лет я жил только этим. Тоня же продолжал спокойно и не теряя равновесия развиваться. И особым достоинством являлось то, что он сохранял ясность взгляда. Он продолжал сам смотреть. Сохранял самостоятельность. Прочитанные книги помогали ему смотреть, а не являлись целью. В те времена образовалась группа студентов, выделяющихся из общей среды. Семенов — красивый малый, несколько охотнорядского склада. Рындзюн — маленький, сутулый, с лицом недоверчивым, но вместе с тем и спокойным. Он в эмиграции под псевдонимом Ветлугин выпустил роман «Записки мерзавца». Сладко и нагловато улыбающийся, глупый, но самоуверенный до того, что это качество скрадывалось, — Волков, впоследствии близкий к умершему Художественному театру человек. Инсценировал для них «Анну Каренину». Для большинства из них, из этой группы студентов, «эрудит» было высшей похвалой. Стилизация их восхищала. Тоню считали они равным. Но он был выше.

Весна шестнадцатого года. Мы перешли на третий курс, возвращаемся в Екатеринодар на каникулы. В Кавказской — пересадка. Мы увидели в тупике екатеринодарские вагоны, стоим на задней площадке, ждем, когда прицепят. Зелень, еще не тронутая жарой, поражает после Москвы богатством, решетку станции не видно, все заросло травой и кустами. Мы разговариваем с жадностью и с прежним уважением к опыту друг друга. И если у нас нет ясной веры наших отцов и умерла детская вера, то потребность веры осталась. В нашем разговоре есть элементы того, что вели мы в дедушкином саду. Да, мы еще ничего не начали всерьез, война продолжается, все, что мы делаем, это «пока». Но мы говорим о том, что будем делать. К этому времени Тоня уже уверовал в мои варварские стихи и даже носил их показывать Бунину. К счастью, его в Москве не оказалось. А я с уважением отношусь к Тониным знаниям и привык к его манере говорить. Так мы и жили, все «пока» да «пока». Судьба

забросила нас в Театральную мастерскую[4]. Мы стали актерами, что было естественно для Тони и совсем неожиданно для меня. Он женился на тоненькой, высоколобой огромноглазой Фриме Бунимович[5]. Женился и я. Оба мы развелись со своими женами, которые, кстати, ненавидели друг друга. Встречались редко — каждый шел своей дорогой. Тоня кончил юридический факультет, работал некоторое время адвокатом, продолжая выступать как чтец, и, наконец, окончательно отказался от адвокатуры. Со свойственным ему спокойствием относился он к переездам из города в город, к гастрольным своим поездкам. И объездил всю страну с программами, которые составлял сам. И имел очень большой успех всюду, где бы ни выступал. Ему найдется что сказать, если его спросят, что он за свою жизнь сделал. Он все уезжал, виделись мы редко, но я каждый раз испытывал некоторое огорчение, узнав, что Тоня собирается снова в путь. И вот пришла война. И мы встретились в Москве, в гостинице «Москва». Он рассказывал о фронте. С моей точки зрения, он не изменился. Но один из актеров, бывший с ним на фронте, рассказал мне. Генерал очень полюбил Тоню, все гулял с ним и разговаривал, и молодая жена генерала пожаловалась однажды: «Что нашел он в этом старике?»

30 июля

Для меня студенческие наши дни, даже детство — было точно вчера. И, глянув на седую Тонину голову, я подумал: «Да время-то идет». Но тут же почувствовал: «Идет, но не проходит». Я вспомнил, как однажды сравнил Олейников время с патефонной пластинкой, где существуют зараз все части музыкального произведения. Для меня Тоня не мог быть стариком. Я видел за случайными сегодняшними признаками его основную неизменную сущность. Он был, как всегда, уравновешен, и вместе с тем, или именно благодаря этому, голова его

работала с той честностью, энергией и ясностью, что меня так покоряло всю жизнь... И за время войны, и в послевоенные годы мы сблизились больше, чем когда-нибудь, именно потому, что едва намеченное в молодости утвердилось, разъяснилось и окрепло после всего, что пришлось нам пережить.

1 августа

Но вот в конце сороковых годов Тоня тяжело заболел. Инфаркт. В результате сердечной недостаточности — плеврит, болезнь почек, кишечника. Мне казалось, что неверно это. Не может быть. Я, приехав в Москву, отправился к Тоне в клинику на Девичьем поле. Когда-то мы тут по соседству обедали в медицинской столовке, где бывали вечеринки, необыкновенно веселые. Местности я не узнал, но мог сообразить, где эта столовка помещалась. Больничная холодность, халат не по плечу, высокие коридоры и, наконец, неестественно высокая, небольшая, узкая палата на три койки. Тоня, все такой же спокойный и уравновешенный, очень бледный. Всегдашняя больничная связанность. И в самом деле — как разговаривать, когда в двух шагах лежат люди. Один читает, другой пишет письмо. Едва разговор завяжется, как чувствуешь, что хотят не хотят соседи, а послушают. Тоня шел уже на поправку — восьмой месяц, как он лежал. Мы провели вместе часа два. И я, без всякой веры в возможность этого, чисто рассудочно думал: неужели мы видимся в последний раз? К этому возрасту я привык к тому, что подобные вещи случаются чаще, чем ждешь. Но в глубине души я этому не верил. И Тоня в самом деле поправился и скоро — через год — уже выступал в концертах. И ездил по всей стране. И собирал полные сборы в Ленинграде, в Большом зале Филармонии. Как Тоня читал? Я долго привыкал, да так и не привык окончательно к этому виду искусства, к художественному чтению. Для меня исчезал смысл стихотворения,

если к литературной выразительности примешивали еще декламационную. Всегда несколько искусственно-холодноватую. Условную. И громкую. Смысл — я говорю о поэтическом смысле — грубел и шел на дно. Пока я был актером, то притерпелся к этой условности. Потом отвык настолько, что, услышав недавно, как Журавлев[6] читает «Даму с собачкой», как грубеет и твердеет самый высокий смысл, самый драгоценный из многих смыслов повести, то пришел в ужас. И ярость. Тоня обладал прекрасным, редким, низким, органным голосом. И в его чтении я понимал автора. Особенно прозу. Потому что Тоня, хоть и допускал декламационную, излишнюю, по моей застенчивости, выразительность, чувствовал законы вещи.

2 августа

Мне казалось, когда начинал он выступать в качестве чтеца, что его особенности — голос, манера — делают похожими друг на друга и Державина, и Блока, и даже Сумарокова. Но в дальнейшем приемы его стали точнее. Большое лицо, шапка густых голос, спокойные светлые глаза, высокий рост, уверенность — органическая, внушающая уважение, простая. Жест, правда, несколько неуверенный, — да Тоня и не пользовался им почти. И голос. Великолепный голос. И зал подчинялся и верил. Мы несколько раз встречались с Тоней в Москве, каждый раз останавливался я у него, на улице Немировича-Данченко. Занимал только не большую комнату, а маленькую, где сложены были чемоданы и кое-какая старая мебель и не водились совсем клопы. Впрочем, я засыпал постель дустом перед тем, как лечь. Тоня уже готовил новую программу. Выступал. Однажды из окна троллейбуса увидел я, как пытается он сесть в мой вагон, а кондуктор не пустил — переполнено. И у меня почему-то сжалось сердце. Я вспомнил, как на Николаевском вокзале увидел в последний раз Юрку Соколова тоже вот так,

через стекло. Правда, Юрка был в вагоне, а я стоял на платформе, но никогда мы больше и не увиделись. И я вышел на остановке у улицы Горького, дождался следующего троллейбуса и встретил Тоню. Казалось, что он был совсем здоров в те дни. Но я почему-то испытывал какую-то неуверенность. Вот пришел Тоня и просит поскорее налить ведро горячей воды, поставить туда ноги. Прилив крови к голове. И у меня то же чувство, которое испытал я, когда Тоню впервые назвали стариком. И он, заметив, угадав — ведь столько лет мы знакомы, — говорит мне спокойно и ласково: «Да ты не расстраивайся. Ничего». Говорит больше интонацией, чем словами. Потом с глубокой неохотой переехал Тоня в Ленинград. Тут ему опять стало хуже. Он отлежался. Поехал на дачу в Москву и опять захворал и попал в ту же самую клинику, что прежде, на Девичьем поле. И снова, приехав в Москву, я отправился навестить Тоню и, пройдя через гулкий вестибюль и получив халат не по плечу, отыскал я Тоню в неестественно высокой палате на три человека. Он поправлялся.

3 августа

Что, собственно, рассказывать? Он поправился, но не так, как пять лет назад. Болезнь сваливала его с ног еще и еще раз, безболезненно почти, но упорно. Он принялся за книгу. Ему хотелось рассказать о своем опыте чтеца[7]. Он боялся, что выступать больше не придется. Он захворал, вдобавок к сердечной болезни, — забыл, какое имя носит это несчастье. У него стали шататься и выпадать зубы. Ему сделали мост. Золотой. И очень неудачно — испортили ему дикцию. И это огорчало его. Книжку писал он упорно. Интересной казалась мне мысль о том, что чтец обязан найти, от имени кого читается вещь. Угадать авторский характер. Не в актерском, а в особом плане. Не выходя за пределы своего искусства чтеца. Он зашел показаться профессору Рыссу, Симе Рыссу, нашему

сверстнику. И Сима сказал мне: «А ты знаешь, что Тоня обречен? Ему жить — месяц, другой, — у него сильнейший склероз. Особенность склероза — его избирательность. Мозг — не тронут. Голова свежа. А человек обречен». И я не поверил этому. Тоня решил начать выступления — настолько он хорошо себя чувствовал. Но сначала по радио. Там спокойнее. Мы с Эйхенбаумом должны были зайти к нему — посоветоваться о Тониной книге. На радио затянулась репетиция. Тоня устал. Когда я позвонил, что мы с Эйхенбаумом идем к нему, Наташа сообщила, что свидание придется отложить, Тоня заболел. И больше мы не виделись. То лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Я был у Войно-Ясенецких на именинах. Позвонил домой. Все время занято. Слишком долго. И это встревожило меня. Я поехал домой. И узнал, что Тоня умер. Он обосновался в те дни у сестер — у Вали, той самой нежной девочки, появление которой так удивило меня в большой шварцевской квартире в Екатеринодаре, и у Муры, которая появилась на свет годом-двумя позже[8]. Валя уже совсем седая. Мура и Наталья Борисовна сидели возле постели, на которой лежал Тоня с обычным своим рассудительным и спокойным выражением, только глаза были закрыты, и это был не Тоня. И как бы мы ни жалели его, уже ничего общего не было между ним и нами. С месяц назад, в сильный ветер, поздним, хоть и светлым вечером включил я радио и услышал живой Тонин голос. Он читал «Медного всадника», и я слышал даже его дыхание.

4 августа

И хоть ветер шумел за окнами и брата, дыхание которого я слышал так ясно, будто стоял он рядом в комнате, уже не было в живых, я испытывал скорее радость, чем печаль. Если бы я умел! Я чувствовал за привычным смыслом вещей другой, настоящий. Еще усилие — и я пойму, что «времени больше не будет» и ничто не ушло,

не умерло из пережитого. Но это последнее усилие — в который раз сорвалось. И мир вскоре принял свой непрозрачный и непреодолимый образ. Вот и все, что удалось мне рассказать о Тоне.

9 августа

Двадцать лет назад жили мы в Сухуми, в Алексеевском ущелье, и ощущалось бы это время сейчас как один из очагов тепла, согревающих жизнь через все годы. Но мешает одно — наш сосед, с которым мы подружились так, как это бывает в счастливые, праздничные черноморские дни, — трагически погиб в конце сороковых годов. Я говорю о ***Льве Моисеевиче Квитко***. Это был, при наружности прозаической, солидной, прирожденный поэт и легчайший человек. Работал легко, как дышал. Проснувшись, брался за блокнот. И, лежа на берегу моря, работал над своей поэмой. Но это другая история. О Квитко рассказывать надо отдельно. Что я попробую сделать когда-нибудь, если хватит сил. Пока скажу, что это был один из самых привлекательных людей, что встречались мне в жизни. И смерть его, словно траурной рамкой, окружает лето 1936 года именно потому, что он жил тогда полной жизнью.

12 августа

Эйхенбаум Борис Михайлович. Опять трудная задача. Я его слишком давно знаю, и мелочи сбивают с толку. Большая голова. Не по хилому телу большая, — так казалось мне, когда познакомились мы. Впоследствии (опять на море!) убедился, что тело у него по-мальчишески складное и мускулистое, так что голова — чему особенно помогала резкая граница загара, — лысая, крупная, седая голова его казалась приспособленной к шее по ошибке. И он плавал далеко, скрываясь в волнах, и он легко ходил, но физиологической радости бытия не обнаруживал. Нет, он не испытывал страстной любви к

жизни. Жил легко, но все чисто жизненные, практические вопросы, бытовые решала за него Рая Борисовна, жена, человек с ясными чувствами и твердым характером. Голова Бориса Михайловича работала сильно, требовала от складного, но мальчишеского тела усиленного питания. И ему было некогда и не к чему вмешиваться в людскую суету вокруг. Поэтому-то ученики его жаловались на холодность и безразличие к ним. Это худо. Зато он начисто лишен был бесстыдного бешенства желания низшего сорта. Что, к примеру, вспыхивает у собаки, когда ей кажется, что некто покушается на обглоданную и брошенную ее собственную еду. Мне казалось, что это благородство слабых. Что Шкловский[1], вечно срывающийся в переходах своих от добра к злу, — явление более внушительное. Что добродушие Бориса Михайловича ничего ему не стоит. Но он, как это бывает с существами высокой породы, все рос и рос, не останавливался. И за слабостью вдруг определилась настоящая сила, которая дорогого стоит. Первая и главная — это добросовестность. Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настоящего ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет и не приврет в работе. И если монаха останавливает страх Божий, то в Борисе Михайловиче говорит сила неосознанная, но могучая. С утра сидит, согнувшись над столом, и, словно по обету, мучается над ничтожным, иной раз, примечанием. Во имя чего? Цена одна. Что заставляет его доводить свою работу до драгоценной точности? По-прежнему он благожелателен и ясен.

13 августа

<...> Его снова позвали в Пушкинский Дом старшим научным сотрудником. Словно проснувшись, припомнили, что он один из лучших текстологов, если не лучший, во всей стране. Его статьи стали печатать в журналах, как ни в чем не бывало. А он? Как и все эти са-

мые страшные годы, работает, не разгибая спины. Перед ним чернильница, вделанная в отполированный, сверху плоский, по бокам неправильной формы обломок дерева, источенного червем. Медная дощечка подтверждает, что взято дерево из фрегата «Паллада», поднятого со дна такой-то бухты, тогда-то. Книги с множеством закладок высятся вокруг рабочего места Посреди стола. Книги на этажерке возле стола. Коробка с множеством карточек. Книги, книги, книги. Вот уже больше года, как переехали Эйхенбаумы с Канала Грибоедова на Малую Посадскую, но книги еще не разложены в подобающем порядке. На столике проигрыватель. Эйхенбаум страстно любит музыку и собрал такое множество долгоиграющих пластинок, что и на них пришлось завести карточный каталог, в особой карточной коробке. Слушает он музыку с наслаждением. В последнее время все заводит Десятую симфонию Шостаковича, по нескольку раз, часть за частью. Слушает и думает.

28 августа

Леночка Юнгер, ***Елена Владимировна Юнгер***! Она до того безыскусственна и правдива, до того человечна на всех путях своих, что обличитель, бросающий в нее камень, выглядит темным в сиянии мягкого света, который излучает все ее существо. Когда Маршак вспоминает ее отца, рано умершего поэта, у него лицо светлеет и он говорит мечтательно: «Володя Юнгер, Володя Юнгер! Ах, какой был человек». Он не рассказывает, какой, да это, видимо, и не передашь. Но в лице Маршака — отблеск того же сияния, которое определяет Леночку и, видимо, определяло ее отца. Стихов его Маршак не цитирует, несмотря на непогрешимую свою память. Видимо, Володя Юнгер был поэтичен всей своей сущностью и дело тут было не в стихах. Теперь вернусь к началу. Безыскусственность и правдивость следует понимать не буквально. Это не детская наивность или грубоватость

бестужевской курсистки. Нет, Леночка может умолчать, и скрыть, и схитрить. Но она — это она. Это ее собственная безыскусственность и правдивость — она поступает так, как ей хочется. Вот на что любуюсь я, скованный майкопским, полумонашеским интеллигентским прошлым. Изящество, с которым она влюбляется, и божественное бескорыстие в выборе — вот, что в ней прелестно. Вот и все. Говорить о ней подробней — это значит мельчить, и сплетничать, и вносить муть в то, что до такой степени ясно. А к Леночке я отношусь со всем уважением. Я к ней привязался за долгие годы нашего знакомства.

25 августа

Вот и довел я до конца «Телефонную книжку». Примусь за московский свой алфавит. Этот город с первой встречи в 13 году принял меня сурово. Владимиро-Долгоруковская улица, продолжение Малой Бронной. Осень. Зима с оттепелями. И огромное, неестественное количество людей, которым нет до меня дела. Полное неумение жить в одиночестве. Вообще — жить. Мне присылал отец пятьдесят рублей — много по тогдашним временам, — и я их тратил до того неумело, что за неделю до срока оставался без копейки. Чаще всего вечерами уходил я в оперу Зимина, которую не любил. И снова множество людей, которым до меня нет дела. Или уходил в Гранатный переулок. Там был особняк, который я выбрал для себя. Я должен был купить его, когда прославлюсь. Да, мечты мои были просты — вызвать уважение людей, которые шагали мимо или мрачно толпились у пивных. Впрочем, это не было главным. Главным была несчастная любовь. Когда переехал я на 1-ю Брестскую улицу, то уходил по Тверской-Ямской на мост, идущий над путями, существующий до сих пор. Соединяющий улицу Горького с Ленинградским шоссе. Там, глядя на поезда, я старался провести время до прихода почтальо-

на. Любовь мучила меня больше всего: больше чужого города, больше подавляющего количества безразличных ко мне людей. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. И сила переживаемых мной чувств постепенно-постепенно стала меня будить. Я стал вглядываться в Москву. И удивляться количеству людей несчастных и озлобленных. Началось с того, что заметил я женщину, прислонившуюся к чугунной решетке забора тяжелым узлом. Чтобы передохнуть. По своей бездеятельности не посмел я ей предложить помощь. Но ужаснулся. И стал вглядываться. Иногда — умнел. Но снова несчастная любовь схватывала, как припадок. И тогда я видел только себя. И уехал, полный ужаса перед Москвой.

3 сентября

Габбе Тамара Григорьевна. Назовешь это имя — и столько противоречивых чувств тебя парализуют, что хоть молчи. С одной стороны — человек быстрый, острый, имеющий дар вдруг выразить ощущение. Например, стоим мы напротив кинематографа «Титан». На вывеске вспыхивает и гаснет стрелка, указывающая на название картины. И Габбе говорит: «Ужасно неприятно! Так же у меня дергало палец, когда он нарывал». В Филармонии увидели мы Каверина с палочкой. «Почему он с палочкой?» — спросил кто-то. И Габбе ответила: «Потому что у Тынянова нога болит». Получилось это действительно весело и смешно и определяло положение вещей в те давние, доисторические времена. Это с одной стороны. С другой же — ум ее, резко ограниченный и цепкий, все судил, всех судил и выносил окончательные приговоры, как это было принято в кругу Маршака. Приговоры самого Самуила Яковлевича носили отпечаток его библейского темперамента и оглашались в грозе и буре, в тумане и землетрясениях, и тень Шекспира появлялась при этом событии, и Блейка, и Пушкина.

Однажды я читал у Габбе свою пьесу «Телефонная трубка». Это Олейников настоял. Из любопытства. Было что-то много народу — редакционного. Пили чай после чтения и обсуждали пьесу за чаем. И Габбе говорила и продолжала есть и пить. Нет, здесь и духа не было Библии — куда там. Жуя быстро и определенно по-заячьи, она говорила быстро, отчетливо и уверенно. Она знала, что такое сюжет. Она одна. Она знала, что такое характер. Она знала, какая сцена удалась, какая нет. Во всяком случае была уверена в этом. Пожует, сделает глоточек и приговорит. А я, кроме удивления, ничего не испытывал. Резко ограниченный ум. Система, в которую уверовала она, когда училась. И полная несоизмеримость ее пунктирчика с предметом. Маршак был неясен, но понятен. Он намекал — и это было точно. А Габбе говорила точно, однако, непонятно. Уверенность — вот ее бич. Она-то уж знает, что есть рассказ… Что сюжет. Что завязка. Что развязка.

4 сентября

Вечное несчастье вечных первых учеников.

Блокада. Раза два или три вызывал меня Маршак на городскую телефонную станцию. Я шел по городу, как будто заболевшему, — ему не до прохожих. Окно в белых крестах. Окна выбиты. Забитые витрины. Знакомый голос Маршака, беспокойный, на старый лад, что в новом блокадном мире меня раздражало. Настолько раздражало, что он даже заметил, спросил однажды: «Ты что — сердишься?» Как мог я ответить, объяснить по телефону, что мы говорим из разных измерений? По его поручению заходил я к Габбе. И тут впервые разговаривал я с ней без всякого внутреннего протеста. Вражда, созданная демоническим духом Олейникова, следы той невидимой серной кислоты, которой уродовал он окружающих, незаметно для них самих — изгладились до этих блокадных дней. Габбе и Любарскую в 37 году аре-

стовали. Потом освободили. После второго рождения встретились мы как бы заново. А теперь, в блокадном мире, узнал я совсем новую Габбе. Душа ее, в обычные дни сжатая в кулачок, готовая к нападению, теперь как бы раскрылась. Была Тамара Григорьевна сосредоточена, а не сжата, и говорила так, как подобает в том мире, куда привела нас судьба, как бы заново увидев все. По деятельной натуре своей не могла она просто терпеть и ждать. Нашла себе работу — читала детям в бомбоубежище. И рассказывала, как заново услышала то, что читает. Одно годилось, другое — не переносило испытания. И новый этот взгляд на вещи был убедителен. И начисто лишен ученической уверенности. И в Москве в 43 году я рад был встрече с нею. И опять говорили мы дружески. Но постепенно все вернулось на свое место. С людьми сходишься или расходишься по причинам органическим, непреодолимым. Та новая Габбе, с тяжелыми временами раскрывшаяся, исчезла, когда жизнь вошла в колею. Снова разум ее словно бы обвели контуром, и душа ее сжалась в кулачок. И при встрече чувство внутреннего протеста вспыхивает во мне с новой силой.

13 сентября

Есть люди, чаще всего женщины, отдавшие себя целиком данному виду искусства и по-женски понимающие и прощающие его житейскую, для иных — отталкивающую сторону. Они знают — такова жизнь. Сейчас ребенок улыбается, а через миг безобразничает. В искусстве подобные женщины редко играют активную роль. Они вроде нянек, или повивальных бабок, или педагогов, или даже матерей. Не отдельных произведений, а людей. И так как не боги обжигают горшки, ставят спектакли, пишут пьесы, то роль подобных женщин гораздо значительнее, чем может показаться с первого взгляда. ***Софья Тихоновна Дунина*** принадлежит именно к этой благороднейшей человеческой породе. Премьера театра,

судьба актера, пьесы или автора для нее явление личной ее жизни. Она умна, жива. Всегда заведена, не распущена. Храбра. Владеет языком: говорит, что думает. Одних активно любит и помогает им любовно. Других активно не любит и храбро с ними сражается. Одно у нее не по-женски сильно: чувство справедливости. Все-таки она целиком отдала себя данному виду искусства — и тут она нелицеприятна. 1944 год. Театр комедии вернулся из Сталинабада в Москву. И показал «Подсвечник» Мюссе. В эвакуации, как выяснилось, меньше требуешь не только от бытовых условий: живешь, где придется, ешь, что дают, — но и от качества работы. Нам казалось в Сталинабаде, что спектакль очень хорош. А в Москве он выглядел убого. Я не сразу это заметил. Спрашиваю у Дуниной в антракте: «Ну как?» И она отвечает с горечью, но решительно: «Очень плохо! Очень». Она любила и театр, и Акимова, но не было силы, которая могла бы принудить ее покривить душой. Она при необходимости храбро шла на защиту театра, но что плохо, то плохо. Это умение любить людей, понимать, как делается дело, а вместе с тем не забывать самое дело — редкая, не женская черта. Поэтому ее и уважали. Маленькая, темноглазая, решительная. Я мало знал ее личную жизнь. Но как явление — понимал и уважал со всей почтительностью и удивлением.

21 сентября

Следующим в моей московской книжке записан ***Малюгин Леонид Антонович***. Это человек совсем другого склада. Он открыт, даже грубоват, прям. Его стукнуло куда сильнее, чем Леве Левину только угрожало, но он сохранился. Я знал Малюгина в Ленинграде до войны. Мельком встречались мы то на премьерах, то на собраниях. Но вот в конце 41 года приехали мы в Киров. Еще по дороге, в вагоне, придумал я для успокоения душевного пьесу о Ленинграде. О блокаде. В самых общих чер-

тах. Атмосферу, в которой будет развиваться действие. И начал писать ее под новый год в своей комнате, в театральном доме — длинном, двухэтажном, сером от тоски, угрюмом. И вся работа над пьесой связана для меня с Малюгиным. Жил он в самом театре, неестественно великолепном среди деревянных домов. Его, Малюгина, маленькая комната. Топчан. Письменный столик. Обеденный столик.

22 сентября

Он все школил себя: спал на твердом, сидел на твердом. Работал положенное время. Я ходил к нему читать «Одну ночь» сцену за сценой. И понемножку начинал разбираться в нем. Он был живой человек, не боящийся боли и вступающий в драку естественно, как другие чай пьют. А среди равнодушных ко всему на свете, кроме личных дел, актеров БДТ иначе невозможно было бы существовать. Они ворчали на него, но — хотел написать уважали — нет-нет, на это не были они способны. Они не связывались с ним, зная, что ни к чему хорошему это не приведет. Даже такой влюбленный до страсти, до самозабвения, до отупения в свои актерские и прочие достоинства Полицеймако, уродливый, лишенный шеи, широкомордый, боксер да и только, хитрый, недоброжелательный — и тот выслушивал без открытого протеста замечания, которые Малюгин ему делал за искажение текста роли. Малюгин, как прирожденный человек переднего края, обладал чувством дела. Я зашел к нему как-то в вечер очередной, второстепенной премьеры. В то время театры ошалели от непривычной обстановки и гнали премьеру за премьерой. «Трактирщицу» Вейсбрем поставил чуть ли не [в] две недели. В такой же примерно срок Суслович поставил какую-то пьесу О. Литовского, не то из французской, не то из голландской жизни. Действие происходило в 41 году. Никто не считал эти премьеры настоящими, а как бы призрачными,

эвакуационными, или эрзацами. Все в театре были спокойны, кроме Малюгина, который переодевался, чтобы идти в зрительный зал. Он был красен, тороплив в движениях. Когда я заикнулся о том, что кончил какую-то сцену «Одной ночи», он взглянул на меня с яростью и пробормотал, что сегодня, мол, не до этого. До сих пор Малюгин обращался со мной подчеркнуто уважительно, и я онемел от удивления. Потом я почувствовал — он единственный во всем коллективе понимает, что премьера есть премьера, важнейший день в жизни театра. Он, завлит и только, считал себя ответственным за всех. И я не рассердился на него за резкость. Драгоценно было его отношение к моей пьесе. Он всегда говорил, если ему не нравится. И радовался, когда сцена ему нравилась. Он понимал, что, если пьеса получится, то это хорошо.

23 сентября

Вспоминаю множество разговоров, то у него, то на освещенных солнцем крутых кировских улицах. Хорошая погода там была редкостью, и мы, если небо было ясно, выходили побродить. Война. Время трудное, но чистое. И разговоры о том, что после войны все станет еще чище. Пьеса моя «Одна ночь» не пошла. Я написал вторую — «Далекий край»[1] и еще переболел скарлатиной[2], побывал дважды в Москве[3]. Катя вспоминает Киров с ужасом — вся бытовая часть лежала на ней, а у меня все скрашивается воспоминанием наполненности душевной. И воспоминанием о том, что я много работал. Малюгин уехал на фронт с актерами. И прислал нам оттуда пачку табаку — драгоценность в те дни. Он был другом деятельным. Хлопотал и ссорился из-за моей пьесы в комитете. Посылал посылки при каждом случае. То, смотришь, он запаковывает кому-то книжку — нашел в магазине. То — когда БДТ перебрался в Ленинград — пришлет плитку шоколада неестественной величины. После войны написал он пьесу «Старые друзья».

И Ермоловский театр ее принял. И Малюгин получил Сталинскую премию. Многие старые друзья заговорили после этого, что Малюгин стал грубоват, излишне категоричен, решителен. На самом же деле он нисколько не изменился. Только друзья принялись перетолковывать его поведение на другой лад. Еще до своего награждения работал он в каком-то доме отдыха недалеко от Тбилиси. Рассказываю это, чтоб дать пример его обращения. Директор оказался недюжинным наглецом. Жалобная книга на него никак не действовала. Тогда в одно прекрасное утро Малюгин послал за ним уборщицу. Потребовал, чтоб директор немедленно явился к нему в комнату. Тот пришел, несколько удивленный. И Малюгин спросил его решительно и строго, но вполне спокойно.

24 сентября

«Вы хотите, чтобы я вас уволил?» Директор ничего не ответил, только хлопал глазами. «Не хотите, так потрудитесь...» — и Малюгин перечислил все жалобы отдыхающих и приказал немедленно изменить порядки в доме. И к величайшему восторгу отдыхающих — все изменилось, словно по волшебству. Уже обед подали вполне допустимый. И пошло, и пошло. Вот какой характер был у Малюгина, до награждения. Таким он и остался, но тут друзья уже стали обижаться. Так шло до рокового пленума по драматургии. Малюгин был избит с обычной масштабностью, словно он один — целая организация заговорщиков или вражеская армия. Так же с жадностью и восторгом лупили всех, кого находили нужным. Это было началом такого мрака, мракобесия, что как раз в разгаре избиений свет погас во всей Москве, и даже метро остановилось часа на два. Но заседание пленума не прервалось. Принесли аккумулятор чьей-то машины, зажгли аварийную лампочку, и ораторы, кто от страха, кто в азарте выигрыша, озлобленные деляги и неудачники, почувствовавши, что пришло их время, несли нечто

вполне соответствующее тьме, навалившейся на Москву. Я был у Малюгина на другой день после разгрома. Не застал его. И когда мы встретились и он узнал, что я ничего не рассказал о вчерашнем безумии его матери, то обрадовался. Он был преданный сын, глава семьи. Сестра, племянница, мать жили с ним, и он заботился о них. Другая сестра была военным врачом — и с ней он был внимателен и заботлив. Во время войны мать, сестра и племянница жили где-то в Средней Азии, на станции Чу, и Малюгин все беспокоился и несколько раз пускался в нелегкий путь из Кирова до Чу — навестить своих. Когда разразилась гроза, он осторожно сам предупредил своих. Но и в трудные времена остался Малюгин прежним — все говорил прямо, держался грубовато, только окружающие перестали приписывать это тому, что он сталинский лауреат. Сейчас он снова на подъеме. Не женат. Романы у него почему-то всегда с женщинами, которые старше его. Встречаемся мы дружески — он привился. Я был еще молод в Кирове. Теперь не прививаются ко мне люди.

15 сентября

Дальше идет ***Образцов Сергей Владимирович***, человек лимфатический, чуть обрюзгший, моложавый, светлый по отсутствию красящих веществ, с голосом разработанно приятным, с простотой виртуозно отделанной и рассчитанной. Явление, несомненно, положительное. Но почему-то неловко мне смотреть в его глаза, светлые, с веками чуть покрасневшими. Я любил, влюблен был в некоторые его спектакли: «Король-олень», «Лампа Аладдина». Мне казалось, что это небывалое в театре обыкновенного вида явление, — человек показывает самое лучшее, самое артистичное в нем независимо от своих внешних данных. Отвлекаясь от них, с почти математической чистотой. Только то, что требуется. Когда вместо великолепных по своей выразительности кукол появля-

лись раскланиваться кукловоды, артисты как артисты, — ты это понимал.

26 сентября

Понимал эту прекраснейшую особенность кукольного театра. Из миллионов жителей Москвы набралось полтора-два десятка людей, любящих театр до потери уверенности в том, достоин ли ты подойти к нему. Имеющих страх Божий. Кукольный театр представлялся им более доступным. И войдя в него, они полюбили и почувствовали дело с истинно монашеской ревностью. Вплоть до склонности отрицать театры другого вида. И это являлось второй особенностью образцовского театра. Этот дух передавался — хотел написать: молящимся. Зрители в театре кукол на площади Маяковского всегда несколько возбуждены, доверчивы, щеки горят — праздник да и только. Всегда в первых рядах знатные посетители, то египетская принцесса, то немецкие министры, то французские актеры. Вот какое пламя раздул Образцов и ведет своих монахов неуклонно и усердно по тому пути, что они избрали. Это далеко не просто. Как и во всяких монастырях, послушание послушанием, но по ревности своей склонны монахи сомневаться в чужой святости. Поэтому-то святоотеческие книги требуют послушания без обсуждения, полного, безоговорочного. И повторяют это едва ли не на каждой странице. В театре это невозможно, и поэтому образцовские актеры непрерывно вглядываются в образцовские работы и очень часто вступают с ним в пререкания на высоком уровне. Все это хорошо показывает, что в театре идет богатая духовная жизнь. И Образцов в этих спорах выступает как первый среди равных — только как один из участников, пусть самый сильный, единого коллектива. Он не применяет никаких административных мер. А так как голова у него отлично разработанная, он побеждает в большинстве случаев...

27 сентября

При первом же знакомстве он очень красноречиво и упорно стал доказывать, что классиков изучают с детьми, забывая, что это произведения для взрослых. Это детей портит. В «Обломове» очень ясна сексуальная линия. И такие книги следует давать уже взрослым людям. Зная, как сильна сексуальная линия в детях, без всякой вины классиков, какие неслыханно бесстыдные разговоры ведутся в классах, начиная с самых младших, более того, особенно в младших, я спокойно принял эту мысль Образцова. Мне показалось только, что в запале, с которым он говорил, есть что-то личное и где-то тут есть один из ключей к одной из комнат его души. Позднее я понял и еще одно: как у всех многодумающих людей, мысль об «Обломове» была у него одной из многих, овладевающих им на некоторое время. Но я встретился именно с этой педагогической, добродетельной, лимфатической, и ощущение от этой первой его мысли осталось. Познакомился я и с Ольгой Александровной, женой его, артисткой. Она ушла со сцены, аккомпанировала мужу в его концертах. Черненькая, худенькая, отчетливая, она полна энергии, переводит с французского, с английского, ведет дом, все ищет себе собственного дела. Не слишком добрая. С первых же дней удивил, приятно удивил меня Образцов своей внутренней воспитанностью. Он позвонил, что в Москве, — зайдет в гостиницу. Приведет к себе. И всегда полон какой-нибудь мыслью, словно открытием. Квартира его несколько походила на музей. И сколько мы ни были знакомы — она все усложнялась, обогащалась. Относился к ней Образцов творчески: приедешь один раз — мебель переставлена; появилось множество заводных кукол — например, целый обезьяний оркестр играет в стеклянном футляре. И дирижер даже шевелит своей замшевой верхней губой, показывая зубы. Рядом искусственные птички вертят хвостиками, поют на искусственном деревце. Кукушки выскакивают

и кукуют из деревянной дверцы на часах в виде домика. Сейчас автоматики отошли на задний план: главное увлечение Образцова — аквариумы с удивительными, невиданными рыбами.

28 сентября

Я знаю об этих чудесах только по рассказам. Живут там рыбы прозрачные, со светящимся спинным хребтом, и с веерообразными хвостами, и золотые. Только непонятно, когда Образцов смотрит на них, — он один из самых занятых людей в Москве. Он и ставит в своем театре, и руководит им, и выступает в концертах, и представительствует как человек знатный, и участвует в Международном комитете борьбы за мир, и ездит за границу, и пишет об этом книжки. Я вижу, как изо всех сил помогает Ольга Александровна Наташе Шанько: привозит ей книги из Англии для переводов, заключает с ней договора. Ничего, кроме хорошего, и что-то несоизмеримое с моей достаточно легкой и покладистой душой.

7 октября

Рысс, Женя Рысс, которого я увидел впервые мальчиком удивительной красоты, а теперь встречаю сильно зрелым мужчиной, сильно облысевшим и обрюзгшим, но уберегшим все то же ласковое выражение прекрасных глаз, ох, трудный предмет для описания. И прежде всего потому, что я его очень люблю. Он из тех друзей, которых встречаешь не так часто, но знаешь твердо — это друзья. Что при встречах, когда жизнь сведет, — подтверждается. В дни блокады Женя переселился к нам. Был он еще худощав. Носил военную форму — работал в ТАССе. Сапоги выдали ему нескладные, пудовые, но, уходя утром, на рассвете, на фронт — туда ходили пешком, — Женя ухитрялся ступать так тихо, что мы и не просыпались. И каждый вечер слышали мы грохот его сапожищ у дверей. Он возвращался, к моей радости.

Я почему-то не верил, что его могут ранить или убить. Опасность грозила со всех сторон, и фронт не представлялся более страшным, чем дом. Я радовался, что дела его не задержали.

8 октября

Жизнь шла на военный лад: тускло, приглушенно, и никаких не было надежд, что станет легче. Нет, становилось темней с каждым днем. А появлялся Женя — и становилось светлей. Он рассказывает хорошо, без претензий и всегда правдиво, как и подобает человеку, занимающемуся литературой. Его задело — и он отвечает. Его интересует самый мир. Потом уже, когда пишет, переиначивает и меняет освещение, но рассказывает о материале чисто. В этом честолюбие — рассказать, как было. И Женя обладает этим свойством в тем более высокой степени, что он лентяй. Рассказы устные облегчают, подменяют у него необходимость писать. И в те дни я ужасно радовался его рассказам. Как единственному празднику. Я как будто вырывался из однообразия блокады. Мы дали обещание друг другу: если переживем и встретимся снова в Ленинграде, то устроим роскошный обед. Без еды нам праздник в те дни не представлялся возможным. И вот через четыре года все кончилось, все пришло к такому положению, о котором мы мечтали. <...>

11 октября

О *Коле Чуковском* писать не могу. Слишком близкий знакомый.

*Эренбур*г — трудно определим. Это явление сложное, и я его недостаточно знаю. Вот и вся записная книжка.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДНЕВНИКИ

ИЗ «ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ»

С 19 января 1955 г. по 11 октября 1956 г. Евгений Львович Шварц осуществил в составе своего дневника своеобразную работу, которую назвал «Телефонная книжка». Он создал целую галерею портретов современников, взяв за основу свою старую потрепанную черную телефонную книжку. Среди этих записей встречаются описания как людей — близких друзей и просто знакомых, писателей, режиссеров, врачей и монтеров, — так и учреждений, чьи телефоны хранила телефонная книжка писателя.

В эту книгу вошли избранные части «Телефонной книжки» Евгения Шварца.

Опущенные фрагменты внутри каждодневных записей обозначены отточием в угловых скобках. Кроме тех случаев, когда запись или ряд записей пропущены целиком, — тогда ориентиром в объеме пропущенного фрагмента служат даты. Восстановленные в тексте пропуски или сокращения приводятся в квадратных скобках. Для удобства читателя имена «абонентов» из телефонной книжки писателя выделены в тексте. В примечаниях приводится их краткая характеристика. Внутри каждого блока, посвященного конкретному абоненту, — своя нумерация примечаний.

В книге во многом сохранено также своеобразие пунктуации автора.

При составлении этого раздела были использованы следующие издания: Евгений Шварц. Живу беспокойно...: Из дневников. М.—Л.: Советский писатель, 1990; Телефонная книжка: Воспоминания. М.: Искусство, 1997.

1955

Акимов Николай Павлович (1901—1968) — режиссер, художник; главный режиссер Ленинградского театра комедии (1935—1949; 1955—1968). Постановщик и оформитель следующих спектаклей по пьесам Шварца: «Тень» (1940), «Дракон» (1944), «Обыкновенное чудо» (1956), «Повесть о молодых супругах» (совместно с М. В. Чежеговым, 1957); художник фильма «Золушка» по сценарию Шварца.

[1] *Охлопков Николай Павлович* (1900—1967) — режиссер, артист.

[2] *Лебедев Владимир Васильевич* (1891—1966) — художник-график, мастер иллюстрации к детской книге.

Альтман Натан Исаевич (1889—1970) — художник, скульптор.

[1] ***Козинцев Григорий Михайлович*** (1905—1973) — кинорежиссер, сценарист, поставил фильм «Дон Кихот» по сценарию Шварца.

Орбели Иосиф Абгарович (1887—1961) — востоковед, первый президент Академии наук Армянской ССР (1943—1947), директор Эрмитажа (1934—1951).

Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975) — писательница, поэтесса, работала вместе со Шварцем на Ленинградском радио в начале войны.

Бонди Алексей Михайлович (1892—1952) — артист, драматург, музыкант, художник. С 1923 по 1925 г. выступал в театре «Кривое зеркало». С 1926 по 1927 г. — в Ленинградском театре сатиры, с 1927 по 1934 г. — в Московском театре сатиры, с 1935-го по 1941-й и с 1943-го по 1949 г. — в Театре комедии.

[1] Шварц имеет в виду литературную группу «Обэриуты», к которой принадлежал Даниил Хармс.

[2] Шварц поехал в Сталинабад (теперь — Душанбе) по приглашению Н. П. Акимова, главного режиссера Ленинградского театра комедии, работавшего там в период эвакуации с сентября 1942-го по май 1944 г., на должность заведующего литературной частью.

Бианки Виталий Валентинович (1894—1959) — детский писатель.

Венгеров Владимир Яковлевич (1920—1997) — кинорежиссер.

[1] С октября 1951-го по август 1953 г. Шварц работал над сценарием и пьесой «Первое имя» по одноименной повести писателя И. И. Ликстанова (1900—1955).

[2] В 1952 г. Венгеров поставил «Живой труп» по Л. Н. Толстому, в 1953 г. — «Лес» по А. Н. Островскому.

Гарин Эраст Павлович (1902—1980) — артист, режиссер. Постановщик спектаклей по пьесам Шварца и исполнитель ролей в них. Играл роль Короля в фильме «Золушка» по сценарию Шварца.

[1] *Локшина Хеся Александровна* (1902—1982) — режиссер, жена Гарина, начала свою творческую деятельность в Театре Вс. Мейерхольда.

Грекова Наталия Ивановна (1908—1982) — дочь врача-хирурга Ивана Ивановича Грекова (1867—1934).

[1] *Федин Константин Александрович* (1892—1977) — писатель.

[2] *Сперанский Алексей Дмитриевич* (1887—1961) — патофизиолог, ассистент И. П. Павлова (1923—1928), организатор (1926) и руководитель экспериментального отдела в Институте хирургической невропатологии (Ленинград).

[3] *Блокада* — временное нарушение нервных связей посредством инфильтрации тканей раствором новокаина.

[4] **Олейников Николай Макарович** (1898—1937) — поэт, детский писатель, редактор журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок». Незаконно репрессирован, 24 ноября 1937 г. расстрелян.

[5] Шварц ошибся. Премьера спектакля «Клад» состоялась в 1933 г.

Дом кино в Ленинграде был открыт в 1930 г. В нем проводились творческие конференции и вечера, совещания, дискуссии, просмотры фильмов, встречи со зрителями.

[1] *Пиотровский Адриан Иванович* (1898—1938) — литературовед, театровед, киновед, драматург, переводчик, заведующий сценарным отделом «Ленфильма».

[2] Были изданы исторические романы Ю. Н. Тынянова «Кюхля» (1925) и «Смерть Вазир-Мухтара» (1927—1928).

Деммени Евгений Сергеевич (1898—1969) — артист, режиссер. В 1924 г. организовал и возглавил Театр кукол, который в 1930 г. был объединен с Театром марионеток и получил название Ленинградский кукольный театр под руководством Евг. Деммени. Ставил спектакли по пьесам Шварца «Пустяки» (1932), «Красная Шапочка» (1938), «Кукольный город» (1939), «Сказка о потерянном времени» (1940 и 1947).

[1] А. А. Брянцев стал во главе Петроградского (позднее Ленинградского) ТЮЗа в 1922 г.

Дрейден Симон Давыдович (1905—1991) — критик, театровед, литературовед.

[1] Повесть Н. К. Чуковского «Приключения профессора Зворыки» (Л., 1926).

Жеймо Янина Болеславовна (1909—1987) — артистка. Снималась в фильмах по сценариям Шварца.

[1] В 1926 г. в фильме «Шинель» Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга Жеймо играла роль подручного портного.

[2] *Хейфиц Иосиф Ефимович* (1905—1995) — кинорежиссер, кинодраматург.

[3] *Ллойд Гарольд* (1893—1971) — американский киноактер-комик; Китон Бестер (наст. имя Джозеф Фрэнсис) (1896 — 1966) — американский комический актер и режиссер кино.

[4] *Жанно Леон* (наст. имя и фам. *Леонид Ефимович Кац*) (1908—1997) — кинорежиссер.

[5] ***Кошеверова Надежда Николаевна*** (1902—1990) — кинорежиссер, постановщик фильмов по сценариям Шварца.

Зандерлинг Курт (Курт Игнатьевич) (р. 1912) — немецкий дирижер. С 1936 г. жил в СССР, с 1941-го по 1960 г. работал в Ленинградской филармонии, с 1960 г. — главный дирижер Берлинского симфонического оркестра.

[1] Герой одноименного романа Р. Роллана Жан-Кристоф относился резко критически к творчеству Брамса, как, впрочем, и ко всей немецкой музыке.

[2] *Брукнер Антон* (1824—1896) — австрийский композитор, органист, педагог.

[3] *Малер Густав* (1860—1911) — австрийский композитор и дирижер.

[4] *Стравинский Игорь Федорович* (1882—1971) — композитор, дирижер.

Кошеверова Надежда Николаевна (1902—1990) — кинорежиссер, постановщик фильмов по сценариям Шварца.

[1] *Москвин Николай Андреевич* (р. 1935) — физик.

Конашевич Владимир Михайлович (1888—1963) — художник-график, оформлял книги Шварца.

[1] *Лапшин Николай Федорович* (1890—1942) — художник, художественный редактор журнала «Еж», один из организаторов Ленинградского отделения Детгиза.

[2] *Тырса Николай Андреевич* (1887—1942) — художник.

[3] *Сагайдачный Петр Кононович* (?—1622) — гетман украинских казаков. Сторонник сближения с Россией.

Козинцев Григорий Михайлович (1905—1973) — кинорежиссер, сценарист. По сценарию Шварца поставил фильм «Дон Кихот» (1957).

Кетлинская Вера Казимировна (1906—1976) — писательница.

[1] Повесть «Натка Мичурина» (1928).

[2] Повесть Р. Роллана (1914).

[3] ***Рахманов Леонид Николаевич*** (1908—1988) — писатель, друг Шварца.

[4] ***Орлов Владимир Николаевич*** (1908—1985) — литературовед.

[5] ***Рысс Евгений Самойлович*** (1908—1973) — писатель, друг Шварца.

[6] ***Зонин Александр Ильич*** (1901—1962) — писатель, критик.

Каверин Вениамин Александрович (1902—1989) — писатель.

[1] Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1929.

[2] Здесь Шварц говорит о втором романе трилогии Слонимского «Друзья» (1951, 1954), последний роман трилогии «Ровесники века» вышел после смерти Шварца, в 1959 г.

Клыкова Лидия Васильевна (1903—1988) — сестра К. В. Заболоцкой.

[1] *Заболоцкая Екатерина Васильевна* (1906—1997) — жена Н. А. Заболоцкого.

[2] *Введенский Александр Иванович* (1904—1941) — поэт, детский писатель; сотрудничал с журналами «Еж» и «Чиж».

[3] *Peterschule* — немецкое училище при лютеранской церкви Св. Петра в Петербурге.

[4] *Никритина Анна Борисовна* (*Нюша*) (1900—1982) — артистка БДТ, жена А. Б. Мариенгофа.

[5] *Пантелеева Элико Семеновна* (*Симоновна*) — жена писателя Л. Пантелеева.

[6] Н. А. Заболоцкий перевел поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Любарская Александра Иосифовна (1908—2002) — писательница, фольклористка. В 1937 г. незаконно репрессирована, впоследствии освобождена.

Федоров Иван Иванович — монтер по установке телефонов.

[1] *Халайджиев Федор Николаевич* (ум. 1925) — брат Г. Н. Холодовой. 3 октября 1925 г. кончил жизнь самоубийством.

[2] *Халайджиева Искуги Романовна* (1870—1958) — теща Шварца.

[3] *Шварц Александр Борисович* (ум. 1938) — адвокат, артист-любитель, антрепренер.

[4] *Шварц Валентин Львович* (1902—1988) — брат Е. Л. Шварца, инженер.

[5] Шварц имеет в виду фильмы 1936 г. «Леночка и виноград» и «На отдыхе», сценарии к которым он писал в соавторстве Н. М. Олейниковым.

[6] До 11 декабря 1941 г.

1956

«Образцовский театр» — Центральный театр кукол под руководством С. В. Образцова. Был организован в Москве в 1931 г. при Центральном доме художественного воспитания

детей. С 1946 г. по 1949 г. работал Ленинградский филиал этого театра.

[1] *Шелков Гавриил Федорович* — юрист по образованию, акцизный чиновник.

[2] *Шелков Николай Федорович* — акцизный чиновник.

Проходцов Иван Иванович — двоюродный брат Шварца.

[1] *Шелкова (Проходцова) Александра Федоровна* — тетка Шварца.

[2] *Шелков Федор Федорович* — мировой судья, артист-любитель.

[3] *Садовская (Лазарева) Ольга Осиповна* (1849—1919) — артистка Малого театра.

«Радио». Работать на Ленинградском радио Шварц начал в 1926 г. С первых дней войны до 10 декабря 1941 г. был прикомандирован к Радиоцентру Ленинграда. Писатель участвовал в передаче «Радиохроника», в выпусках которой авторы читали свои статьи, рассказы, пьесы, фельетоны. Евгений Шварц читал свои сказки и сценки.

[1] *Туберовский Михаил Дмитриевич* (1899—1977) — писатель.

[2] Ленинградская пионерская газета.

[3] *Макогоненко Георгий Пантелеймонович* (1912—1985) — критик, литературовед. В 1956 г. — начальник сценарного отдела киностудии «Ленфильм».

Рахманов Леонид Николаевич (1908—1988) — писатель, друг Шварца, автор воспоминаний о нем.

[1] *Петерсон Татьяна Леонтьевна* — жена Л. Н. Рахманова.

Райкин Аркадий Исаакович (1911—1987) — артист эстрады, с 1939 г. — артист и художественный руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр.

[1] *Шереметьева Екатерина Павловна* — заведующая детским отделом Ленконцерта.

[2] *Александра Рафаиловича Кугель* (1864—1928) — журналист, театральный критик; автор «Театральных портретов» (Пг. — М., 1923) и «Литературных воспоминаний» (М. — Пг., 1924).

Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972) — писатель, друг Шварца.

[1] «Серапионовы братья» — литературная группа, существовавшая с1921 г. в Петрограде при Доме искусств. На их собраниях часто бывал Шварц.

[2] *Волынский Аким* (наст. имя и фам. *Аким Львович Флексер*) (1863—1926) — литературный критик, искусствовед.

[3] *Пяст* (наст. фам. *Пестовский*) *Владимир Алексеевич* (1886—1940) — поэт, переводчик.

[4] *Ходасевич Владислав Фелицианович* (1886—1939) — поэт, литературный критик.

[5] *Венгерова Зинаида Афанасьевна* (1867—1941) — литературный критик, историк литературы, переводчица.

[6] Шварц имеет в виду свою книжку в стихах «Рассказ старой балалайки».

[7] *Груздев Илья Александрович* (1892—1960) — критик, литературовед.

[8] *Слонимская* (**Каплан**) *Ида Исааковна* (*Дуся*) — жена М. Л. Слонимского.

[9] В 1924—1925 гг. Шварц работал секретарем редакции журнала «Ленинград».

[10] В 1925—1928 гг. Шварц работал редактором детского отдела Госиздата и издательства «Радуга».

[11] Театр комедии приехал из Сталинабада в Москву 17 мая 1944 г.

Союз писателей СССР. Создан в 1934 г. Первоначально назывался Союз советских писателей. Шварц вступил в ССП 1 июля 1934 г.

«Советский писатель». Имеется в виду Ленинградское отделение издательства.

[1] В состав сборника «Тень» и другие пьесы» (Л., 1956) вошли пьесы для детей: «Два клена», «Снежная королева», пьесы для взрослых: «Тень», «Одна ночь», «Обыкновенное чудо» и сценарий «Золушка».

[2] Аналогия с рассказом Эдгара По «Падение дома Ашеров».

Шварц Антон Исаакович (Тоня) (1896—1954) — мастер художественного слова, на эстраде с 1929 г. Двоюродный брат Е. Л. Шварца.

[1] *Шварц Борис* — дед Е. Л. Шварца, владелец мебельного магазина в Екатеринодаре.

[2] Конец лета и одно учебное полугодие 1913 г. Шварц жил в Москве, слушая лекции в Университете А. Л. Шанявского.

[3] Е. Л. и А. И. Шварцы были приняты на юридический факультет Московского университета.

[4] В 1919—1921 гг. Е. Л. и А. И. Шварцы выступали как актеры в театре, основанном группой молодежи в 1918 г. в Ростове-на-Дону и названном Театральная мастерская. В 1921 г. Театральная мастерская переехала в Петроград.

[5] *Бунина Ирина* (наст. имя и фам. *Фрима Бунимович*) — артистка Театральной мастерской (Ростов-на-Дону, Петроград). Первая жена А. И. Шварца.

[6] *Журавлев Дмитрий Николаевич* (1900—1991) — артист, мастер художественного слова.

[7] Книга А. И. Шварца «В лаборатории чтеца» вышла в 1960 г.

[8] *Шварц Валентина Исааковна* (1901—1990) и *Маргарита Исааковна* (*Мура*) (р. 1912) — двоюродные сестры Е. Л. Шварца.

Квитко Лев Моисеевич (1890—1952) — еврейский поэт. Незаконно репрессирован, погиб в заключении. С 1928-го по 1941 г. работал над своим романом в стихах «Годы молодые». На русском языке роман был издан в 1968 г.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — литературовед.

[1] *Шкловский Виктор Борисович* (1893—1984) — писатель, литературовед, критик.

Юнгер Елена Владимировна (1910—1999) — артистка. С 1936 г. — в труппе Театра комедии. Исполнительница роли Принцессы в спектакле «Тень» и роли Анны в фильме «Золушка». Автор воспоминаний о Шварце.

Габбе Тамара Григорьевна (1903—1960) — писательница, критик, автор книг и пьес для детей. В 1937 г. незаконно репрессирована, впоследствии освобождена.

Дунина Софья Тихоновна (1900—1976) — критик, редактор, театровед.

Малюгин Леонид Антонович (1909—1968) — писатель, литературовед, зав. литчастью БДТ в годы войны, друг Шварца.

[1] Пьесу «Далекий край» об эвакуированных ленинградских детях Шварц закончил в сентябре 1942 г. Она была поставлена во многих ТЮЗах страны.

[2] С 7 по 31 мая 1942 г. в Кирове Шварц болел скарлатиной.

[3] С 25 июня по 2 июля и с 15 сентября по 4 октября 1942 г. Шварц был в Москве во Всесоюзном комитете по делам искусств по поводу разрешения к постановке своих пьес «Одна ночь» и «Далекий край».

Образцов Сергей Владимирович (1901—1992) — театральный деятель, артист, режиссер, организатор и руководитель Центрального театра кукол (с 1931 г.).

Рысс Евгений Самойлович (1908—1973) — писатель, друг Шварца.

Чуковский Николай Корнеевич (1904—1965) — писатель, переводчик. Сын К. И. Чуковского, друг Е. Л. Шварца.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — поэт, публицист, общественный деятель.

Е. Сапунцова

Указатель произведений, вошедших в собрание сочинений Е. Л. Шварца в 5 томах

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Львович

ШВАРЦ

Собрание сочинений в пяти томах

ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор *Е. Сапунцова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *М. Сергеева*
Компьютерная верстка *И. Яскульская*

Подписано в печать 15.01.10 г.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 19,86.
Заказ № 0918320.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-904656-58-4

9 785904 656584

Уважаемые читатели!

Если вы желаете приобрести издания Книжного клуба «Книговек», просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».

Вступив в Книжный клуб «Книговек», вы также можете приобретать наши книги и знакомиться с новинками. Только члены Клуба получают 6 раз в год иллюстрированный журнал, в котором представлены развернутые статьи о книгах клубной программы, публикуются отрывки из произведений, новости книжного мира, статьи по истории литературы, факты из истории книги, печатного дела, искусства книги; отдельные рубрики посвящены читателям и писателям. Журнал распространяется по всей стране.

Если вы желаете вступить в Книжный клуб «Книговек», просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».

Также вы можете заказать книги в интернет-магазине на сайте www.terra.su или www.knigovek.ru.

По вопросам оптовых закупок просьба обращаться по телефону: (495) 737-04-73.

Мы рады вашим заказам!